

СЕРИЯ «СОВЕТСКИЙ РАБОТНИК»



СТРАННИЦЫ
МОЕЙ
ЖИЗНИ

Страницы моей жизни - Анна Вырубова (Танеева)

Анна Вырубова (Танеева)

Мемуары Анны Александровны Танеевой-Вырубовой представляют несомненный интерес для современного читателя, так как развеивают искусственно демонизированный образ этой замечательной женщины и достаточно точно характеризуют обстановку при российском императорском дворе накануне революции.

- [О книге](#)
- [Нравственный портрет](#)
- [Духовный подвиг. Судьба воспоминаний](#)
- [Небесное благословение](#)
- [Страницы моей жизни](#)
- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Приложение](#)
- [Письмо от Государя Императора](#)
- [Письма от Государыни Императрицы](#)
- [Письма Великой Княжны Ольги Николаевны](#)
- [Письма Великой Княжны Татьяны Николаевны](#)
- [Письма Великой Княжны Марии Николаевны](#)

- [Письма Великой Княжны Анастасии Николаевны](#)
- [Письма Наследника Цесаревича](#)
- [Письма А. А. Танеевой к родителям](#)

О книге

Мемуары Анны Александровны Танеевой-Вырубовой представляют несомненный интерес для современного читателя, так как развеивают искусственно демонизированный образ этой замечательной женщины и достаточно точно характеризуют обстановку при российском императорском дворе накануне революции. Сами по себе они являются бесценным историческим источником, способным убедить непредвзятого читателя в несостоятельности лжи официальных большевистских историков и снять обвинения в нравственных пороках с людей, память о которых долгие годы подвергалась клевете и надругательству.

14 августа 2000 года Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви единогласно принято решение о прославлении в лике Святых православного царя-мученика Государя Императора Николая II и всех членов Его семьи.

Этому великому долгожданному событию посвящено издание настоящей книги.

Нравственный портрет

В ряду многочисленных воспоминаний о Государе Николае II и Государыне Александре Феодоровне книга Анны Александровны Танеевой (Вырубовой) «Страницы моей жизни» занимает особое место.

Читая её, не покидает ощущение удивительной силы, убедительности и искренности слов автора, верности характеристик событий, точности в оценках людей. В то же время повествование проникнуто необыкновенным спокойствием и умиротворённостью, как рассказ человека много повидавшего, пережившего, передумавшего и много перестрадавшего, но при этом достойно вышедшего из всех испытаний, посланных судьбой, и не омрачившего своего сердца чувствами обиды и мести к своим гонителям и обидчикам, сохранившего внутренний мир и осенённого глубоким видением, проникающим в суть явлений, которое может даровать человеку только Господь Бог. Невольно охватывает тёплое чувство симпатии к автору, Анне Александровне Танеевой, и возникает желание поближе познакомиться с ней самой и её судьбой. Сделать это читатель сможет, прочитав «Страницы» её воспоминаний. Здесь же отметим лишь наиболее существенные черты её нравственного облика, которые позволили ей совершить этот необычный и замечательный труд.

Чтобы полнее справиться с поставленной задачей, кратко коснёмся происхождения Анны Александровны, считая, что для раскрытия её духовного облика это обстоятельство её жизни является немаловажным. Вот что она пишет о себе. «Отец мой, Александр Сергеевич Танеев, занимал видный пост статс-секретаря и главноуправляющего Его императорского Величества Канцелярией в продолжение 20 лет. По странному стечению обстоятельств тот самый пост занимали его дед и отец при Александре I, Николае I, Александре II и Александре III.

Дед мой, генерал Толстой, был флигель-адъютантом Императора Александра II, а его прадед был знаменитый фельдмаршал Кутузов. Прадедом матери был граф Кутайсов, друг Императора Павла I».

По свидетельству современников, её отец был человеком широко образованным, выдающимся

музыкантом и сделал всё от него зависящее, чтобы развить эти качества у своей дочери.

Сама же Анна Александровна, не смотря на свое аристократическое происхождение, по природе была человеком простым, мягким и вовсе не обладала качествами героя. Однако, будучи человеком не только русским по крови, но и воспитанным в лучших русских традициях, православным, верным Престолу и преданным семье Помазанника Божия, осенённая глубокой верой в Бога и водимая особым о ней Промыслом Божиим, она смогла пройти через все тяжелейшие испытания, выпавшие на её долю, перенести физическую боль, нравственные страдания, унижения и поношения от людей и страшную, разрушительную клевету, которая, казалось бы, неминуемо должна была сломить её волю, подавить её как личность, наконец, ожесточить, заставить хоть в чём-то поступиться правдой, допустить эту ложь на страницы своих воспоминаний.

Но этого не произошло и, благодаря особым качествам своей души, она выстояла, не изменила любви и верности своим венценосным друзьям. Она не предала их, не исказила правды о них в угоду обстоятельствам и человеческой злобе, вынесла эту правду на своих немощных плечах, также как воин ценою жизни выносит боевое знамя с поля боя, не оставив его на поругание врагам и, тем самым, продолжила традиции своих славных предков.

Чтобы лучше понять необыкновенные свойства её души, полнее представить её нравственный облик, обратимся к свидетельствам людей, хорошо знавших её и занимавших самостоятельную, непредвзятую позицию в отношении Царской семьи и по отношению к ней самой, что было тогда редкостью, так как большинство представителей высшего аристократического общества, к которому принадлежала А. А. Танеева, повторим, за редким исключением, находились во власти той атмосферы, которую можно было бы охарактеризовать, как атмосферу разнузданной клеветы и жесточайшей травли Престола, а также всех тех, кто был искренне предан ему.

Вот как характеризует состояние петербургского общества накануне революции товарищ обер-прокурора Св. Синода князь Н. Д. Жевахов в своих воспоминаниях.

«Ещё меньше было тех, кто понимал, что происходило в тылу и что выражала собою та вакханалия сатанинской злобы, какая бушевала в самом Петербурге и всею своею тяжестью обрушивалась на самых лучших, самых чистых, самых преданных слуг Царя и России». [\[1\]](#)

Последние слова целиком и полностью можно отнести к Анне Александровне. О ней самой и её дружбе с Царицей князь Н. Д. Жевахов пишет следующее.

«Войдя в лоно Православия, Императрица прониклась не только буквою, но и духом его, и, будучи верующей протестанткой, привыкшей относиться к религии с уважением, выполняла её требования не так, как окружавшие её люди, любившие только «поговорить о Боге», но не признававшие за собою никаких обязательств, налагаемых религией.

Исключение составляла одна только Анна Александровна Вырубова, бывшая фрейлиной Государыни, старшая дочь Главноуправляющего Собственною Его Императорского Величества Канцеляриею, обер-гофмейстера А. С. Танеева, несчастно сложившаяся личная жизнь которой рано познакомила её с теми нечеловеческими страданиями, какие заставили её искать помощи только у Бога, ибо люди были уже бессильны помочь ей. Общие страдания, общая вера в Бога, общая любовь к страждущим создали почву для тех дружеских отношений, какие возникли между Императрицею и А. А. Вырубовою.

Жизнь А. А. Вырубовой была поистине жизнью мученицы, и нужно знать хотя бы одну

страницу этой жизни, чтобы понять психологию её глубокой веры в Бога и то, почему только в общении с Богом А. А. Вырубова находила смысл и содержание своей глубоко несчастной жизни. И когда я слышу осуждения А. А. Вырубовой со стороны тех, кто, не зная её, повторяет гнусную клевету, созданную даже не личными её врагами, а врагами России и Христианства, лучшей представительницей которого была А. А. Вырубова, то я удивляюсь не столько человеческой злобе, сколько человеческому недомыслию... И когда императрица ознакомились с духовным обликом А.А. Вырубовой, когда узнала, с каким мужеством она переносила свои страдания, скрывая их даже от родителей, когда увидела её одинокую борьбу с человеческой злобой и пороком, то между Нею и А. А. Вырубовой возникла та духовная связь, которая становилась тем большей, чем больше А.А. Вырубова выделялась на общем фоне самодовольной, чопорной, ни во что не веровавшей знати. Бесконечно добрая, детски доверчивая, чистая, не знающая ни хитрости, ни лукавства, поражающая своею чрезвычайно искренностью, кротостью и смирением, нигде и ни в чём не подозревающая умысла, считая себя обязанной идти навстречу каждой просьбе, А. А. Вырубова, подобно Императрице, делила своё время между Церковью и подвигами любви к ближнему, далёкая от мысли, что может сделаться жертвою обмана и злобы дурных людей...». [2]

Вот как раскрывает нравственный облик А. А. Танеевой (Вырубовой) следователь В. М. Руднев, возглавлявший один из отделов чрезвычайной комиссии, учрежденной Керенским. Отдел этот назывался «Обследование деятельности тёмных сил».

«Много наслышавшись об исключительном влиянии Вырубовой при Дворе и об отношениях её с Распутиным, сведения о которых помещались в нашей прессе и циркулировали в обществе, я шёл на допрос к Вырубовой в Петропавловскую крепость, откровенно говоря, настроенный к ней враждебно. Это недружелюбное чувство не оставляло меня и в канцелярии Петропавловской крепости, вплоть до момента появления Вырубовой под конвоем двух солдат. Когда же вошла г-жа Вырубова, то меня сразу поразило особое выражение её глаз: выражение это было полно неземной кротости, это первое благоприятное впечатление в дальнейших беседах моих с нею вполне подтвердилось.

Мои предположения о нравственных качествах г-жи Вырубовой, вынесенные из продолжительных бесед с нею в Петропавловской крепости, в арестном помещении и, наконец, в Зимнем дворце, куда она являлась по моим вызовам, вполне подтверждались проявлением ею чисто христианского всепрощения в отношении тех, от кого ей много пришлось пережить в стенах Петропавловской крепости. И здесь необходимо отметить, что об этих издевательствах над г-жой Вырубовой со стороны крепостной стражи я узнал не от неё, а от г-жи Танеевой. Только лишь после этого г-жа Вырубова подтвердила всё, сказанное матерью, с удивительным спокойствием и незлобностью заявив: «Они не виноваты, не ведают бо, что творят». По правде сказать, эти печальные эпизоды издевательства над личностью Вырубовой тюремной стражи, выражавшиеся в форме плеванья в лицо, снятия с неё одежды и белья, сопровождаемое битьём по лицу и по другим частям тела больной, едва двигавшейся на костылях женщины, и угрозы лишить жизни «наложницу Государя и Григория» побудили следственную комиссию перевести г-жу Вырубову в арестное помещение при бывшем Губернском Жандармском управлении.

...Все её объяснения на допросах в дальнейшем, при проверке на основании подлежащих документов, всегда находили себе полное подтверждение и дышали правдой и искренностью... Г-жа Вырубова всегда просила за всех, поэтому к её просьбам при Дворе и было соответствующее осторожное отношение, как бы учитывались её простодушие и простота». [3]

Невозможно удержаться, чтобы не привести отрывки из удивительных по своей непосредственности воспоминаний И. В. Степанова, который после ранения на фронте

проходил излечение в Царскосельском госпитале.

«Меня переносят в палату № 4, где лежат два офицера. Молодая сестра с простоватым румяным лицом и большими красивыми глазами подходит ко мне. С первых же слов я чувствую к ней искреннюю симпатию. Славная деревенская баба. Весёлая, болтливая. Она стелет мне простыни и вместе с санитаром переносит на мягкую кровать. Укладывая, всё спрашивает, не больно ли? Понемногу осваиваюсь. С ней так легко говорить.

— Сестрица, мне бы хотелось помыться, почистить зубы.

— Сейчас всё принесу. Обещайте, что вы мне будете говорить всё, что вам нужно. Не будете стесняться?

— Что вы, сестрица, с вами не буду. Но я знаю, что здесь придворная обстановка. Вероятно, все люди этикета. И мне радостно, что будет хоть один человек, с которым я не буду конфузиться.

— Теперь будем вас кормить. Что вы хотите, чай, молоко?

— Сестрица, спасибо. Я ничего не хочу. Мне так хорошо.

— И заслужили. Что же вы о своих не подумали? Хотите я протелефонирую?

— Потом. Петрограда из Царского не добиться. Я лучше напишу телеграмму.

Сестра приносит бумагу. Пишу. Она стоит, улыбается. Как-то сразу полюбил её. Редко видел людей, столь располагающих к себе с первого знакомства. Кто она? Сиделка простая?

— Давайте. Я пошлю санитаря на телеграф.

— Спасибо, сестрица.

Хочется как-то особенно поблагодарить и не нахожу слов. В комнату ежеминутно заходят дамы в белом. Осваиваюсь. Расспрашиваю соседей. Мне называют фамилии: графиня Рейшах-Рит, Добровольская, Чеботарева, Вильчковская... Все мне знакомые. Привык читать в свите Императрицы: фрейлина Гендрикова, фрейлина Буксгевден, гофлектриса Шнейдер и госпожа Вырубова. Эта «госпожа Вырубова» (она не имела ни звания, ни должности) меня всегда особенно интересовала. Столько про неё говорили. Она ведь неразлучна с Императрицей... Мне говорили: интриганка, темная сила, злой демон...

— Вы не слышали здесь фамилию Вырубовой?

— Анна Александровна? Да ведь она всё утро тут с вами провозилась и теперь ушла с телеграммами...

Вырубова всегда приезжала и уезжала в автомобиле с Высочайшими особами. В палаты она заходила одна, когда никого из них не было. Каждого подробно обо всём расспрашивала. Очень сместила нас всякими пустяками. Всегда в прекрасном настроении. Её добродушие и сердечность как-то вызвали просьбы. И с какими только просьбами к ней ни обращались! Сколько вспомоществований, стипендий, пенсий было получено благодаря ей. Она ничего не забывала, всё выслушивала и через несколько дней радостно сообщала всегда благополучные результаты. От благодарности отказывалась.

— Я же тут ни причём. Благодарите Ее Величество». [4]

Что можно еще добавить к впечатлениям простого русского раненого офицера, в своих собственных физических страданиях так глубоко ощутившего красоту души Анны Вырубовой, так просто, трогательно и высоко оценившего качества золотого сердца русской женщины: милосердие, заботу о страждущем, ласку, доброту, отзывчивость на всякую просьбу.

Духовный подвиг. Судьба воспоминаний

За любовь и преданность семье Помазанника Божия Господь хранил Анну Александровну на всех путях её. После октябрьского переворота она чудом избежала смерти, сумела сохранить горячую любовь к Царской семье, не позволила клевете омрачить это священное чувство. Согреваемая этой любовью, она на страницах своих воспоминаний донесла, как бесценное сокровище, врученное ей Богом, Правду о Царе Николае II, Царице Александре и их Царственных детях, а также о событиях тех дней и людях, окружавших их, до нас грешных, современных православных христиан, а также до всех, кому небезразлична судьба России. Но хочется подчеркнуть, что, прежде всего, книга Анны Танеевой обращена конечно же к нам, русским людям, потому что именно в наших сердцах должна восторжествовать Правда о нашем Богом данном Царе Николае II, чего и ожидает терпеливо Господь от нас, русских людей, которых так горячо любил наш Батюшка-Царь и за которых Он принёс себя в жертву Богу. И ещё раз очень хочется подчеркнуть этот важный момент, возможно в чём-то повторяясь, что совершила Анна Александровна этот труд по Промыслу Божию с тем, чтобы все, кто сегодня не равнодушен к судьбе нашей Отчизны, кто ищет ключ к пониманию дня сегодняшнего в событиях тех дней, для тех, для кого история — не мёртвый предмет, а живая связь времён, для всех тех, кто, по слову евангельскому, алчет и жаждет Правды, смогли обрести эту Правду как Божественный Дар, который способен преобразить, освятить нашу жизнь, помочь осмыслить её, согреть души, растопить очерствевшие сердца, наконец, разрушить клевету, до сих пор возводимую на Помазанника Божия и Его Царственную семью, очистить наши сердца от скверны лжи, рассеять сомнения в святости Царственных страдальцев, на пути покаяния испросить у Бога милости, чтобы Господь по молитвам Святых Царственных мучеников даровал спасение нашему дорогому Отечеству.

Остаётся только добавить, что написание воспоминаний А. А. Танеевой (Вырубовой) есть подвиг подобный апостольскому. Святые апостолы возвещали народам Истину о Христе Иисусе. Подобно сему и эта книга открывает людям Правду о Помазаннике Божиим и Царственных членах Его семьи, оклеветанных современными им фарисеями и книжниками, радеющими на словах о благе России, а на деле после изощрённых нравственных пыток и мучений, подобно иудеям, отдавших своего Царя на заклятие инородцам.

Что же касается самой Анны Александровны, то её судьба, начиная с детских лет и до того момента, как она после чудесного избавления от смерти вынуждена была покинуть Россию, достаточно подробно описана на страницах её воспоминаний. Удивительно, что трижды за рассматриваемый период её жизни Господь чудесным образом отвращал от неё неминуемую гибель, дважды по молитвам батюшки Иоанна Кронштадтского и один раз после страшной железнодорожной катастрофы по молитвам Григория Ефимовича Распутина. Обстоятельства дальнейшей её жизни в эмиграции скупно изложены в коротком историческом очерке, который составлен А. Кочетовым, как он пишет, «на основании исследований, проведённых отцом Арсением из Ново-Валаамского монастыря». Вот что мы узнаём.

«...Под своей девичьей фамилией (Танеева) фрейлина прожила в Финляндии более четырёх десятилетий. Скончалась она в 1964 году в возрасте 80-ти лет и похоронена в Хельсинки на местном православном кладбище.

В Финляндии Анна Александровна вела, по словам отца Арсения, очень замкнутый образ жизни в тихом лесном уголке Озёрного края, на что были свои причины. Во-первых, выполняя данный перед тем, как покинуть родину, обет, она стала монахиней; во-вторых, многие эмигранты не желали общаться с человеком, чьё имя скомпрометировано одним лишь упоминанием рядом с именем Григория Распутина. Правда, жить на территории монастыря, заниматься физическим трудом Анна Александровна не могла (последствия железнодорожной катастрофы 1915 г.), и посему обряд её пострижения в инокини был совершен тайно, что, однако, в те годы довольно часто случалось в среде эмигрантов». [5]

Книга воспоминаний А. А. Танеевой (Вырубовой) «Страницы моей жизни», как свидетельствует А. Кочетов, издана в Париже в 1922 году. Однако, как следует из его очерка, человеческая злоба и нравственные испытания не окончились для Анны Александровны на чужбине и продолжали преследовать её вплоть до кончины, причём не только её саму, но и её воспоминания.

Тот текст «Страниц моей жизни», который имеет возможность прочесть благочестивый читатель, представляет собой первоначальный и полный вариант воспоминаний. Все дальнейшие издания этой книги претерпели существенные изменения текста, более того, можно сказать, подверглись редакционной цензуре. В России один из таких вариантов был опубликован в сборнике «Фрейлина Её Величества Анна Вырубова» в 1993 году издательством ORBITA Составитель сборника — Андрей Всеволодович Кочетов. Отметим, что сборник включает кощунственную фальшивку — лже-«Дневник Анны Вырубовой», о котором будет сказано особо.

Практически тот же текст воспоминаний использован издательством «Ковчег» совместно со Сретенским монастырём и издательством «Новая книга» в сборнике «Царственные мученики в воспоминаниях верноподданных», вышедшем в 1999 году.

Как свидетельствует А. Кочетов, текст, вошедший в его сборник, воспроизведён по книге «Фрейлина Её Величества», которая вышла в 1928 году в латвийском буржуазном издательстве «Ориент». «К печати эту книгу подготовил некто С. Карачевцев, слегка прошедшийся по тексту редакторским пером и несколько сокративший мемуары, особенно в части характеристик Протопопова, Маклакова, Щербатова и Хвостова — министров внутренних дел», — пишет А. Кочетов. От себя заметим, что этот список далеко не полный. Добавим также, что слова «слегка» и «несколько» точнее было бы заменить словом «безжалостно», так как редакторская правка, касаясь сначала отдельных слов, пунктуации, затем отдельных предложений, далее абзацев, страниц и так далее, в результате привела к сокращению половины авторского текста!

Кроме того, очень умело и тщательно из текста изымались, казалось бы, незначительные детали, которые как раз очень точно отображали внутренний мир и настроение автора, по-видимому, противоположные внутреннему миру и настроению «правщиков» и потому особенно неудобные им. Так, например, с титульного листа убрано посвящение Государыне Александре Феодоровне, а также слова 22-го псалма и слова из письма Государыни, принадлежащие прп. Серафиму Саровскому и используемые автором в качестве эпиграфа к воспоминаниям. Изъят первый абзац текста, который начинается словами: «Приступая с молитвой и чувством глубокого благоговения...». И таких примеров немало. Понятно, что для верующего человека это не малозначащие детали, а определённые символы, наполненные глубоким смыслом, передающие и усиливающие особую духовную настроенность автора.

Вот такая кропотливая работа была проведена господами-рецензентами. Добавим ещё, что «доброхотам-правщикам» угодно было не только сократить текст, но и включить в него

измышленные абзацы, не принадлежащие перу автора. Сделано это было с лукавой целью создать у читателя впечатление об авторе как человеке недалёкого ума, что вполне соответствовало бытовавшему в эмигрантской среде мнению, нашедшему отражение во множестве воспоминаний, где говорится об Анне Вырубовой. Облить её грязью или по крайней мере исказить её нравственный облик служило, по-видимому, признаком хорошего тона.

Есть основания предполагать, что в дальнейшем, благодаря деятельности «доброжелателей» и в какой-то степени необыкновенной доверчивости и беззащитности самой Анны Александровны, воспоминания подвергались ещё более существенным искажениям и измышлениям, а также прямой фальсификации. Автор этой статьи имел возможность познакомиться с примером подобного рода, который предполагали выдать за подлинные «неопубликованные воспоминания А. Вырубовой» и готовили их к печати, а может быть, продолжают готовить и сейчас. Впечатление от чтения этих «сенсационных», с позволения сказать, «воспоминаний» можно уподобить эффекту кривых зеркал — вроде всё то же, но... ничего подобного. Прежде всего напрочь отсутствует сам автор, его дух, душа, его видение. Допущены вопиющие противоречия с подлинником в характеристиках Государя и членов Царской семьи. В результате картина описываемых событий искажена до неузнаваемости, а Анна Танеева как автор просто уничтожена, убита, её там нет, а есть кто-то другой, другой автор, лишь прикрывающийся именем Анны Вырубовой. Объяснить это только неточностями переводов (с русского на английский, с английского на финский, с финского снова на русский и так далее) недостаточно, так как добросовестный переводчик стремится максимально приблизить свой перевод к авторскому тексту, не исказить смысл, передать дух, не совершить подмены истины небылицами. Остается признать, что «переводчик» был, мягко говоря, недобросовестным.

Не выдерживает критики и то объяснение, что Анна Александровна испытывала давление эмигрантской среды, так сказать, поддавалась психологическому и. духовному прессингу, что и послужило причиной тех существенных изменений, которые были внесены ею в поздние варианты своих воспоминаний. На это ответим так. Да, она была лишена опоры в лице своих родителей, своих венценосных друзей, была оторвана от Родины, но не лишилась главного основания в жизни — горячей веры в Бога, в Его благой Промысел, в конечное торжество Божией Правды. Отсюда она черпала силы для исполнения своего долга сохранить правду о Святых Царственных мучениках, с тем чтобы неискаженной передать её потомкам. Могла ли она поддаться давлению своих врагов, изменить Правде? Зная, что Помощником и Покровителем её в этом святом деле был Сам Господь Бог (Который и сокрыл её в пустыне, в тишине озёрного края от всех стрел лукавого), однозначно ответим: нет, не могла. Надёжным доказательством того, что это так и одновременно опровержением всех кривотолков на тему Анны Вырубовой и её воспоминаний пусть послужит сама её книга «Страниц моей жизни», а также всё то, что было сказано о ней, о её духовном облике в первой части нашей статьи.

Но оставим историкам и литературным публицистам, а может быть, и криминалистам выяснение вопроса о происхождении тех или иных позднейших вариантов воспоминаний.

По всей видимости, Анна Александровна была не в состоянии активно воспрепятствовать этим явлениям в силу особенности своего положения и в силу отмеченных выше качеств её характера, которые очень метко выразила дочь Григория Ефимовича Распутина — Матрена Распутина в своих воспоминаниях.

«Анна Александровна никогда не могла постоять за себя. Да и не пыталась, считая это не то что бесполезным, но не нужным. Она-то сама знала про себя, что абсолютно чиста перед Богом и людьми, как знали и те, кто были ей, дороги, а мнение остальных её не интересовало». [6]

Завершая разговор о судьбе воспоминаний А. А. Танеевой, для полноты картины можно отметить, что апофеозом, без преувеличения будет сказано, дьявольской работы по искажению её воспоминаний и, тем самым, по дискредитации самой Анны Танеевой, а через неё всей Царской семьи, является пресловутый «Дневник Анны Вырубовой», опубликованный в упоминавшемся сборнике издательства «ORBITA» в 1993 году. Как утверждает составитель этого сборника А. Кочетов, авторами этой гнусной фальшивки явились известный советский писатель А. Н. Толстой и историк П. Е. Щёголев, бывший член Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. По мнению составителя, с которым невозможно не согласиться, «цель, которую преследовали авторы лже-«Дневника» фрейлины Её Величества, определенно была достигнута; «воспоминания» сыграли роль эдакого средства внедрения в легковверные умы читателей неверных представлений о действительном положении дел, подлили воды на мельницу тех, кто желал дискредитации Царской семьи, кто пытался предвзято представить дворцовую обстановку в канун революции». Добавим, что взяты за написание подобной стряпни могли только те, кто потерял совесть и чувство собственного достоинства, люди опустившиеся и распоясавшиеся от ощущения своей безнаказанности. Но... «Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь».

Для тех же, кто может столкнуться со всякого рода измышлениями на тему воспоминаний Анны Вырубовой, хочется отметить следующее. Господь сказал: «Я есть истина», и ещё: «Бог есть любовь». Отсюда следует, где Правда — там Бог, где есть истинная Любовь — там Бог, одно от другого неотделимо. А где клевета или даже малейшее искажение правды, то есть лести, там нет Любви, там нет Бога, а есть дело Его противника. На «Страницах» воспоминаний Анны Танеевой истина запечатлена любовью, потому что Сам Бог осенял перо автора. Именно в этом, как было сказано, сила убедительности и искренности её слов, отсюда необыкновенное спокойствие и умиротворённость, которыми дышат подлинные воспоминания Анны Танеевой. Нельзя не поверить любящему и верующему сердцу. Вряд ли подобное чувство возникнет при чтении публикаций-искажений или публикаций-фальшивок, приписываемых Анне Александровне.

Но вот, несмотря на все ухищрения клеветника-дьявола, подлинный текст воспоминаний Анны Александровны Танеевой «Страницы моей жизни» перед вами. Это само по себе чудо, которое сотворил Господь ради нас грешных. И не так важно, как текст этой книги попал к православным издателям. Отнесём всё это ко Господу, промысляющему о нашем благе. Важно, что эта книга есть, и мы можем прочесть её, прикоснуться к Истине и Любви, развеять мрак лжи, рассеять сомнения, которые мешают прославить в сердцах наших Святых Царственных мучеников и, наконец, возблагодарить Бога за эту милость.

Завершая небольшой рассказ о А. А. Танеевой и разговор о судьбе её воспоминаний, хочется обратиться к Богу с молитвой об упокоении в селениях праведных многострадальной и любящей души Анны Танеевой, в иночестве Марии, а также испросить прощения у Бога и у читателя за несовершенство и неполноту нашего небольшого труда, призванного предварить чтение замечательной книги.

Со Святыми упокой, Христе, душу рабы Твоей, инокини Марии и нас грешных помилуй.

Небесное благословение

То, что появление книги А. А. Танеевой «Страницы моей жизни» в канун прославления Святых Царственных мучеников Юбилейным Архиерейским собором Русской Православной Церкви 2000 года не случайно, свидетельствует одно чудесное обстоятельство, сопутствовавшее принятию решения о необходимости публикации этих воспоминаний. Автор этой статьи, в

руках которого оказался текст воспоминаний, находясь под сильным впечатлением от прочтения их, решил искать возможность опубликования «Страниц» и с этой целью, как первый шаг, отдал книгу на ксерокс. Но прошло довольно много времени, более двух недель, а копия текста по непонятным причинам всё не была готова.

Недоумевая, как быть дальше, он по какому-то особому, можно сказать, чудесному стечению обстоятельств оказался на Валаамском подворье, где только что закончилось чтение акафиста перед мироточивой иконой Царя-мученика Николая II. К сожалению, он опоздал, так как икону уже увезли. Однако в храме на западной стене висела точная копия мироточивой иконы. Перед этой вот иконой Царя-мученика Николая с зажжённой восковой свечой в руке он обратился с мольбой о помощи:

«Царь-Батюшка, Николай Александрович, вразуми, укажи волю Божию, рассеяй сомнения, укрепи в решении!» Затем молитва была продолжена у иконы Святых Царственных мучеников — копии чудотворной, бывшей на Афоне в 1998 году, которая лежала на аналое ближе к солею. По-прежнему в руке горела свеча. И тут совершилось чудо. Свечка в руке молящегося замироточила, вся покрылась благоуханным миром, которое стекало по свече на пальцы и издавало необыкновенный аромат.

Но не было воли Божией явить это чудо немногочисленным посетителям, так как одновременно тишину храма нарушил Сигнал пейджера. Обычным в этом случае нажатием кнопки сигнал был выключен, однако тут же раздался вновь, и так трижды. Находясь в волнении от совершившегося чуда, вместе с тем растерявшись от неожиданности и окончательно смутившись от того, что по его вине нарушена благоговейная тишина храма, он в полном замешательстве вышел, с досадой нажал кнопку прочтения сообщения... Каково же было удивление, перемешанное с чувством страха и вместе с тем радости, когда в сообщении, трижды возвещенном в храме, где только что присутствовала мироточивая икона Царя-мученика Николая и пели Ему акафист, во время молитвы, обращенной к Нему сначала перед иконой Царя-мученика (копии мироточивой), а затем перед иконой Всех Святых Царственных мучеников (также копии чудотворной), и при совершившемся чуде мироточения горячей свечи, говорилось о том, что «ксерокс Анны Вырубовой готов» и нужно приехать срочно забрать его. Этого было достаточно, чтобы понять смысл произошедшего. Чудесным образом был получен ответ, все сомнения были рассеяны. Государь и Все Святые Царственные мученики благословили издание посвященных им воспоминаний Анны Танеевой.

Господи, помоги исполнить волю Твою и волю скорого заступника и помощника, небесного предстателя за народ русский, Святого Царя-мученика и искупителя Николая!

Святой Батюшка-Царь Николай Александрович, Святая Государыня-матушка Александра Феодоровна, Святые Царственные Их дети, молитесь Бога о нас!

Ю. Ю. Рассулин 7/20 июля 2000 года, канун празднования Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

Страницы моей жизни

Глава 1

Аще бо и пойду посреди тени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси (Пс. 22, 4).

«Укоряеми — благословляйте, гоними — терпите, хулими — утешайтесь, злословими — радуйтесь». (Слова о. Серафима Саровского) — вот наш путь с тобой.

Приступая с молитвой и чувством глубокого благоговения к рассказу о священной для меня дружбе с Императрицей Александрой Феодоровной, я хочу сказать вкратце — кто я, и как могла я, воспитанная в тесном семейном кругу, приблизиться к моей Государыне.

Отец мой, Александр Сергеевич Танеев, занимал видный пост статс-секретаря и главноуправляющего Его Императорского Величества Канцелярией в продолжение двадцати лет. По странному стечению обстоятельств тот же самый пост занимали его дед и отец при Александре I, Николае I, Александре II и Александре III.

Дед мой, генерал Толстой, был флигель-адъютантом Императора Александра II, а его прадед был знаменитый фельдмаршал Кутузов. Прадедом матери был граф Кутайсов, друг Императора Павла I.

Несмотря на высокое положение моего отца, наша семейная жизнь была простая и скромная. Кроме служебных обязанностей весь его жизненный интерес был сосредоточен на семье и любимой музыке, — он занимал видное место среди русских композиторов. Вспоминаю тихие вечера дома: брат, сестра и я, поместившись за круглым столом, готовили уроки, мама работала, отец же, сидя у рояля, занимался композицией. Благодарю Бога за счастливое детство, в котором я почерпнула силы для тяжелых переживаний последующих лет.

Шесть месяцев в году мы проводили в родовом имении «Рождествено» под Москвой. Это имение принадлежало нашему роду 200 лет. Соседями были родственники, князья Голицыны, и Великий Князь Сергей Александрович. С раннего детства мы, дети, обожали Великую Княгиню Елизавету Феодоровну (старшую сестру Государыни Императрицы Александры Феодоровны), которая нас баловала и ласкала, даря платья и игрушки. Часто мы ездили в Ильинское, и они приезжали к нам — на длинных линейках — со свитой пить чай на балконе и гулять в старинном парке. Однажды, приехав из Москвы, Великая Княгиня пригласила нас к чаю, после которого мы, дети, искали игрушки, спрятанные ею в большой угловой гостиной, как вдруг доложили, что приехала Императрица Александра Феодоровна! Великая Княгиня, оставив своих маленьких гостей, побежала навстречу сестре.

Первое мое впечатление об Императрице Александре Феодоровне относится к началу царствования, когда она была в расцвете молодости и красоты: высокая, стройная, с царственной осанкой, золотистыми волосами и огромными, грустными глазами — она выглядела настоящей царицей. К моему отцу Государыня с первого же времени проявила доверие, назначив его вице-председателем Трудовой Помощи, основанной ею в России. В это время зимой мы жили в Петербурге, в Михайловском Дворце, летом же на даче в Петергофе.

Возвращаясь с докладов от юной Государыни, мой отец делился с нами своими впечатлениями. Так, он рассказывал, что на первом докладе он уронил бумаги со стола и что Государыня, быстро нагнувшись, подала их сильно смутившемуся отцу. Необычайная застенчивость Императрицы его поражала. «Но, — говорил он, — ум у нее мужской — *une tete d'homme*». Прежде же всего она была матерью: держа на руках шестимесячную Великую Княжну Ольгу Николаевну, Государыня обсуждала с моим отцом серьезные вопросы своего нового учреждения; одной рукой качая колыбель с новорожденной Великой Княжной Татьяной Николаевной, она другой рукой подписывала деловые бумаги. Однажды, во время одного из докладов, в соседней комнате раздался необыкновенный свист.

— Какая это птица? — спрашивает отец.

— Это Государь зовет меня, — ответила, сильно покраснев, Государыня и убежала, быстро простившись с отцом.

Впоследствии как часто я слыхала этот свист, когда Государь звал Императрицу, детей или меня; сколько было в нем обаяния, как и во всем существе Государя.

Обоюдная любовь к музыке и разговоры на эту тему сблизили Государыню с нашей семьей. Я уже упоминала о высоком музыкальном даровании моего отца. Само собой разумеется, что нам с ранних лет дали музыкальное образование. Отец возил нас на все концерты, в оперу, на репетиции и во время исполнения часто заставлял следить по партитуре; весь музыкальный мир бывал у нас — артисты, капельмейстеры, — русские и иностранцы. Помню, как раз пришел завтракать П. И. Чайковский и зашел к нам в детскую.

Образование мы, девочки, получили домашнее и держали экзамен на звание учительниц при округе. Иногда через отца мы посылали наши рисунки и работы Императрице, которая хвалила нас, но в то же время говорила отцу, что поражается, что русские барышни не знают ни хозяйства, ни рукоделия и ничем, кроме офицеров, не интересуются.

Воспитанной в Англии и Германии, Императрице не нравилась пустая атмосфера петербургского света, и она все надеялась привить вкус к труду. С этой целью она основала «Общество рукоделия», члены которого, дамы и барышни, обязаны были сработать не менее трех вещей в год для бедных. Сначала все принялись работать, но вскоре, как и ко всему, наши дамы охладели, и никто не мог сработать даже трех вещей в год. (Идея не привилась.) Невзирая на это, Государыня продолжала открывать по всей России дома трудолюбия для безработных, учредила дома призрения для падших девушек, страстно принимая к сердцу все это дело.

Жизнь при Дворе в то время была веселая и беззаботная. 17-ти лет я была представлена сперва Императрице-Матери в Петергофе в ее дворце Коттедже. Сначала страшно застенчивая, — я вскоре освоилась и очень веселилась. В эту первую зиму я успела побывать на 22 балах, не считая разных других увеселений. Вероятно, переутомление отозвалось на моем здоровье, — и летом, получив брюшной тиф, я была 3 месяца при смерти. Брат и я болели одновременно, но его болезнь шла нормально, и через 6 недель он поправился; у меня же сделалось воспаление легких, почек и мозга, отнялся язык, и я потеряла слух. Во время долгих мучительных ночей я видела как-то раз во сне о. Иоанна Кронштадтского, который сказал мне, что скоро мне будет лучше.

В детстве о. Иоанн Кронштадский раза 3 был у нас и своим благодатным присутствием оставил в моей душе глубокое впечатление, и теперь, казалось мне, мог скорее помочь, чем доктора и сестры, которые за мной ухаживали. Я как-то сумела объяснить свою просьбу — позвать о. Иоанна, и отец сейчас же послал ему телеграмму, которую он, впрочем, не сразу получил, так как был у себя на родине. В полузабытии я чувствовала, что о. Иоанн едет к нам, и не удивилась, когда он вошел ко мне в комнату. Он отслужил молебен, положив епитрахиль мне на голову. По окончании молебна он взял стакан воды, благословил и облил меня, к ужасу сестры и доктора, которые кинулись меня вытирать. Я сразу заснула, и на следующий день жар спал, вернулся слух, и я стала поправляться.

Великая Княгиня Елизавета Феодоровна три раза навещала меня, а Государыня присылала чудные цветы, которые мне клали в руки, пока я была без сознания.

В сентябре я уехала с родителями в Баден и затем в Неаполь. Здесь мы жили в одной гостинице с Великим Князем Сергеем Александровичем и Великой Княгиней Елизаветой

Феодоровной, которые очень забавлялись, видя меня в парике. Вообще же Великий Князь имел сумрачный вид и говорил матери, что расстроен свадьбой его брата, Великого Князя Павла Александровича. К июню я совсем поправилась и зиму 1903 года очень много выезжала и веселилась. В январе получила шифр — т. е. была назначена городской фрейлиной, но дежурила только на балах и выходах при Государыне. Это дало возможность ближе видеть и официально познакомиться с Императрицей, и вскоре потом мы подружились тесной неразрывной дружбой, продолжавшейся все последующие годы.

Мне бы хотелось нарисовать портрет Государыни Императрицы Александры Феодоровны — такой, какой она была в эти светлые дни, пока горе и испытания не постигли нашу дорогую Родину. Высокая, с золотистыми густыми волосами, доходившими до колен, она, как девочка, постоянно краснела от застенчивости; глаза ее, огромные и глубокие, оживлялись при разговоре и смеялись. Дома ей дали прозвище «солнышко» — Sunny, — имя, которым всегда называл ее Государь. С первых же дней нашего знакомства я всей душой привязалась к Государыне: любовь и привязанность к ней остались на всю мою жизнь.

Зима 1903 года была очень веселая. Особенно памятны мне в этом году знаменитые балы при Дворе в костюмах времен Алексея Михайловича; первый бал был в Эрмитаже, второй в концертном зале Зимнего Дворца и третий у графа Шереметева. Сестра и я были в числе 20 пар, которые танцевали русскую. Мы несколько раз репетировали танец в зале Эрмитажа, и Императрица приходила на эти репетиции. В день бала она была поразительно хороша в золотом парчовом костюме, и на этот раз, как она мне рассказывала, она забыла свою застенчивость, ходила по зале, разговаривая и рассматривая костюмы.

Летом я заболела сердцем. Мы жили в Петергофе — и это было первый раз, что Государыня нас посетила. Приехала она в маленьком шарабане, сама правила. Пришла веселая и ласковая наверх в комнату, где я лежала, в белом платье и большой белой шляпе. Ей, видимо, доставляло удовольствие приехать запросто, не предупреждая. Вскоре после того мы уехали в деревню. В нашем отсутствии Императрица еще раз приезжала к нам и огорошенному курьеру, который открыл ей дверь, передала бутылку со святой водой из Сарова, поручив передать ее нам.

Следующую зиму началась японская война. Это ужасное событие, которое принесло столько горя и глубоко потрясло всю страну, отразилось на нашей семейной жизни разве тем, что сократилось количество балов, что не было приемов при дворе и что мать заставила нас пройти курс сестер милосердия. Для практики мы ездили перевязывать в Елизаветинскую общину. По инициативе Государыни в залах Зимнего Дворца открылся склад белья для раненых воинов. Мать моя заведовала отделом раздачи работ на дом, и мы помогали ей целыми днями. Императрица почти ежедневно приходила в склад; обойдя длинный ряд зал, где за бесчисленными столами трудились дамы, она садилась где-нибудь работать.

Императрица тогда была в ожидании Наследника. Помню ее высокую фигуру в темном бархатном платье, опушенном мехом, скрадывающем ее полноту, и длинном жемчужном ожерелье. За ее стулом стоял арап Jimmy в белой чалме и шитом платье; арап этот Jimmy был одним из четырех абиссинцев, которые дежурили у дверей покоев Их Величеств. Вся их обязанность состояла в том, чтобы открывать двери. Появление Jimmy в складе производило всеобщее волнение, так как оно возвещало прибытие Государыни. Абиссинцы эти были остатком придворного штата Двора времен Екатерины Великой.

Следующим летом родился Наследник. Государыня потом мне рассказывала, что из всех ее детей это были самые легкие роды. Императрица едва успела подняться из маленького кабинета по витой лестнице к себе в спальню, как родился Наследник. Сколько было радости,

несмотря на всю тяжесть войны, кажется, не было того, чего Государь не сделал бы в память этого дорогого дня. Но почти с первых же дней родители заметили, что Алексей Николаевич унаследовал ужасную болезнь, гемофилию, которой страдали многие в семье Государыни; женщина не страдает этой болезнью, но она может передаваться от матери к сыну.

Вся жизнь маленького Наследника, красивого, ласкового ребенка, была одним сплошным страданием, но вдвойне страдали родители, в особенности Государыня, которая не знала более покоя. Здоровье ее сильно пошатнулось после всех переживаний войны, и у нее начались сильные сердечные припадки. Она бесконечно страдала, сознавая, что была невольной виновницей болезни сына. Дядя ее, сын королевы Виктории, принц Леопольд, болел той же болезнью, маленький брат ее умер от нее же, и также все сыновья ее сестры, принцессы Прусской, страдали с детства кровоизлияниями.

Натурально, все, что было доступно медицине, было сделано для Алексея Николаевича. Государыня кормила его с помощью кормилицы (так как сама не имела довольно молока), как кормила она и всех своих детей.

У Императрицы при детях была сперва няня-англичанка и три русские няни, ее помощницы. С появлением Наследника она рассталась с англичанкой и назначила его няней вторую няню, М. Ив. Вишнякову. Императрица ежедневно купала Наследника и так много уделяла времени детской, что при Дворе стали говорить, что Императрица не царица, а только мать. Конечно, сначала не знали и не понимали серьезного положения здоровья Наследника. Человек всегда надеется на лучшее будущее. Их Величества скрывали болезнь Алексея Николаевича от всех, кроме самых близких родственников и друзей, закрывая глаза на возрастающую непопулярность Государыни. Она бесконечно страдала и была больна, а о ней говорили, что она холодная, гордая и неприветливая: таковой она осталась в глазах придворных и петербургского света даже тогда, когда все узнали о ее горе.

Глава 2

В конце февраля 1905 года моя мать получила телеграмму от светлейшей княгини Голицыной, гофмейстерины Государыни, которая просила отпустить меня на дежурство — заменить больную свитскую фрейлину княжну Орбельяни. Я сейчас же отправилась с матерью в Царское Село. Квартиру мне дали в музее — небольшие мрачные комнаты, выходящие на церковь Знаменья. Будь квартира и более приветливой, все же я с трудом могла побороть в себе чувство одиночества, находясь в первый раз в жизни вдали от родных, окруженная чуждой мне придворной атмосферой.

Кроме того, Двор был в трауре. 4 февраля был зверски убит Великий Князь Сергей Александрович, Московский генерал-губернатор. По слухам, его не любили в Москве, где началось серьезное революционное движение, и Великому Князю грозила ежедневная опасность.

Великая Княгиня, несмотря на тяжелый характер Великого Князя, была бесконечно ему предана и боялась отпускать его одного. Но в этот роковой день он уехал без ее ведома. Услышав страшный взрыв, она воскликнула: «It is Serge». Она поспешно выбежала из дворца, и глазам ее представилась ужасающая картина: тело Великого Князя, разорванное на сотни кусков...

Таким страшным образом погиб Великий Князь Сергей Александрович. Злодея-убийцу схватили и приговорили к смертной казни. Характерно, что Великая Княгиня сама поехала к нему в тюрьму сказать, что прощает его, и молилась возле него. Молился ли он вместе с ней, я

не знаю: социалисты-революционеры гордятся своим безбожием.

Грустное настроение при Дворе тяжело ложилось на душу одинокой девушки. Мне сшили траурное черное платье, носила я и длинный креповый вуаль, как остальные фрейлины. Императрица приняла меня в большой приемной гостиной. Она была тоже в глубоком трауре и показалась мне очень пополневшей. Она сказала мне, что видеть меня почти не будет, так как занята своими сестрами, Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной и принцессой Ириной Прусской. Кроме того, у них гостила Императрица-Мать. Свиты было много, и я чувствовала себя среди них чужой.

По желанию Государыни главной моей обязанностью было проводить время с больной фрейлиной, княжной Орбельяни, которая страдала прогрессивным параличом. Вследствие болезни характер у нее был очень тяжелый. Остальные придворные дамы также не отличались любезностью, я страдала от их частых насмешек, — особенно они потешались над моим французским языком, и я должна сознаться, что говорила я тогда очень дурно по-французски.

Государыню я никогда не видела, — только раз она позвала меня кататься с собою, о чем мне сообщил скороход по телефону. Был теплый весенний день, снег на солнце таял. Мы выехали в открытой коляске. Помню как сейчас, что я не знала, как сидеть возле нее: мне все казалось, что я недостаточно почтительно себя держу. Вообще я была подавлена всей окружающей обстановкой этой прогулки, кланяющейся публикой, казаком, который скакал за нами по дороге. Первые впечатления ярко остаются в памяти, и я помню все вопросы Государыни о моих родных, — и ее рассказы о своих детях, в особенности о Наследнике, которому было тогда 7 месяцев. Императрица торопилась вернуться к уроку танцев детей.

Потом, вечером, княжна Орбельяни все дразнила меня, что Императрица меня не позвала на урок: позови же она, может быть, княжна нашла бы предлог еще больше издеваться надо мной; таков был Двор.

Был пост, и по средам и пятницам в походной церкви Александровского дворца служили прежде-освященные литургии для Государыни. Я просила и получила разрешение бывать на этих службах. Другом моим была княжна Шаховская, фрейлина Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, только осиротевшая. Всегда добрая и ласковая, она, начала давать мне религиозные книги для чтения.

Очень добра была ко мне и Великая Княгиня Елизавета Феодоровна. Меня поражал ее взгляд — точно она видела перед собой картину убийства мужа!.. Но наружно она всегда казалась спокойной, по праздникам одевалась вся в белое, напоминая собой рисунки мадонн. Принцесса Ирина Прусская была в трауре по случаю смерти ее маленького сына, которого она так жалела и о котором она мне говорила со слезами на глазах.

Подошла Страстная неделя, и мне объявили, что дежурство мое кончено. Императрица вызвала меня в детскую проститься. Застала я ее в угловой игровой комнате окруженную детьми, на руках у нее был Наследник. Я была поражена его красотой — так он был похож на херувима: вся головка в золотых кудрях, огромные синие глаза, белое кружевное платьице. Императрица дала его мне подержать на руки и тут же подарила мне медальон (серый камень в виде сердца, окруженный бриллиантами) на память о моем первом дежурстве и простилась со мной.

Несмотря на ее ласку, я была рада вернуться домой.

На лето я переехала на дачу с родителями в Петергоф и видела Государыню чаще, чем во

время первого дежурства, работая в складе в Английском Дворце. Императрица приезжала туда почти ежедневно в маленьком экипаже и всегда сама правила. Каждую неделю она ездила в автомобиле в Царское Село в свой лазарет и два раза просила мать отпустить меня с ней. Во время одной из таких поездок состоялась закладка школы нянь, основанной ею в Царском Селе. В лазарете она обходила раненых офицеров, играла с ними в шашки, пила чай, — с материнской нежностью говорила с ними, нисколько не стесняясь, и в эти минуты мне казалось странным, что ее находили холодной и неприветливой. С бесконечной благодарностью и уважением окружали ее больные и раненые, каждый стараясь быть к ней поближе. Между мной и Государыней сразу установились простые, дружеские отношения, и я молила Бога, чтобы Он помог мне всю жизнь мою положить на служение Их Величествам. Вскоре я узнала, что и Ее Величество желала приблизить меня к себе.

В августе Императрица прислала к нам фрейлину Оленину, прося отпустить меня с ними в шхеры. Отплыли мы из Петергофа на яхте «Александрия», в Кронштадте перешли на «Полярную звезду» и ушли в море. Сопровождали Их Величеств: флигель-адъютант князь Оболенский, граф Гейден, морской министр адмирал Бирилев, контр-адмирал Чагин, командир яхты граф Толстой, Е. Шнейдер, я и другие.

Я была очень взволнована, сидя в первый раз около Государя за завтраком. Сидели за длинным столом, Государь на обычном своем месте, Императрица и я около него. Вспоминая тяжелый год войны, Государь сказал мне, указывая на Императрицу: «Если бы не она, я бы ничего не вынес».

Жизнь на яхте была простая и беззаботная. Каждый день мы съезжали на берег, гуляли по лесу с Государыней и детьми, лазили на скалы, собирали бруснику и чернику, искали грибы, исследовали тропинки. Их Величества, словно дети, радовались простой, свободной жизни. Набегавшись и надышавшись здоровым морским воздухом, мне так хотелось спать по вечерам, а садились пить чай только в 11 часов вечера. Раз, к моему стыду, я заснула за чаем и чуть не упала со стула. Государь дразнил меня, подарив мне коробку спичек, предлагал вставить их в глаза, чтобы они не закрывались. Тогда же в первый раз мы начали играть с Императрицей в 4 руки. Я играла недурно и привыкла разбирать ноты, но от волнения теряла место и пальцы леденели. Играли мы Бетховена, Чайковского и других композиторов. [7]

Вспоминаю наши первые душевные разговоры у рояля и иногда до сна. Вспоминаю, как мало-помалу она мне открывала свою душу, рассказывая, как с первых дней ее приезда в Россию она почувствовала, что ее не любят, и это было ей вдвойне тяжело, так как она вышла замуж за Государя только потому, что любила его, и, любя Государя, она надеялась, что их обоюдное счастье приблизит к ним сердца их подданных. Моя бабушка Толстая рассказывала мне случай, переданный ей ее родственницей, баронессой Анной Карловной Пилар, фрейлиной Государыни Императрицы Марии Александровны. Во время посещения Государыней Дармштадта в семидесятых годах Принцесса Алиса Гессенская привела показать ей всех своих детей, принесла на руках маленькую принцессу Алису (будущую Государыню Императрицу Александру Феодоровну). Императрица Мария Александровна, обернувшись к баронессе Пилар, произнесла, указывая на маленькую принцессу Алису: «Baisez lui la main, elle sera votre future Imperatrice». [8]

Еще маленькой девочкой в 1884 году Императрица приезжала в Петербург на свадьбу своей сестры, Великой Княгини Елизаветы Феодоровны. Она тогда очень подружилась с сестрой Государя, маленькой

Великой Княжной Ксенией Александровной, а также с малолетним Наследником Николаем Александровичем, который как-то раз подарил ей маленькую брошку. Сперва она приняла ее,

но после решила в своей детской головке, что подарка принимать нельзя; но как сделать, чтобы его не обидеть? И вот на детском балу в Аничковом дворце она потихоньку втиснула брошку в его руку. Государь был очень огорчен и подарил эту брошку своей сестре. С годами увлечение их росло, но Государыня боролась со своими чувствами, боясь сделать неправильный шаг в отношении своей религии.

Когда женился ее брат и ей показалось, что после смерти отца, которого она обожала, ей больше уже нечего дома делать, чувство к Государю все перебороло и счастьем их не было границ. Они вместе были на свадьбе брата в Кобурге; потом Государь приезжал к ней в Англию, где она гостила у королевы Виктории.

В это время смертельно заболел Император Александр III, и ее вызвали, как будущую Цесаревну, в Крым. Императрица с любовью вспоминала, как ее встретил Император Александр III, как он надел мундир, когда она пришла к нему, показав этим свою ласку и уважение. Но окружающие встретили ее холодно, в особенности, рассказывала она, А. А. Оболенская и графиня Воронцова. Ей было тяжело и одиноко; не нравились ей и шумные обеды, завтраки и игры собравшейся семьи в такой момент, когда там, наверху, доживал свои последние дни и часы Государь Император.

Затем переход ее в Православие и смерть Государя. Государыня, рассказывала, как она, обнимая Императрицу-Мать, когда та отошла от кресла, на котором только что скончался Император, молила Бога помочь ей сблизиться с ней. Потом длинное путешествие с гробом Государя по всей России и панихида за панихидой.

— Так я въехала в Россию, — рассказывала она. — Государь был слишком поглощен событиями, чтобы уделить мне много времени, и я холодела от робости, одиночества и непривычной обстановки. Свадьба наша была как бы продолжением этих панихид — только меня одели в белое платье.

Свадьба была в Зимнем Дворце. Те, кто видели Государыню в этот день, говорили, что она была бесконечно грустна и бледна.

Таковы были въезд и первые дни молодой Государыни в России. Последующие месяцы мало изменили ее настроение. Своей подруге, графине Рантцау (фрейлине Принцессы Прусской), она писала: «Я чувствую, что все, окружающие моего мужа, не искренни и никто не исполняет своего долга ради России; все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучусь и плачу целыми днями, так как я чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все и пользуются».

Государыня целыми днями была одна. Государь днем был занят с министрами, вечера же проводил со своей матерью (жившей тогда в том же Аничковом дворце), которая в то время имела большое на него влияние.

Трудно было молодой Государыне первое время в чужой стране. Каждая молодая девушка, выйдя замуж и попав в подобную обстановку, легко могла бы понять ее душевное состояние. Кажущаяся холодность и сдержанность Государыни начались с этого времени почти полного одиночества.

Не все сразу, но понемногу Государыня рассказывала мне о своей молодости. Разговоры эти сблизили нас, и она стала мне еще дороже. Офицеры яхты говорили мне, что я проломила стену, столько лет окружавшую Государыню.

Государь сказал мне, прощаясь в конце плавания: «Теперь вы абонированы ездить с нами». Но

дороже всего были мне слова моей Государыни:

«Благодарю Бога, что Он послал мне друга», — сказала она, протягивая мне руки.

Таким другом я и осталась при ней, не фрейлиной, не придворной дамой, а просто другом Государыни Императрицы Александры Феодоровны.

Глава 3

Вернувшись в Петергоф, на следующий день Императрица вызвала меня в Нижний Дворец у моря, где Их Величества жили совсем одни, без свиты. В крошечном кабинете, со светлой ситцевой мебелью и массой цветов, горел камин; Императрица, как сейчас помню, стояла в серой шелковой блузочке; обняв меня, она шутя спросила: «Хотела ли я ее повидать сегодня?» Шел сильный дождь, в комнате же у огня было тепло и уютно. Императрица показывала мне все свои книги, прочитанные и переписанные места из ее любимых авторов, фотографии родных, весь мир, в котором она жила. За письменным столом из светлого дерева стоял портрет во весь рост ее покойного отца.

Через несколько дней после нашего возвращения я уехала с семьей за границу. Мы остановились сперва в Карлсруэ у родных, затем поехали в Париж. Государыня передала мне письма к ее брату, Великому Герцогу Гессенскому, и ее старшей сестре, принцессе Виктории Батенбергской. Великий Герцог находился в имении Вольфсгартен. Дворец Герцога окружали обширный сад и парк, устроенный по его плану и рисункам. После завтрака, во время которого Великий Герцог расспрашивал меня о Государыне и ее жизни, я гуляла в саду с госпожой Гранси, гофмейстериней Гессенского Двора, милой и любезной особой. Она показала мне игрушки и вещицы, принадлежавшие маленькой Принцессе, единственной дочери Великого Герцога по первому браку, которая скончалась в России от острого заболевания. Видела я и белый мраморный памятник, воздвигнутый гессенцами в ее память.

Ко второму завтраку, на который меня пригласили, приехала Принцесса Виктория Батенбергская с детьми, красавицей Принцессой Луизой и маленьким сыном. Меня занимал этикет при Гессенском Дворе: Принцесса Батенбергская приседала перед своей молодой невесткой, Принцессой Элеонорой. Принцесса Виктория отличалась большим умом, но говорила настолько быстро, что многое терялось в ее речи; она меня расспрашивала о русской политике, что ставило меня в затруднение, так как я мало что знала на этот счет. Она пригласила меня и мою сестру завтракать к ней в Югенгейм, в окрестностях Дармштадта. И брат, и сестра моей Государыни снабдили меня письмами, я взяла их с собой в Париж, не зная, что еще не скоро мне придется их передать по назначению.

Пока мы приятно проводили время за границей, в России назревало народное неудовольствие, вызванное революционной пропагандой. Беспорядки начались забастовкой железных дорог, стачками рабочих и разными революционными демонстрациями. Все это нам мешало вернуться в Россию, но мы еще тогда не понимали, к чему все это может повести. Сознывая тяжелое положение Родины, я все время думала о Государе, который должен был во-дворять порядок в государстве, и стремилась назад к Государыне, которая разделяла все его заботы.

О манифесте 17 октября мы еще тогда ничего не слыхали. Манифест этот, ограничивающий права самодержавия и создавший Государственную Думу, был дан Государем после многочисленных совещаний, а также и потому, что на этом настаивали Великий Князь Николай Николаевич и граф Витте. Государь не сразу согласился на этот шаг не потому, что Манифест ограничивал права самодержавия, но его останавливала мысль, что русский народ еще вовсе не подготовлен к представительству и самоуправлению, что народные массы

находятся еще в глубоком невежестве, а интеллигенция преисполнена революционных идей. Я знаю, как Государь желал, чтобы народ его преуспевал в культурном отношении, но в 1905 г. он сомневался, что полная перемена в государственном управлении может принести пользу стране.

В конце концов его склонили подписать манифест.

Мне передавали, что Великий Князь Николай Николаевич будто бы грозил в противном случае застрелиться. Императрица рассказывала, что она сидела в это время с Великой Княжной Анастасией Николаевной, и у них такое было чувство, как будто рядом происходят тяжелые роды. Слышала я тоже, что будто, когда Государь, сильно взволнованный, подписывал указ о проекте Государственной Думы, министры встали и ему поклонились. Государь и Государыня горячо молились, чтобы народное представительство привело Россию к спокойствию и порядку.

Открылась Государственная Дума после Высочайшего выхода в Зимнем Дворце. Я с другими проникнула в Тронный зал и слышала, как Государь приветствовал членов Думы. Мало осталось у меня в памяти о первой Думе; много было разговоров, а дела мало. Она была закрыта по Высочайшему указу после двух месяцев существования. Газеты были полны сообщениями о событиях, происходивших на Руси, но до Дворца доходили лишь слабые отклики.

Государыня и я брали уроки пения у профессора Консерватории Нат. Алек. Ирецкой. У Императрицы было чудное контральто, у меня высокое сопрано, и мы постоянно вместе пели дуэты. Ирецкая выражалась о голосе Императрицы, что она могла бы им зарабатывать хлеб. Пела с нами иногда моя сестра трио Шумана, Рубинштейна и другие. Пела Государыня и под аккомпанемент скрипки. Иногда приезжал из Англии знакомый Государыни скрипач Вольф, и мы много музицировали. В Петергофе мы брали уроки пения обыкновенно в фермерском дворце, так как царицыно пианино стояло стена об стену с кабинетом Государя, а он вообще не любил, когда Императрица пела, почему никогда не приходил ее слушать.

Летом, когда Дума кончала свое короткое существование, мы снова ушли в шхеры на два месяца на любимой яхте Их Величеств «Штандарт». Государь ежедневно гулял по берегу; два раза в неделю приезжал фельдъегерь с бумагами, и тогда он занимался целый день.

Государыня съезжала также на берег и гуляла в лесу. Мы постоянно были вместе, читали, сидя на мягком мху, или, сидя на палубе, наблюдали, как резвились и играли дети. К каждому из них был приставлен «дядькой» матрос из команды. Матрос Деревенько в первый раз нянчил Алексея Николаевича на «Полярной звезде» в 1905 г., научил его ходить и затем был взят к нему во дворец. Эти матросы получали ценные подарки от Их Величеств: золотые часы и т. п. К сожалению, и знаменитый Деревенько во время революции покинул Наследника.

Дни моего дежурства при Государыне были среды и пятницы. Тогда я на целый день уезжала в Царское Село, обедала с Августейшей Семьей и ночевала во дворце. Часто обедал у них Свиты Его Величества генерал Орлов, командир Уланского Ее Величества полка, единственный близкий друг Государя. После обеда Государь и генерал играли обыкновенно на бильярде, мы же с Государыней, сидя в той же комнате, работали у лампы. Ездил генерал Орлов с нами летом и в шхеры. Меня уже тогда все ревновали к Их Величествам, начались всевозможные сплетни и разговоры, и я часто говорила о всем этом с генералом Орловым, который стал моим искренним другом. Переживая впоследствии уже не пустяки, я вспоминала его голос, убеждавший меня «быть молодцом».

В семейном кругу часто говорили о том, что мне пора выйти замуж, но никто из молодежи, которая бывала у нас, не пленял моего воображения. Среди других часто бывал у нас морской офицер Александр Вырубов. В декабре он сделал мне предложение письмом из деревни, которое меня сильно взволновало и смутило. Приехав в Петербург, он стал ежедневно бывать у нас и терзал меня, умоляя скорее дать ему согласие. За одним из завтраков в феврале 1907 года, когда он пришел сказать, что нашел себе службу, меня поздравили его невестой. Затем был бал, на котором была объявлена наша помолвка.

Все в доме и Вырубов сияли от радости, начались обеды, визиты, приготовление приданого. Меня осыпали подарками, и мне казалось, что я счастлива. Государыня тоже одобрила мою помолвку. Только генерал Орлов выразил сомнение, советуя мне серьезно обдумать этот шаг. Это случилось во время моего дежурства во дворце, и Государыня, войдя в комнату, решительно сказала, что нельзя меня смущать, раз слово уже дано.

Свадьба моя была 30 апреля 1907 года в церкви Большого Царскосельского Дворца. Я не спала всю ночь и встала утром с тяжелым чувством на душе. Весь этот день прошел как сон. Меня одевали в одной из запасных половин Большого Дворца. Как во сне встала на колени перед Их Величествами, благословившими меня иконой, затем началось шествие по залам, как на выходе. Шествие открывал обер-церемониймейстер граф Гендриков, за ним шествовали Их Величества под руку, потом шел мой мальчик с образом, граф Карлов и наконец я под руку с отцом. Подымаясь по лестнице, Государь обернулся и, вероятно, заметил мое грустное выражение, улыбнулся, глазами показывая на небо.

Во время венчания я чувствовала себя чужой возле своего жениха. В Золотой дворцовой церкви было немного народу. Налево стояли Их Величества, окруженные детьми, Великими Княжнами, и дети Великого Князя Павла Александровича. Один из них, Великий Князь Дмитрий Павлович, принявший впоследствии участие в убийстве Распутина, в день моей свадьбы был очаровательным мальчиком.

Гостей звали, кажется, лишь по выбору Их Величеств.

В зале, где нас поздравляли, произошел забавный случай: старик-священник Благовещенский, венчавший нас, обнял меня и одного из моих шаферов, приняв его за жениха, назвав нас «дорогими детьми».

После обряда бракосочетания мы пили чай у Их Величеств.

Прощаясь, Императрица, по обыкновению, тихонько передала мне письмо, полное ласки и добрых советов насчет моей будущей жизни. Каким ангелом она казалась мне в тот день, и тяжело было с ней расстаться. У родителей был семейный обед, после которого мы уехали в деревню, в Пензенскую губернию.

Тяжело женщине говорить о браке, который с самого начала оказался неудачным, и я только скажу, что мой бедный муж страдал наследственной болезнью. Нервная система мужа была сильно потрясена после японской войны — у Цусимы; бывали минуты, когда он не мог совладать с собой; целыми днями лежал в постели, ни с кем не разговаривая. Помню, как во время одного из припадков я позвонила вечером Государыне, напуганная его видом. Императрица, к моему удивлению, пришла сейчас же пешком из дворца, накинув пальто сверх открытого платья и бриллиантов, и просидела со мной целый час, пока я не успокоилась.

В августе Их Величества пригласили нас сопровождать их на «Штандарте» во время путешествия по Финским шхерам. Тут случилось несчастье, трудно объяснимое, так как на

«Штандарте» всегда находились финские лодчаны. Был чудный солнечный день; в 4 часа все собрались в верхней рубке к дневному чаю, как вдруг мы все почувствовали два сильных толчка; чайный сервиз задребезжал и посыпался со стола. Императрица вскрикнула, мы все вскочили, яхту начало кренить на правый борт; в одну минуту вся команда собралась на левый борт и стали заботиться о Их Величествах и детях. Государь успокаивал всех, говоря, что мы просто сели на камень. Матрос Деревенько кинулся с Наследником на нос корабля, боясь разрыва котлов, что легко могло случиться. Моментально у правого борта стали миноносцы, конвоирующие яхту, детей с их няньками перевели на финский корабль. Государыня и я бросились в каюты и с поспешностью стали связывать все вещи в простыни; мы съехали с яхты последними, перейдя на транспортное судно «Азия». Детей уложили в большую каюту, Императрица с Наследником поместилась рядом, а Государь и свита — в каютах наверху.

Всюду была неимоверная грязь. Помню, как Государь принес Императрице и мне таз с водой, чтобы помыть руки. Повар Кюба все же смастерил обед, и мы сели за стол около двенадцати часов ночи. На следующий день пришла яхта «Александрия», на которую мы перешли и жили две недели очень тесно, пока не пришла «Полярная звезда». На яхте «Александрия» Государь спал в рубке на диване, дети в большой каюте, кроме Алексея Николаевича. Напротив — Государыня, около нее — Наследник с Марией Ивановной. Я спала рядом на ванне.

Наверху в двух маленьких каютах помещались княжна Оболенская и адмирал Нилов. Свита, в том числе и мой муж, остались на финском корабле.

Бедный «Штандарт» лежал на боку. День и ночь работали машины, чтобы снять его со скалы.

После нашего возвращения в Петроград мужу стало хуже, и доктора отправили его в Швейцарию. Но пребывание там ему не помогло, а я все больше и больше его боялась... Весной он получил службу на корабле.

После года тяжелых переживаний и унижений несчастный брак наш был расторгнут. Я осталась жить в крошечном доме в Царском Селе, который мы наняли с мужем; помещение было очень холодное, так как не было фундамента и зимой дуло с пола. Государыня подарила мне к свадьбе 6 стульев, с ее собственной вышивкой, акварели и прелестный чайный стол. У меня было очень уютно. Когда Их Величества приезжали вечером к чаю, Государыня привозила в кармане фрукты и конфеты, Государь «черри-бренди». Мы тогда сидели с ногами на стульях, чтобы не мерзли ноги. Их Величества забавляла простая обстановка. Чай пили с сушками у камина, которые приносил мой верный слуга Берчик, камердинер покойного дедушки Толстого, прослуживший 45 лет в семье. Помню, как Государь, смеясь, сказал потом, что он согрелся только в ванной после чая у меня в домике.

В 1908 году летом Их Величества ходили на «Штандарте» в Англию на свидание с английским королем. Во время плавания в следующем году приехал прощаться с Их Величествами перед отъездом в Египет генерал Орлов, заболевший скоротечной чахоткой; его похоронили в Царском Селе, и Императрица тогда ездила на его могилу отвозить цветы. Эти редкие поездки на Казанское кладбище наводнили столицу целым потоком сплетен. Бедный генерал, как и я, страдал от зависти придворных, которые по-своему старались истолковать милостивое к нему отношение. Горе Их Величеств по случаю смерти генерала было чистосердечно и глубоко.

Глава 4

Осенью 1909 года первый раз я была в Ливадии, любимом местопребывании Их Величеств, на берегу Черного моря. С севера Ливадия защищена высокими горами, потому климат здесь почти тропический. Государь не желал, чтобы железная дорога нарушила тишину Ливадии, и

отклонял проекты железных дорог в Крыму.

Трудно описать красоту этого места на фоне обросших густыми лесами гор, вершины которых большую часть года покрыты снегом, расстилаются цветущие сады и виноградники. Осенью полное изобилие винограда и всевозможных фруктов, весной неисчислимое количество цветущих деревьев, кустов, а всего больше роз: розы, розы всех сортов, всех цветов; ими покрыты все стены строений, все склоны гор; в парке — лужайки, беседки. И тут же рядом — глицинии, море фиалок, целые аллеи золотого дождя; по местам такой одуряющий аромат, что голова кружилась. А какое горячее солнце и синее море! Разве могу я нарисовать волшебную картину Крыма?! Татары в своих живописных костюмах, женщины в шитых золотом платьях, белые мечети в аулах придавали особую поэзию местности.

Дворец в 1909 году имел вид большого деревянного здания с нависшими балконами, так что в комнатах было всегда темно и сыро, особенно же сыро было внизу, в бывших покоях Императрицы Марии Александровны, со старинной шелковой мебелью и разными безделушками.

Государь и дети ежедневно завтракали со свитой внизу в большой белой столовой, единственной светлой комнате; Государыня завтракала наверху одна или с Алексеем Николаевичем. Последнее время у Императрицы все чаще и чаще повторялись сердечные припадки, но она их скрывала и была недовольна, когда я замечала ей, что у нее постоянно синеют руки и она задыхается.

— Я не хочу, чтобы об этом знали, — говорила она

Помню, как я была рада, когда она наконец позвала доктора. Выбор ее остановился на Е. С. Боткине, враче Георгиевской общины, которого она знала с Японской войны, — о знаменитости она и слышать не хотела. Императрица приказала мне позвать его к себе и передать ее волю. Доктор Боткин был очень скромный врач и не без смущения выслушал мои слова. Он начал с того, что положил Государыню на 3 месяца в постель, а потом совсем запретил ходить, так что ее возили в кресле по саду. Доктор говорил, что она надорвала сердце, скрывая свое плохое самочувствие.

Их Величества не смели болеть, как простые смертные, — малейший их шаг замечался, и они часто пересиливали себя, чтобы присутствовать на обеде или завтраке или появляться в официальных случаях.

Жизнь в Ливадии была простая. Мы гуляли, ездили верхом, купались в море. Государь обожал природу, совсем перерождался; часами мы гуляли в горах, в лесу, брали с собой чай и на костре жарили собранные нами грибы. Государь ездил верхом и ежедневно играл в теннис; я всегда была его партнером, пока Великие Княжны были еще маленькие, и волновалась, так как он отлично играл и терпеть не мог проигрывать; он относился очень серьезно к игре, не допуская даже разговоров; играя с ним, я, как сказала, на первых порах нервничала, но потом приловчилась. Вообще Государь любил всякий спорт, прекрасно греб, обожал охоту и был неутомим на прогулках.

В Ливадию приезжал эмир Бухарский. Он привез Их Величествам всевозможные подарки: ожерелья, браслеты с алмазами и рубинами. Свита получила ордена и звезды, украшенные камнями.

20 октября, в день кончины Императора Александра III, была панихида в комнате, где он почил, в его маленьком дворце; все стояли вокруг его кресла, покрытого черным сукном.

Мы прожили до середины декабря; стало холодно, в горах выпал снег. Государь уехал в Италию, в Ракониджи, к королю итальянскому. Это была первая при мне разлука Их Величеств. Простившись с Государем, Ее Величество целый вечер плакала, замкнув свою комнату; никто, даже дети, не входили к ней. Но зато радости свидания не было границ. «К сожалению, нам всегда приходится расставаться и встречаться при других, — говорила она, — при свите и публике».

Осенью заболел Наследник. Все во дворце были подавлены страданием бедного мальчика. Ничто не помогало ему, кроме ухода и забот его матери. Окружающие молились в маленькой дворцовой церкви. Иногда мы пели во время всенощной и обедни: Ее Величество, старшие Великие Княжны, я и двое певчих из придворной капеллы. Фрейлина Тютчева читала шестопсалмие. Императрица обиделась, когда присутствующие заметили, что лучше всех читает София Ив. Тютчева.

Среди горестных переживаний болезни Алексея Николаевича приезжал с докладом дорогой мой отец.

К Рождеству мы вернулись в Царское Село. До отъезда Государь несколько раз гулял в солдатской походной форме, желая на себе самом испытать тяжесть амуниции. Было несколько курьезных случаев, когда часовые, не узнав Государя, не хотели впустить его обратно в Ливадию.

В следующий раз, когда мы вернулись в Ливадию (1911 год), старый дворец уже не существовал, а на его месте был построен в 2 года новый дворец архитектором Красновым, тем самым, который выстроил дома в имениях Великого Князя Георгия Михайловича и Великого Князя Николая Николаевича. В самом деле, построить в 2 года не только дворец, который был одной из самых красивых построек на южном берегу Крыма, но вместе с тем огромный светский дом и службы — целый городок — было почти волшебством.

Отправляясь в Крым, Их Величества радовались увидеть новый дворец. На яхте «Штандарт» мы подошли к молу в Ялте и следом за Их Величествами поехали в Ливадию. На набережной пестрая толпа народа, флаги и горячее южное солнце; впереди коляски Их Величеств скакал татарин в шитом золотом кафтане на лихом татарском иноходце. В Крыму испокон веку перед коляской Их Величеств скакал татарин, расчищая путь на горных дорогах, где из-за частых поворотов легко можно было налететь на встречные татарские арбы. Впоследствии появились моторы, и Государь требовал необычайно быстрой езды. Господь хранил Государя, но езда захватывала дух; шофер его, француз Кегресс, ездил лихо, но умело.

Когда мы проехали виноградники, глазам нашим представился новый дворец — белое здание в итальянском стиле, окруженное цветущими кустами на фоне синего моря. Их Величества прошли прямо в дворцовую церковь, где был отслужен молебен, и вслед за духовенством, которое кропило здание, последовали в свои помещения. Первые дни были посвящены устройству комнат и размещению оставшихся и привезенных вещей. Я много помогала Императрице развешивать образа, акварели, расставлять фотографии и т. д.

Спальня Их Величеств выходила на большой балкон с видом на море; налево в угловой комнате был кабинет Императрицы, уютный, с окнами на Ялту, со светлой мебелью и массой цветов; направо от спальни находился кабинет Государя с зеленой кожаной мебелью и большим письменным столом посреди комнаты. Наверху помещались также семейная столовая, комнаты Великих Княжон и Наследника и их нянь и большая белая зала. Внизу были приемная, гостиная, комнаты для гостей и огромная столовая, выходящая на мавританский дворик, где вокруг колодца были посажены розы. Государь имел обыкновение после завтрака

курить на этом дворике, разговаривая с приглашенными. В эту осень Ольге Николаевне исполнилось 16 лет, срок совершеннолетия для Великих Княжон. Она получила от родителей разные бриллиантовые вещи и колъе. Все Великие Княжны в 16 лет получали жемчужные и бриллиантовые ожерелья, но Государыня не хотела, чтобы Министерство Двора тратило столько денег сразу на их покупку Великим Княжнам, и придумала так, что они два раза в год, в дни рождения и именин, получали по одному бриллианту и по одной жемчужине. Таким образом у Великой Княжны Ольги Николаевны образовались два колъе по 32 камня, собранных для нее с малого детства.

Вечером был бал, один из самых красивых балов при Дворе. Танцевали внизу в большой столовой, — оркестр трубачей местного гарнизона стоял в мавританском дворике. В огромные стеклянные двери, открытые настежь, смотрела южная благоухающая ночь. Приглашены были все Великие Князья с семьями, офицеры местного гарнизона и знакомые, проживающие в Ялте. Великая Княжна Ольга Николаевна, первый раз в длинном платье из мягкой розовой материи, с белокурыми волосами, красиво причесанная, веселая и свежая, как цветочек, была центром всеобщего внимания. Она была назначена шефом одного из гусарских полков, что особенно ее обрадовало. После бала был ужин за маленькими круглыми столами. Разрешено было и маленьким Великим Княжнам присутствовать на балу, и они очень веселились, порхая, как бабочки, среди приглашенных.

Второй бал был в декабре. В эту зиму Великие Княжны танцевали на двух балах, в Аничковом дворце и у Великой Княгини Марии Павловны.

Самые счастливые воспоминания связаны у меня с Ливадией и белым новым дворцом. Их Величества ездили туда весной 1912, 1913 и 1914 гг.

В 1912 году приехали в Вербную Субботу, цвели все фруктовые деревья, и на всю ночь вместо вербы мы стояли с ветками цветущего миндаля. Два раза в день были службы в дворцовой церкви. В Великий Четверг Их Величества и мы все причащались. Ее Величество, как всегда, в белом платье и белом чепчике. Трогательная картина была, когда, приложившись к иконам, они кланялись на три стороны присутствующим. Маленький Алексей Николаевич бережно помогал матери встать с колен после земных поклонов у святых икон. В Святую ночь, когда шли крестным ходом вокруг дворика, стало вдруг холодно и ветер задувал свечи. В светлое Христово Воскресенье в продолжение двух часов Их Величества христосовались: Государь — с нижними чинами охраны, полиции, конвоя, командой яхты «Штандарт» и т. д. Императрица — с местными школами. Мы стояли за стеклянными дверями столовой, наблюдая, как подходившие получали из рук Их Величеств фарфоровые яйца с вензелями. Государь и Государыня чувствовали себя после этой церемонии утомленными.

Жизнь в Ливадии была сплошным праздником. Этой весной гостили брат Государыни Принц Эрнест с супругой и детьми; приезжала Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, в своем красивом костюме Марфо-Мариинской общины. Для нее служили литургию в дворцовой церкви в Ореанде. Гостил Великий Князь Дмитрий Павлович. Приехал старый князь Голицын, подаривший Государю часть своего имения «Новый Свет», куда мы ездили на яхте «Штандарт».

Ездили мы в Гагры по приглашению Принца Ольденбургского. В этот день был свежий ветер и у кавказского берега сильно качало. К нашему общему разочарованию Императрица решила не съезжать на берег, так как плохо себя чувствовала; укачало и Великую Княжну Татьяну Николаевну. Встреча Государя была своеобразная и красивая. Государь посетил народный праздник, устроенный в честь его приезда; на кострах жарили волов на вертелах, хорошенькие Княжны танцевали в национальных костюмах, но, к сожалению, накрапывал дождик. Государь

был в прекрасном настроении духа и после часто вспоминал Гагры.

Описывая жизнь в Крыму, я должна сказать, какое горячее участие принимала Государыня в судьбе туберкулезных, приезжавших лечиться в Крым. Санатории в Крыму были старого типа. После осмотров их всех в Ялте Государыня решила сейчас же построить на свои личные средства в их имениях санатории со всеми усовершенствованиями, что и было сделано.

Часами я разъезжала по приказанию Государыни по больницам, расспрашивая больных от имени Государыни о всех их нуждах. Сколько я возила денег от Ее Величества на уплату лечения неимущих!

Если я находила какой-нибудь вопиющий случай одиноко умирающего больного, Императрица сейчас же заказывала автомобиль и отправлялась со мной лично, привозя деньги, цветы, фрукты, а главное — обаяние, которое она всегда умела внушить в таких случаях, внося с собой в комнату умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела слез благодарности! Но никто об этом не знал — Государыня запрещала мне говорить об этом.

Императрица организовала 4 больших базара в пользу туберкулезных в 1911, 1912, 1913 и 1914 гг.; они принесли массу денег. Она сама работала, рисовала и вышивала для базара и, несмотря на свое некрепкое здоровье, весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Полиции было приказано пропускать всех, и люди давили друг друга, чтобы получить что-нибудь из рук Государыни или дотронуться до ее плеча, платья; она не уставала передавать вещи, которые буквально вырывали из ее рук. Маленький Алексей Николаевич стоял возле нее на прилавке, протягивая ручки с вещами восторженной толпе.

В день «белого цветка» Императрица отправлялась в Ялту в шарабанчике с корзинами белых цветков; дети сопровождали ее пешком. Восторгу населения не было предела. Народ, в то время не тронутый революционной пропагандой, обожал Их Величества, и это невозможно забыть.

Глава 5

Кроме пребывания Их Величеств в Ливадии, которые я описала, Государь и Государыня обыкновенно каждый год уходили на яхте «Штандарт» в шхеры, а также посещали родственников, проживающих за границей.

В 1910 году Их Величества направились в Балтийский порт. Стоянка неважная, рейд со стороны моря открытый, так что малейший ветер разводит сильное волнение. Оттуда пошли в Ригу. За исключением Государя нас всех почти укачало. Прием в Риге был замечательный. Их Величества говорили, что они долго будут помнить эти дни.

Затем ушли в Финляндские шхеры. Сюда прибыли король и королева Шведские — визит был официальный. Императрица радовалась встрече с Королевой, которую она очень любила. У нас на яхте был обед, на шведском корабле — завтрак. Во время завтрака я сидела возле шведского адмирала; последний в этот день был удручен несчастным случаем на их корабле: один из матросов был убит откатом пушки во время салюта.

Осенью Их Величества уехали в Наугейм, надеясь, что пребывание там восстановит здоровье Государыни. В день их отъезда из Петергофа погода стояла холодная и дождливая. Их Величества отъезжали из России в удрученном настроении, озабоченные серьезным состоянием здоровья Императрицы. Государь говорил: «Я готов сесть в тюрьму, лишь бы Ее Величество была здорова!» И слуги все разделяли беспокойство о ее здоровье; они стояли на

лестнице, и Их Величества, проходя, с ними прощались: все целовали Государя в плечо, а Государыне руку.

Я почти ежедневно получала письма из Фридберга, где жили Их Величества. Императрица писала мне каждый день, писали и дети, и Государь, описывая их жизнь и поездки. В одном из писем Государыня просила меня приехать в Гомбург, где лечился мой отец, чтобы быть от нее не вдалеке. Приехав, я позвонила по телефону в Фридберг, и на другой день Императрица прислала за мной мотор. Я нашла Императрицу похудевшей и утомленной лечением. Пришел Государь в штатском платье; с непривычки было как-то странно его так видеть, хотя в то же время очень забавляло. Императрица ездила с дочерьми в Наугейм, любовалась магазинами и иногда заходила в них что-нибудь купить.

Раз как-то приехал в Гомбург Государь с двумя старшими Великими Княжнами; дали знать, чтобы я их встретила. Мы более часу гуляли по городу. Государь не без удовольствия рассматривал выставленные в окна магазинов вещи. Вскоре, однако, нас обнаружила полиция; откуда-то взялся фотограф, и в скором времени снятая с нас фотография появилась затем на страницах журнала «Die Woche».

После оказии с фотографом Государь поспешил уехать; идя переулком по направлению к парку, мы столкнулись с почтовым экипажем, с которого неожиданно свалился на мостовую ящик. Государь сейчас же сошел с панели, поднял с дороги тяжелый ящик и подал почтовому служащему; тот едва его поблагодарил. На мое замечание, зачем он беспокоится, Государь ответил: «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения; такими должны быть и мои дети!»

Недолго спустя я вернулась с отцом в Россию, к сестре, у которой родился первый ребенок — Татьяна. Великая Княжна Татьяна Николаевна была крестной матерью. Императрица писала мне, прося вернуться, и я опять уехала за границу.

В Фридберге Их Величества вышли ко мне навстречу очень веселые, говоря, что у них для меня есть сюрприз. «Отгадайте!» — сказал Государь и затем добавил, что Великий Герцог приглашает меня в гости к себе в замок во Фридберге. Здесь встретила меня гофмейстерина, госпожа Гранси, и фрейлина Принцессы Батенбергской, мисс Кар — веселая и умная девушка; мне отвели комнату рядом с ней.

В этот вечер за обедом я сидела между Государем и Великим Герцогом; против меня сидел Принц Генрих Прусский, бывший в тот день в дурном расположении духа; тут же были — жена его, Принцесса Ирина, Принцесса Виктория Батенбергская и ее красивые дочери, Принцесса Алиса Греческая, совсем глухая, с мужем, Принцесса Луиза и два сына Принца Генриха. Императрица обедала у себя, так как чувствовала себя утомленной после своего лечения. Великий Герцог был очень талантливый музыкант, художник, человек либерального образа мысли и очень популярный в герцогстве. Жена его, Принцесса Элеонора — особа очень любезная, но молчаливая. Принц Генрих отличался очень вспыльчивым характером, на вид же был красивый высокий мужчина. За вторым обедом я сидела возле него, и он поведал мне о неприятностях, которые ему приходилось испытывать от брата, Императора Вильгельма, в вопросах, касавшихся флота, где служил Принц Генрих. Жена его, Принцесса Ирина, видимо, была очень добрая, скромная женщина, не эгоистичная, посвятившая свою жизнь мужу и детям.

Замок Фридберг, старинное здание, выстроен на горе, с видом на долину и на маленький городок Наугейм. Особенных увеселений, кроме экскурсий в моторе, не было. Императрицу я не много видала, но иногда вечером, после того как все расходились, Их Величества

приглашали меня к себе; как-то раз Государь угощал нас русским чаем; старик Рацих, его камердинер, готовил ему стакан чаю до сна. Государь шутя заметил, что обеды здесь очень легкие. Вообще же Государь очень умеренно кушал у себя дома и никогда не повторял блюд.

В ноябре Их Величества вернулись в Царское Село. Императрице лечение принесло пользу, и она чувствовала себя недурно; Их Величества были очень рады быть снова у себя дома. Несмотря на свой холодный домик, я тоже была рада быть в Царском Селе.

Большую часть дня Императрица проводила в своем кабинете, с бледно-лиловой мебелью и такого же цвета стенами (любимый цвет Государыни). Оставшись вдвоем с Государыней, я часто сидела на полу на ковре возле ее кушетки, читая или работая. Комната эта была полна цветов, кустов цветущей сирени или розанов, и в вазочках стояли цветы. Над кушеткой висела огромная картина «Сон Пресвятой Богородицы», освещенная по вечерам электрической лампой. Пресвятая Дева изображена на ней спящей, прислонившись к мраморной колонне; лилии и Ангелы стерегут ее. Подолгу я смотрела на этот прекрасный облик Богоматери, слушая чтение, рассказы или разделяя заботы и переживания наболевшей души моей Государыни и друга. Тишину этой комнаты нарушали лишь звуки рояля сверху, где Великие Княжны поочередно разучивали одну и ту же пьесу, или же когда кто-либо пройдет по коридору и задрожит хрустальная люстра. Иной раз распахнется дверь, и войдет с прогулки Государь. Я издали слышу его шаги, редкие и решительные. Лицо Государыни, часто озабоченное, сразу прояснялось.

Государь входил ясный, ласковый, с сияющими глазами. Зимой, стоя с палочкой и рукавицами, несколько минут разговаривал и, уходя, ее целовал. Около кушетки Государыни на низком столе стояли семейные фотографии, лежали письма и телеграммы, которые она складывала и так иногда и забывала, хотя близким отвечала сейчас же. Обыкновенно раз в месяц горничная Маделен спрашивала позволение убрать корреспонденцию. Тогда Императрица принималась разбирать свои письма и часто находила какое-нибудь письмо или телеграмму очень нужную.

У Государя были комнаты с другой стороны большого коридора: приемная, кабинет, уборная с бассейном, в котором он мог плавать, и бильярдная. В приемной были разложены разные книги. Кабинет Государя был довольно темный. Государь был очень аккуратен и педантичен. Каждая вещь на его письменном столе имела свое место, и не дай Бог что-нибудь сдвинуть. «Чтобы в темноте можно было бы найти», — говорил Государь. На письменном столе стоял отрывной календарь; на нем он помечал лиц, которым был назначен прием. Около уборной находилось помещение его камердинера и гардероб. В бильярдной, на маленькой галерее, сохранились альбомы фотографий всего царствования. Их Величества лично клеили свои альбомы, употребляя особый белый клей, выписанный из Англии. Государь любил, чтобы в альбоме не было бы ни одного пятнышка клея, и, помогая ему, надо было быть очень осторожной. Государыня и Великие Княжны имели свои фотографические аппараты.

Фотограф Ган везде сопровождал Их Величества, проявляя и печатая их снимки. У Императрицы были большие зеленые альбомы с собственной золотой монограммой в углу; лежали они все в ее кабинете.

Императрица писала чрезвычайно быстро, лежа на кушетке; она в полчаса могла ответить на несколько писем. Государь же писал очень медленно. Помню случай, как однажды в Крыму он ушел в 2 часа писать письмо матери и, вернувшись в 5 часов к чаю, сказал, что еще не окончил письма. Случилось это после его поездки в имение Фальцфейна «Аскания-Нова», и он в своем письме подробно описывал свои впечатления.

Жизнь при Дворе в те годы была очень тихая. Императрица утром занималась, не вставая с кровати, по предписанию врача. В час завтракали. Кроме Царской Семьи к нему приглашался дежурный флигель-адъютант и иногда какой-нибудь гость. После завтрака Государь принимал, а потом всегда до чая гулял. Я приходила к Ее Величеству в 2 с половиной часа. Если погода стояла хорошая, мы катались, а то занимались чтением и работали. Чай подавали ровно в 5 часов. В кабинет Ее Величества вносился круглый стол, и я как сейчас вижу перед прибором Государя тарелку с горячим калачом и длинной витой булкой, покрытые салфеткой, тарелку с маслом и серебряный подстаканник. Перед Ее Величеством ставились серебряная спиртовая машинка, серебряный чайник и несколько тарелочек с печеньем. В первую и последнюю неделю Великого поста масла не подавалось, а стояла тарелка с баранками и сайкой и две вазочки очищенных орехов. Садясь за чайный стол, Государь брал кусок калача с маслом и медленно выпивал стакан чая с молоком (сливок Государь никогда не пил). Затем, закулив папиросу, читал агентские телеграммы и газеты, а Императрица работала. Пока дети были маленькие, они в белых платьицах и цветных кушаках играли на ковре с игрушками, которые сохранялись в высокой корзине в кабинете Государыни; позже они приходили с работами; Императрица не позволяла им сидеть сложа руки.

Часто Государыня говаривала: «У всех бывает вкуснее чай, чем у нас, и более разнообразия».

При Высочайшем Дворе, если что заводилось, то так и оставалось с Екатерины Великой до нашего времени. Залы с натертым паркетом и золотой мебелью душились теми же духами, лакеи и скороходы, одетые в шитые золотом кафтаны и головные уборы с перьями, переносили воображение в прежние века, как и арапы в белых чалмах и красных рейтузах.

С 6 до 8 часов Государь принимал министров и приходил в 8 часов к семейному обеду. Гости бывали редко. В 9 часов, в открытом платье и бриллиантах, которые Государыня всегда надевала к обеду, она подымалась наверх помолиться с Наследником. Государь уходил писать свой дневник. Ложились Их Величества поздно.

Не знаю, какая судьба постигла дневники Государя и попали ли они в чужие руки.

Жизнь Их Величеств была безоблачным счастьем взаимной безграничной любви. За 12 лет я никогда не слыхала ни одного громкого слова между ними, ни разу не видала их даже сколько-нибудь раздраженными друг против друга. Государь называл Ее Величество «Sunny» (Солнышко). Приходя в ее комнату, он отдыхал, и Боже сохрани какие-нибудь разговоры о политике или о делах.

Заботу о воспитании детей и мелкие домашние дразги Императрица несла одна. «Ведь Государь должен заботиться о целом государстве», — говорила она мне. Заботы о здоровье Алексея Николаевича они несли вместе. Дети буквально боготворили родителей. Слава Богу, никто из них никогда не ревновал меня к матери. Одно время Великая Княжна Мария Николаевна, которая особенно была привязана к отцу, обижалась, когда он брал меня на прогулки как самую выносливую.

Одно из самых светлых воспоминаний — это уютные вечера, когда Государь бывал менее занят и приходил читать вслух Толстого, Тургенева, Чехова и т. д. Любимым его автором был Гоголь. Государь читал необычайно хорошо, внятно, не торопясь, и это очень любил. Последние годы его забавляли рассказы Аверченко и Теффи, отвлекая на несколько минут его воображение от злободневных забот. Сколько писалось и говорилось о характере Их Величеств, но правды еще никто не сказал. Государь и Государыня были, во-первых, люди, а людям свойственны ошибки, и в характере каждого человека есть хорошие и дурные стороны.

У Государыни был вспыльчивый характер, но гнев ее также быстро и проходил. Ненавидя ложь, она не выносила, когда даже горничная ей что-нибудь наврет; тогда она накричит, а потом высказывает сожаление: «Опять не могла удержаться!»

Государя рассердить было труднее, но когда он сердился, то как бы переставал замечать человека, и гнев его проходил гораздо медленнее. От природы он был добрейший человек. «l'Empereur est essen-tiellement bon», [9] — говорил мой отец. В нем не было ни честолюбия, ни тщеславия, а проявлялась огромная нравственная выдержка, которая могла казаться людям, не знающим его, равнодушием. С другой стороны, он был настолько скрытен, что многие считали его неискренним. Государь обладал тонким умом, не без хитрости, но в то же время он доверял всем. Неудивительно, что к нему подходили люди, мало достойные его доверия. Как мало пользовался он властью, и как легко было бы в самом начале остановить клевету на Государыню! Государь же говорил: «Никто из благородных людей не может верить или обращать внимание на подобную пошлость», — не сознавая, что так мало было благородных людей.

Государыня любила посещать больных — она была врожденной сестрой милосердия; она вносила с собой к больным бодрость и нравственную поддержку. Раненые солдаты и офицеры часто просили ее быть около них во время тяжелых перевязок и операций, говоря, что «не так страшно», когда Государыня рядом. Как она ходила за своей больной фрейлиной княжной Орбеляни: она до последней минуты жизни княжны оставалась при ней и сама закрыла ей глаза.

Желая привить знание и умение надлежащего ухода за младенцами, Императрица на личные средства основала в Царском Селе «Школу нянь». Во главе этого учреждения стоял детский врач доктор Раухфус. При школе находился приют для сирот на 50 кроватей. Там же она основала на свои средства инвалидный дом для 200 солдат-инвалидов японской войны. Инвалиды обучались здесь всякому ремеслу, для каковой цели при доме имелись огромные мастерские. Около инвалидного дома, построенного в Царскосельском парке, Императрица устроила целую колонию из маленьких домиков в одну комнату с кухней и с огородами для семейных инвалидов. Начальником инвалидного дома Императрица назначила графа Шуленбурга, полковника Уланского Ее Величества полка.

Кроме упомянутых мной учреждений, Государыня основала в Петербурге школу народного искусства, куда приезжали девушки со всей России обучаться кустарному делу. Возвращаясь в свои села, они становились местными инструкторшами. Девушки эти работали в школе с огромным увлечением. Императрица особенно интересовалась кустарным искусством; целыми часами она с начальницей школы выбирала образцы, рисунки, координировала цвета и т. д. Одна из этих девушек преподавала моим безногим инвалидам плетенье ковров. Школа была поставлена великолепно и имела огромную будущность.

Государь обожал армию и флот; в бытность Наследником он служил в Преображенском и Гусарском полках и всегда с восторгом вспоминал эти годы. Государь говорил, что солдат — это лучший сын России. Ее Величество и дети одинаково разделяли любовь к войскам, — «все они были душки», по их словам. Частые парады, смотры и полковые праздники были отдыхом и радостью Государя. Входя после в комнату Императрицы, он сиял от удовольствия и повторял всегда те же самые слова — «it was splendid», [10] никогда почти не замечая каких-либо недочетов.

Вспоминаю в детстве майские парады на Марсовом поле. Нас возили во дворец Принца Ольденбургского, из окон которого мы наблюдали парад. После парада, к радости нас, детей, Государь и вся Царская Фамилия проходили по комнатам дворца, шествуя к завтраку.

Бывая в собраниях и беседуя с офицерами, Государь говорил, что он чувствует себя их товарищем; одну зиму он часто обедал в полках, что вызывало критику, так как он поздно возвращался домой, за этими обедами офицерство в присутствии Государя не пило вина; дома же за обедом Государь обыкновенно выпивал 2 рюмки портвейна, который ставили перед его прибором. Любил Государь посещать и Красное Село.

Всем существом своим Государь любил Родину и никогда не задумался бы принести себя в жертву на благо России. Больно вспоминать о его доверии к каждому, в частности, и ко всему русскому народу. Слишком много забот было возложено на одного человека. Кроме того министры зачастую не только не исполняли его волю, но действовали именем Государя без его ведома и согласия, и о чем он узнавал только впоследствии. Все его назначения, о чем пишу позже, совершались под впечатлением минуты, — особенно же характерны назначения Протопопова и Маклакова (см. XI).

Несмотря на доброту Государя, Великие Князья его побаивались. В одно из первых моих дежурств я обедала у Их Величеств; кроме меня обедал дежурный флигель-адъютант, Великий Князь. После обеда Великий Князь стал жаловаться на какого-то генерала, что он в присутствии других сделал ему замечание. Государь побледнел, но молчал. От гневного вида Государя у Великого Князя невольно тряслись руки, пока он перебирал какую-то книгу. После Государь сказал мне: «Пусть он благодарит Бога, что Ее Величество и вы были в комнате, — иначе бы я не сдержался!»

Сколько бы раз в день я ни видела Государя, а во время путешествий и в Ливадии я видела его целыми днями, я никогда за двенадцать лет не могла настолько привыкнуть, чтобы не замечать его присутствие. В нем было что-то такое, что заставляло никогда не забывать, что он Царь, несмотря на его скромность и ласковое обращение. К сожалению, он не пользовался своей обаятельностью; люди, предубежденные против него, и те при первом взгляде Государя чувствовали присутствие Царя и бывали сразу им очарованы. Я помню прием в Ливадии земских деятелей Таврической губернии, когда два типа до прихода Государя подчеркивали свое неуважение к моменту, хихикали, перешептывались — и как они вытянулись, когда подошел к ним Государь, а уходя — расплакались. Говорили, что и рука злодеев не подымалась против него, когда они становились лицом к лицу перед Государем. Ее Величество часто мучилась: она знала также доброе сердце Государя, его любовь к Родине, но она знала о его доверии к людям и что часто он действует под впечатлением последнего разговора и совета. Те, кто с ним работали, не могли сказать, что у него слабая воля.

Государыня же обдумывала все свои действия и, скорее, с недоверием относилась к тем, кто к ним приближался; но чем проще и сердечнее был человек, тем скорее она менялась. Все, кто страдал, были близки ее сердцу, и она всю себя отдавала, чтобы в минуту скорби утешить человека. Я свидетельница сотни случаев, когда Императрица, забывая свои собственные недомогания, ездила к больным, умирающим или только что потерявшим дорогих близких; и тут Императрица становилась сама собой, нежной, ласковой матерью. И те, кто знали ее в минуты отчаяния и горя, никогда ее не забудут. Неподкупно честная и прямая, она не выносила лжи; ни лестью, ни обманом нельзя было ее подкупить. Но иногда Императрица была упряма, и тогда между нами происходили мелкие недоразумения.

Особым утешением ее была молитва; непоколебимая вера в Бога поддерживала ее и давала мир душевный, хотя она всегда была склонна к меланхолии.

Припоминаю нашу жизнь на «Штандарте», и насколько беспечно, если так можно выразиться, жили мы, настолько предавалась думам Государыня. Каждый раз по окончании плавания она плакала, говоря, что, может быть, это последний раз, когда мы все вместе на дорогой яхте.

Такое направление мыслей Государыни меня поражало, и я спрашивала ее, почему она так думает. «Никогда нельзя знать, что нас завтра ожидает», — говорила она и всегда ожидала худшего. Молитва, повторяю, была ее всегдашним утешением.

Припоминаю наши поездки зимой в церковь ко всенощной. Ездили мы в ее одиночных санях. Вначале ее появление в углу темного собора никем не замечалось; служил один священник, пел дьячок на клиросе. Императрица потихоньку прикладывалась к иконам, дрожащей рукой ставила свечку и на коленях молилась; но вот сторож узнал — бежит в алтарь, священник всполошился; бегут за певчими, освещают темный храм. Государыня в отчаянии и, оборачиваясь ко мне, шепчет, что хочет уходить. Что делать? Сани отосланы. Тем временем вбегают в церковь дети и разные тетки, которые стараются, толкая друг друга, пройти мимо Императрицы и поставить свечку у той иконы, у которой она встала, забывая, зачем пришли; ставя свечи, оборачиваются на нее, и она уже не в состоянии молиться, нервничает... Сколько церквей мы так объехали! Бывали счастливые дни, когда нас не узнавали, и Государыня молилась — отходя душой от земной суеты, стоя на коленях на каменном полу никем не замеченная в углу темного храма. Возвращаясь в свои царские покои, она приходила к обеду румяная от морозного воздуха, со слегка заплаканными глазами, спокойная, оставив свои заботы и печали в руках Вседержителя Бога.

Воспитанная при небольшом Дворе, Государыня знала цену деньгам и потому была бережлива. Платья и обувь переходили от старших Великих Княжон к младшим. Когда она выбирала подарки для родных или приближенных, она всегда сообразовалась с ценами. Государь же, выбирая, брал, что ему лично нравилось, не спрашивая о цене: о деньгах он понятия, конечно, никакого не имел, так как был сын и внук Царя, и все уплачивалось за него Министерством Двора.

Личные деньги Государя находились у моего отца, в канцелярии Его Величества. Отец мой принял 400 000 тысяч и увеличил капитал до 4 миллионов и ушел во время революции без одной копейки. Он и мы, его дети, гордились тем, что, прослужив более 20 лет, он не только не получал денежного вознаграждения, но и дачу летом нанимал на свои личные средства, тогда как всем своим подчиненным выхлопывал субсидии.

Тысячи неимущих получали помощь из этих личных средств Государя. Отец мой был очень опечален, когда Государь на докладе о состоянии сумм не обращал внимания на увеличение своего капитала. Отец постоянно получал записки от Государя «выдать такому-то» столько-то денег. Его расстраивало, когда приходилось выдавать прокутившимся офицерам или Великим Князьям большие суммы денег. Часто Великие Князья и Княгини писали отцу, прося выхлопотать награды каким-нибудь «protéges», и это чрезвычайно его волновало, так все эти награды требовались вне закона и отец соблюдал интересы Государя. Государь рассказывал, как однажды во время прогулки в Петергофе офицер охраны кинулся перед ним на колени, говоря, что застрелится, если Его Величество не поможет ему. Государь возмутился этим поступком, но все же заплатил его долги.

Когда Государь ездил к обеду в любимый Их Величествами Феодоровский собор в Царском Селе, Государю понадобились деньги, чтобы класть на тарелку. Его Величеству на этот предмет выдавали 4 золотых пятирублевых монеты в месяц, на четыре воскресенья. Помню, как Ее Величество и дети трунили над Государем, когда случился праздник и у Государя не оказалось золотого и ему пришлось занимать у Ее Величества. Как я уже писала, Ее Величество была очень бережлива. Я лично никаких денег от Государыни не получала и часто бывала в тяжелом положении.

Я получала от родителей 400 рублей в месяц. За дачу платили 2 000 рублей в год. Я должна

была платить жалование прислуге и одеваться так, как надо было при Дворе, так что у меня никогда не бывало денег. Свитские фрейлины. Ее Величества получали 4 тысячи в год на всем готовом. Помню, как брат Государыни, Великий Герцог Гессенский, говорил Государыне, чтобы мне дали официальное место при Дворе: тогда-де разговоры умолкнут и мне будет легче. Но Государыня отказала, говоря: «Неужели Императрица Всероссийская не имеет права иметь друга! Ведь у Императрицы-Матери был друг — княгиня А. А. Оболенская, и Императрица Мария Александровна дружила с госпожой Мальцевой».

Впоследствии министр Двора граф Фредерикс говорил много раз с Ее Величеством о моем тяжелом денежном положении. Сперва Императрица стала мне дарить платья и материи к праздникам; наконец, как-то позвав меня, она сказала, что хочет переговорить со мной о денежном вопросе. Она спросила, сколько я трачу в месяц, но точной цифры я сказать не могла; тогда, взяв карандаш и бумагу, она стала со мной высчитывать: жалованье, кухня, керосин и т. д. Вышло 270 рублей в месяц. Ее Величество написала графу Фредериксу, чтобы ей посылали из Министерства Двора эту сумму, которую и передавала мне каждое первое число. После революции во время обыска нашли эти конверты с надписью «270 рублей» и наличными 25 рублей. После всех толков как были поражены члены Следственной Комиссии. Искали во всех банках и ничего не нашли! Ее Величество последние годы платила 2 тысячи за мою дачу. Единственные деньги, которые я имела, были те 100000 рублей, которые я получила за увечье от железной дороги. [\[11\]](#) На них я соорудила лазарет. Все думали, что я богата, и каких слез стоило мне отказывать в просьбе о денежной помощи — никто не верил, что у меня ничего нет.

Глава 6

1912 год, закончившийся тяжелым заболеванием Алексея Николаевича, начался спокойно. Государь был занят делами государства, Императрица — детьми. Дети Их Величеств были горячие патриоты; они обожали Россию и все русское и плохо говорили на иностранных языках. Старшие говорили недурно лишь по-английски, с маленькими же Императрица говорила по-русски.

Старшим учителем, который заведовал их образованием, был некий П. Вас. Петров. Он назначал к ним других наставников. Кроме него, из иностранцев был Mr. Gibbs — англичанин и M. Gilliard. Первой их учительницей была госпожа Шнейдер, бывшая раньше учительницей Великой Княгини Елизаветы Феодоровны. Она же потом обучала русскому языку молодую Государыню и так осталась при Дворе. У «Трины», так ее называла Государыня, был не всегда приятный характер, но она была предана Царской Семье и последовала за ними в Сибирь. Из всех учителей дети Их Величеств больше всего любили M. Gilliard, который сперва учил Великих Княжон французскому языку, а после стал гувернером Алексея Николаевича; он жил во дворце и пользовался полным доверием Их Величеств. Mr. Gibbs'a тоже очень любили; оба последовали в Сибирь и оставались с Царской Семьей, пока большевики их не разлучили. Великие Княжны так и не научились хорошо говорить по-французски, о чем и пишет M. Gilliard. Трина давала детям уроки немецкого языка, но по-немецки они совсем не говорили. Их Величества всегда говорили между собой по-английски; семья Ее Величества и ее брат, Великий Герцог, говорили также по-английски. Дети между собой говорили только по-русски. Алексей Николаевич последние годы заговорил по-французски, так как всегда был вместе с M. Gilliard. Императрица часами проводила в классной, руководя занятиями своих детей. Она учила их рукоделию. Лучше других работала Великая Княжна Татьяна Николаевна. У нее были очень ловкие руки, она шила себе и старшим сестрам блузки, вышивала, вязала и великолепно причесывала свою мать, когда девушки отлучались. Физически они были воспитаны на английский манер: спали в больших детских на походных кроватях, почти без подушек и мало

покрытые. Холодная ванна по утрам и теплая каждый вечер. Великие Княжны выросли простые, ласковые, образованные девушки, ни в чем не выказывая своего положения в обращении с другими. Императрица не допускала мысли, что они уже взрослые в 1912 году. Великой Княжне Ольге Николаевне шел восемнадцатый год, Татьяне Николаевне — шестнадцатый. О старших Их Величествах выражались: «большие», а о других: «маленькие». «Большие» ездили иногда с отцом в театр, «маленькие» же ездили только в самых редких случаях. С любовью и душевной болью я вспоминаю Великих Княжон.

Из четырех Ольга и Мария Николаевны были похожи на семью отца и имели чисто русский тип. Ольга Николаевна была замечательно умна и способна, и учение для нее было шуткой, почему она иногда ленилась. Характерными чертами у нее была сильная воля и неподкупная честность и прямота, в чем она походила на свою мать. Эти прекрасные качества были у нее с детства, но ребенком Ольга Николаевна бывала нередко упряма, непослушна и очень вспыльчива; впоследствии она умела себя сдерживать. У нее были чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздернутый нос, походивший на Государя. Великие Княжны Мария и Анастасия Николаевны были тоже обе белокурые. У Марии Николаевны были замечательные лучистые синие глаза: она была бы красавицей, если бы не толстые губы. Девочкой она была очень полной. У нее был сравнительно мягкий характер, и она была добрая девушка. Все эти три Великие Княжны шалили и резвились как мальчишки, и манерами напоминали Романовых. Анастасия Николаевна всегда шалила, лазила, пряталась, смешила всех своими выходками, и усмотреть за ней бывало нелегко.

Вспоминаю обед на яхте «Штандарт» в Кронштадте с массой приглашенных. Тогда Великой Княжне Анастасии Николаевне было пять лет. Она незаметно забралась под стол и, как собачка, там ползала: осторожно ущипнет кого-нибудь за ногу, — важный адмирал в Высочайшем присутствии не смеет выразить неудовольствия. Государь, поняв, в чем дело, вытащил ее за волосы, и ей жестоко досталось. Татьяна Николаевна была в мать — худенькая и высокая. Она редко шалила и сдержанностью и манерами напоминала Государыню. Она всегда останавливала сестер, напоминала волю матери, отчего они постоянно в шутку называли ее «гувернанткой». Родители, казалось мне, любили ее больше других. Государь говорил мне, что Татьяна Николаевна напоминает ему Государыню. Волосы у нее были темные, глаза темно-серые. Мне также казалось, что Татьяна Николаевна была очень популярна: все ее любили — и домашние, и учителя, и в лазаретах. Она была самая общительная и хотела иметь подруг. Но Императрица боялась дурного влияния свитских барышень и даже не любила, когда ее дети виделись с двоюродной сестрой Ириной Александровной. Впрочем, они не страдали от скуки; когда они выросли, они постоянно увлекались и мечтали то о том, то о другом. Летом они играли в теннис, гуляли, гребли с офицерами яхты или охраны. Их детские наивные увлечения забавляли родителей, которые постоянно подтрунивали над ними. Великая Княгиня Ольга Александровна устраивала для них собрания молодежи. Иногда и у меня они пили чай со своими друзьями. Портнихой у них была Mme Brizaak; одевались они просто, но со вкусом. Летом почти всегда в белом. Золотых вещей у них было немного. Двенадцати лет они получали первый золотой браслет, который никогда не снимали.

Жизнь Алексея Николаевича была одна из самых трагичных в истории царских детей. Он был прелестный, ласковый мальчик, самый красивый из всех детей. Родители и его няня, Мария Вишнякова, в раннем детстве его очень баловали, исполняя его малейшие капризы. И это понятно, так как видеть постоянные страдания маленького было очень тяжело: ударится ли он головкой или рукой о мебель, сейчас же появлялась огромная синяя опухоль, указывающая на внутреннее кровоизлияние, причинявшее ему тяжкие страдания. Пяти-шести лет он перешел в мужские руки, к дядьке Деревенке. Этот его не так баловал, хотя был очень предан и обладал большим терпением. Слышу голосок Алексея Николаевича: «Подыми мне руку», или: «Поверни

ногу», или: «Согрей мне ручки», и часто Деревенько успокаивал его. Когда он стал подрастать, родители объяснили Алексею Николаевичу про его болезнь, прося быть осторожным. Но Наследник был очень живой, любил игры и забавы мальчиков, и часто бывало невозможно его удержать. «Подари мне велосипед», — просил он мать. «Алексей, ты знаешь, что тебе нельзя!» — «Я хочу учиться играть в теннис, как сестры!» — «Ты знаешь, что ты не смеешь играть». Иногда Алексей Николаевич плакал, повторяя: «Зачем я не такой, как все мальчики?» Частые страдания и невольное самопожертвование развили в характере Алексея Николаевича, жалость и сострадание ко всем, кто был болен, а также удивительное уважение к матери и всем старшим.

Наследник принимал горячее участие, если и у прислуги стряется какое горе. Его Величество был тоже сострадателен, но деятельно это не выражал, тогда как Алексей Николаевич не успокаивался, пока сразу не поможет. Помню случай с поваренком, которому почему-то, отказали от должности. Алексей Николаевич как-то узнал об этом и приставал весь день к родителям, пока они не приказали поваренка снова взять обратно.

Он защищал и горой стоял за всех своих. Помню, как Их Величества не сразу решили сказать ему об убийстве Распутина; когда же потихоньку ему сообщили, Алексей Николаевич расплакался, уткнув голову в руки. Затем, повернувшись к отцу, он воскликнул гневно: «Неужели, папа, ты их хорошенько не накажешь? Ведь убийцу Столыпина повесили!» Государь ничего не ответил ему. Я присутствовала при этой сцене. Не надо забывать, что не раз приход Распутина облегчал страдания во время тяжких заболеваний Алексея Николаевича. Распутин же уверил Их Величества, что с 12-ти лет Алексей Николаевич начнет поправляться и впоследствии совсем окрепнет. И в самом деле, после 10-ти лет Алексей Николаевич все реже и реже болел и в 1917 году выглядел крепким юношей.

Алексей Николаевич отличался большими способностями, учился отлично, как и Ольга Николаевна; любимой его игрой были солдатики, которых у него было огромное количество. Он часами расставлял их на большом столе, устраивая войны, маневры и парады. Деревенько, или «Дина», как называл его Наследник, принимал участие во всех этих играх, равно как его сыновья, 2 маленьких мальчика, и сын доктора Деревенко, Коля. Последние годы приезжали маленькие кадеты играть с Наследником. Всем им объясняли осторожно обращаться с Алексеем Николаевичем. Императрица боялась за него и редко приглашала к нему его двоюродных братьев, резвых и грубых мальчиков. Конечно, родные за это сердились.

Вся Царская Семья любила животных. У Государя долго была собака Иман. После того как Иман околел, Государь не брал собак к себе в комнату, а только гулял с 11 английскими колли, которые помещались в маленьком домике в парке. У Государыни был маленький английский терьер Эра; я ее не любила, так как она имела обыкновение бросаться неожиданно из-под кресла или кушетки. Когда Эра околела, Императрица плакала по ней. У Алексея Николаевича был спаниель Рой и большой кот, подаренный генералом Воейковым. Кот этот спал на его кровати. У Татьяны Николаевны был маленький буль Ортипо и Джими — кинг-чарлс, которого я ей подарила и которого нашли убитым в екатеринбургском доме, где были заключены Их Величества.

Далекими кажутся мне года, когда подрастали Великие Княжны и мы, близкие, думали о их возможных свадьбах. За границу уезжать им не хотелось, дома же женихов не было. С детства мысль о браке волновала Великих Княжон, так как для них он был связан с отъездом за границу. Особенно же Великая Княгиня Ольга Николаевна и слышать не хотела об отъезде с Родины. Вопрос этот был больным местом для нее, и она почти враждебно относилась к иностранным «женихам». Одно время Их Величества думали о Великом Князе Дмитрие Павловиче, за которого хотели выдать Татьяну Николаевну; но впоследствии Великий Князь

совсем отошел от Царской Семьи, так как очень кутил.

Приезжал румынский наследный Принц со своей красивой матерью, королевой Марией, и Их Величества в 1914 году отдавали визит — ходили из Крыма на яхте «Штандарт» в Констанцу. Ольгу Николаевну дразнили приближенные возможностью брака, но она и слышать не хотела. Во второй свой приезд в Россию в 1916 году румынский Принц просил руки Великой Княжны Марии Николаевны, но Ее Величество нашла, что Великая Княжна еще ребенок и не смеет думать о браке.

Помню, как раз в Петергофе я застала Государыню в слезах. Оказалось, что приехала Великая Княгиня Мария Павловна просить руки Ольги Николаевны для Великого Князя Бориса Владимировича. Императрица была в ужасе при одной мысли отдать ему свою дочь. К сожалению, Великая Княгиня Мария Павловна не простила Их Величествам их отказ и была в числе тех заговорщиков, которые свергли с престола Их Величества.

Летом 1912 года Их Величества ездили на два месяца в шхеры. Этим летом приезжала туда Императрица Мария Феодоровна. За 7 лет пребывания у Их Величеств я никогда с Государыней-Матерью не встречалась. Она очень редко бывала у Их Величеств. К Императрице Марии Феодоровне я питала должное уважение, и мне потому трудно писать о ней. Казалось, что Государя она любила меньше других детей; думаю, что Государыню она совсем не любила. С детьми она была ласкова. Говорили, что Государыня Мария Феодоровна жалела, что долго не было Наследника; впоследствии же сожалела, что больной Алексей Николаевич занял место ее здорового сына, Великого Князя Михаила Александровича.

Я лично думаю, что в отношениях двух Государынь виноваты были окружающие. Между Дворами создан непонятный антагонизм; для лиц Двора Императрицы-Матери, что бы Их Величества ни делали, все было плохо. Равным образом Императрица-Мать никогда не хотела уступить первого места Государыне Александре Феодоровне как царствующей; на выходах, приемах и балах она всегда была первая, а Императрица Александра Феодоровна позади. Императрица-Мать любила общество, которое критиковало молодую Государыню. После целого ряда недоразумений отношения их, к сожалению, сделались только официальными, и хотя Их Величества называли Императрицу-Мать «Mother dear», но между ними ничего не было родственного. Но несколько дней, которые Императрица-Мать провела в шхерах, все было очень хорошо. Во время игры в теннис на берегу Государь заметил нам, чтобы мы играли как можно лучше — «так как вот идет Мама»... Государыня шла из леса быстрой походкой с несколькими лицами свиты, в белом платье. Издали она казалась молоденькой барышней. Сев на скамейку, она стала следить за нашей игрой. Мы завтракали на «Полярной Звезде»; Императрица обедала у нас на «Штандарте». 22 июля, в день именин Государыни и Великой Княжны Марии Николаевны, мы провели полдня на «Полярной звезде». Помню, после завтрака я снимала Государя с Императрицей-Матерью: она положила руку на его плечо, и ее 2 японские собачки лежали в ногах. Потом мы танцевали на палубе, и Государыня Мария Феодоровна нас всех снимала. Вечером Великие Княжны Мария и Анастасия Николаевны представляли маленькую французскую пьесу, и Государыня-Мать от души смеялась. Наблюдая за обедом, многие из нас заметили, как при взгляде на Императрицу Александру Феодоровну у Императрицы-Матери совсем менялось выражение лица; и становилось грустно, что такая бездна недоразумений разделяет Государынь. Помню, как вечером, проходя мимо двери Алексея Николаевича, я увидела Императрицу-Мать, сидящую на его кровати: она бережно чистила ему яблоко, и они весело болтали.

Кончался день на «Штандарте». Как ясно я помню светлые июньские вечера, когда каждый звук доносился с миноносцев, стоящих в охране; запах воды и папироски Государя. Сидим мы на полупортиках и беседуем. Длинные рассказы о его юности Или впечатления прошедшего

дня, — и как мирно было в окружающих лесах, и на озерах, и на далеком небе, где зажигались редкие звездочки; так же мирно и ясно было на нашей душе. Проснемся, и опять будет день, наполненный радостными переживаниями; все будем вместе, та же обстановка и люди, которых любили Их Величества. «Я чувствую, что здесь мы одна семья», — говорил Государь. Мне казалось, что и офицеры, соприкасаясь с Их Величествами и видя их семейную жизнь, проникались лучшими чувствами и настроением.

Глава 7

Осенью 1912 года Царская Семья уехала на охоту в Скерневицы (имение Их Величеств в Польше). В то время в лесах, окружающих Скерневицы, еще водились зубры, впоследствии, во время войны, уничтоженные немцами, вырубившими и леса. До войны Скерневицы были одним из любимейших местопребываний Государя.

Я же вернулась на свою дачку в Царское Село, но ненадолго. Получила телеграмму от Государыни, в которой сообщалось, что Алексей Николаевич, играя у пруда, неудачно прыгнул в лодку, что вызвало внутреннее кровоизлияние. В данную минуту он лежал и был серьезно болен.

Как только ему стало получше, Их Величества переехали в Спалу, куда вызвали и меня. Проехав Варшаву, я вышла на небольшой станции, села в присланный за мною тарантас и после часовой езды по песчаным дорогам приехала к месту назначения. Остановилась в небольшом деревянном доме, где помещалась свита. По обеим сторонам длинного коридора шли жилые комнаты, из коих две были предоставлены мне и моей девушке. Великие Княжны меня ожидали и помогли разложиться. Они сказали, что Государыня меня ждет, и я поспешила к ней. Застала я ее сильно удрученной. Наследнику было лучше, но он еще был очень слаб и бледен. Деревянный дворец в Спале был мрачный и скучный. Внизу, в столовой, постоянно горело электричество. Наверху, направо, были комнаты Их Величеств, гостиная со светлой ситцевой мебелью, единственная уютная комната, где мы проводили вечера, темная спальня, уборная и кабинет Государя; налево от лестницы — бильярдная и детская. Пока здоровье Алексея Николаевича было удовлетворительно, Государь со свитой или один охотился на оленей. Уезжали они рано утром в высоких охотничьих шарабанах, возвращаясь только к обеду. Мы же занимались с детьми или читали с Государыней. После обеда, при свете факелов, Государь со свитой выходил на площадку перед дворцом, где были разложены убитые олени; при осмотре охотники играли на трубах. Картина была красивая, но я не ходила, жалея убитых зверей. На лестнице и в коридорах во дворце повсюду были развешены олени рога с надписями, кто именно убил того или другого оленя. Дворец был окружен густым лесом, через который протекала быстрая речка Пилица; через нее был перекинут деревянный мост. Утром я часто гуляла по берегу реки; дорогу эту Их Величества называли дорогой к грибу, так как в конце дороги стояла скамейка с навесом вроде гриба. Государь любил ходить далеко в лес. Помню, как он раздражался, когда замечал, что полиция следит за ним.

Первое время Алексей Николаевич был на ногах, хотя жаловался на боли то в животе, то в спине. Он очень изменился, но доктор не мог точно определить, где произошло кровоизлияние. Как-то раз Государыня взяла его с собой кататься, я тоже была с ними. Во время прогулки Алексей Николаевич все время жаловался на внутреннюю боль, каждый толчок его мучил, лицо вытягивалось и бледнело. Государыня, напуганная, велела повернуть домой. Когда мы подъехали к дворцу, его уже вынесли почти без чувств. Последующие три недели он находился между жизнью и смертью, день и ночь кричал от боли; окружающим было тяжело слышать его постоянные стоны, так что иногда, проходя его комнату, мы затыкали уши. Государыня все это время не раздевалась, не ложилась и почти не отдыхала, часами просиживая у кровати своего маленького больного сына, который лежал на бочку с поднятой ножкой, часто без сознания.

Ногу эту Алексей Николаевич потом долго не мог выпрямить. Крошечное, восковое лицо с заостренным носиком было похоже на покойника, взгляд огромных глаз был бессмысленный и грустный.

Как-то раз, войдя в комнату сына и услышав его отчаянные стоны. Государь выбежал из комнаты и, запершись у себя в кабинете, расплакался. Однажды Алексей Николаевич сказал своим родителям:

«Когда я умру, поставьте мне в парке маленький каменный памятник».

Из Петербурга выписали доктора Раухфуса, профессора Феодорова с ассистентом доктором Деревенько. На консультации они объявили состояние здоровья Наследника безнадежным. Министр Двора уговорил Их Величества выпускать в газетах бюллетени о состоянии здоровья Наследника. Доктора очень опасались, что вследствие кровоизлияния начнет образовываться внутренний нарыв. Раз, сидя за завтраком, Государь получил записку от Государыни. Побледнев, он знаком показал врачам встать из-за стола: Императрица писала, что страдания маленького Алексея Николаевича настолько сильны, что можно ожидать самого худшего.

Как-то вечером после обеда, когда мы поднялись наверх в гостиную Государыни, неожиданно в дверях появилась Принцесса Ирина Прусская, приехавшая помочь и утешить сестру. Бледная и взволнованная, она просила нас разойтись, так как состояние Алексея Николаевича было безнадежно. Я вернулась обратно во дворец в 11 часов вечера; вошли Их Величества в полном отчаянии. Государыня повторяла, что ей не верится, чтобы Господь их оставил. Они приказали мне послать телеграмму Распутину. Он ответил: «Болезнь не опасна, как это кажется. Пусть доктора его не мучают». Вскоре Наследник стал поправляться. В Спале не было церкви, службы происходили в саду, в большой палатке, где ставили походный алтарь. Служил вновь избранный духовник Их Величеств отец Александр Васильев. После слов: «Со страхом Божиим и верою приступите» он пошел со Святыми Дарами во дворец к Наследнику; за ним последовали Их Величества и кто хотел из свиты. Служба о. Александра очень нравилась Их Величествам. К сожалению, во время революции о. Васильев побоялся служить во дворце, когда его вызывали Их Величества. Несчастный все же был расстрелян большевиками.

Выздоровление Алексея Николаевича шло медленно. Няня его, Мария Вишнякова, сильно переутомилась. Сама Государыня так устала, что еле двигалась. Часто за выздоравливающим мальчиком ухаживали его сестры; им помогал г. Жильяр, который часами читал ему и его забавлял. Мало-помалу жизнь вошла в свою колею. Начались охота и теннис. Уланский Его Величества полк во главе со своим командиром генералом Манергеймом нес охранную службу и стоял в одной из ближних деревень.

Осень была холодная и сырая, солнце редко проглядывало.

Как-то раз Их Величества позвали меня к себе и сообщили о только что полученном ими известии, что женился Великий Князь Михаил Александрович. «Он обещал мне этого не делать», — сказал Государь, который был сильно расстроен.

Второе известие, которое страшно огорчило Государя, была телеграмма о том, что адмирал Чагин покончил жизнь самоубийством. Государь не извинял самоубийства, называя такой шаг «бегством с поля битвы».

«Как мог он так меня огорчить во время болезни Наследника», — говорил Государь. Адмирал Чагин застрелился из-за какой-то гимназистки. Бедный Государь, каждое разочарование тяжело ложилось на его душу; он доверял всем и ненавидел, когда ему говорили дурное о

людях; поэтому то, что Их Величества перенесли позже, было в десять раз тяжелее для них, чем для людей подозрительных и недоверчивых.

Великие Княжны до отъезда из Спалы ездили верхом.

Однажды я чуть не утонула. Государь повез меня на лодке по Пилице, мы наткнулись на песчаный островок и чуть не перевернулись.

21 октября, в день восшествия на престол, Их Величества и кто хотел из приближенных причащались Святых Тайн.

Иногда Великие Княжны играли со мной в 4 руки любимые Государем 5-ю и 6-ю симфонии Чайковского. Помню, как тихонько за нами открывалась дверь и, осторожно ступая по мягкому ковру, входил Государь; мы замечали его присутствие по запаху папиросы. Стоя за нами, он слушал несколько минут и потом так же тихо уходил к себе.

Наконец врачи решили перевезти Цесаревича в Царское Село. Много рассуждала свита: можно ли по этикету ехать мне в царском поезде. По желанию Их Величеств я поехала с ними. Дивный царский поезд, в котором теперь катаются Троцкий и Ленин, скорее был похож на уютный дом, чем на поезд. В помещении Государя, обитом зеленой кожей, помещался большой письменный стол. Их Величества вешали иконы над диванами, где спали, что придавало чувство уюта. Вагон Алексея Николаевича был также обставлен всевозможными удобствами; фрейлины и я помещались в том же вагоне. Как только отъехали от Спалы, Их Величества, посетив Алексея Николаевича, постучались ко мне и просидели целый час со мной. Государь курил; их забавляло, что мы едем вместе.

В последнем вагоне помещалась столовая, перед ней маленькая гостиная, где подавали закуску и стояло пианино. За длинным обеденным столом Государь сидел между двумя дочерьми, напротив его министр Двора и мы, дамы. Государыне обед подавали в ее помещении или у Алексея Николаевича. Он лежал слабенький, но веселый, играя и болтая с окружающими.

Закончу эту главу 300-летним юбилеем Дома Романовых в 1913 году. В феврале этого года Их Величества переехали из Царского Села в столицу, в Зимний Дворец. В день их переезда они с вокзала поехали в часовню Спасителя. Заранее никто об этом не знал. Шел тихий молебен, но конечно, все всполошились, и Их Величества возвращались уже через собравшуюся толпу народа.

Юбилейные торжества начались с молебна в Казанском соборе, который в этот день был переполнен придворными и приглашенными. Во время коленопреклонной молитвы я издали видела Государя и Наследника на коленях, все время смотревших вверх; после они рассказывали, что наблюдали за двумя голубями, которые кружились в куполе. Вслед за этим были выходы и приемы депутаций в Зимнем Дворце. Все дамы по положению были в русских нарядах. Точно так же были одеты Государыня и Великие Княжны. Несмотря на усталость, Государыня была поразительно красива в голубом бархатном русском платье, с высоким кокошником и фатой, осыпанной жемчугами и бриллиантами; на ней была голубая Андреевская лента, а у Великих Княжон красные с Екатерининской бриллиантовой звездой. Залы дворца были переполнены. Царской Семье пришлось стоять часами, пока им приносили поздравления. В конце приема Государыня так утомилась, что не могла даже улыбаться. Бедного Алексея Николаевича принесли на руках. Был спектакль в Мариинском театре — шла «Жизнь за Царя», с обычным энтузиазмом, проявляемым в подобных случаях. Все же я чувствовала, что нет настоящего воодушевления и настоящей преданности. Какая-то туча

висела над петербургскими торжествами. Государыня, по-видимому, разделяла мои впечатления. Она не была счастлива: все в Зимнем Дворце напоминало ей о прошлом, когда, молодая и здоровая, она с Государем весело отправлялась в театр и они, по возвращении, ужинали вместе у камина в его кабинете. «Теперь я руина», — говорила она грустно.

В Зимнем Дворце заболела тифом Великая Княжна Татьяна Николаевна, и нельзя было сразу возвращаться в Царское Село. Когда оказалось возможным ее перевезти, Их Величества переехали в Царское. Татьяне Николаевне постригли ее чудные волосы.

Весной они уехали на Волгу, в Кострому, Ярославль. и т. д. Путешествие это в нравственном смысле утешило и освежило Их Величества. Прибытие на Волгу сопровождалось необычайным подъемом духа всего населения. Народ входил в воду по пояс, желая приблизиться к царскому пароходу. Во всех губерниях толпы народа приветствовали Их Величества пением Народного Гимна и всевозможными проявлениями любви и преданности. Мой отец и вся наша семья были приглашены дворянством в город Переяславль Владимирской губернии, так как род наш оттуда происходит. Государыни не было, — она лежала в поезде больная от переутомления, да кроме того заболела ангиной.

Московские торжества были очень красивы; погода стояла чудная. Государь вошел в Кремль пешком, а перед ним шло духовенство с кадилами, как это было при первом царе, Михаиле Романове. Государыня с Наследником ехали в открытом экипаже, приветствуемые народом. Гудели все московские колокола. Восторженные приветствия во все пребывание Их Величеств в Москве повторялись каждый день, и казалось, ничто — ни время, ни обстоятельства — не изменит эти чувства любви и преданности.

Глава 8

Мирно и спокойно для всех начался 1914 год, ставший роковым для нашей бедной Родины и чуть ли не для всего мира. Но лично у меня было много тяжелых переживаний; Государыня без всякого основания начала меня сильно ревновать к Государю, слава Богу, это продолжалось всего несколько месяцев и потом бесследно исчезло.

Всем известно, что между близкими друзьями скорее, чем между посторонними, случайные недоразумения способны вызвать временное охлаждение прежних отношений, горячие вспышки и взаимные упреки. Там, где эти дружественные отношения глубоко искренни и покоятся на твердом основании, подобные недоразумения и размолвки служат лишь пробным камнем дружбы и обычно ведут к дальнейшему упрочению и углублению дружественных связей и взаимному пониманию.

Подобному испытанию подверглась и моя любовь и преданность моей Государыне в 1914 году. Государыня без всякого основания начала меня лично ревновать к Государю. Считая себя оскорбленною в своих самых дорогих чувствах, Императрица, видимо, не могла удержаться от того, чтобы не излить свою горечь в письмах к близким, рисуя в этих письмах мою личность далеко не в привлекательных красках.

Но, слава Богу, наша дружба, моя безграничная любовь и преданность Их Величествам победоносно выдержали пробу и, как всякий может усмотреть из позднейших писем Императрицы в том же издании, а еще более из прилагаемых к этой книге, «недоразумение продолжалось недолго и потом бесследно исчезло» и в дальнейшем глубоко дружественные отношения между мною и Государыней возросли до степени полной несокрушимости, так что уже никакие последующие испытания, ни даже самая смерть — не в силах разлучить нас друг с другом.

Почти месяц прошел после убийства в Сараеве, но никто не думал, что этот зверский акт повлечет за собой всемирную войну и падение трех великих европейских держав. Перед убийством австрийского наследника и его жены Государь ездил в Кронштадт встречать французскую эскадру, а до этого приезжал в Петергоф король Саксонский. Из Кронштадта Государь отбыл на маневры в Красное Село. Вернувшись, Их Величества торопились уйти на несколько дней в шхеры на «Штандарте». Помню, как свита находила излишним ехать на короткий срок (Государь должен был вернуться на смотр) и считали за лучшее уехать после смотра на долгое время. Их Величества, хотя и торопились уехать, но были уверены, что после смотра они будут в состоянии продолжить пребывание на яхте. 6 июля мы отбыли на несколько дней в шхеры; сопровождали нас только несколько человек. Пришли на любимый рейд Штандарт, погуляли по островам, насладились голубыми озерами. Императрица точно предчувствовала тяжелое время, была очень грустна и все время повторяла, что она уверена, что мы последний раз все вместе на яхте. Так как мы должны были отлучиться всего на несколько дней, то даже оставили весь наш багаж на «Штандарте».

Австрия стала держать себя вызывающе после сараевского несчастья. Государь часами совещался с Великим Князем Николаем Николаевичем, министром Сазоновым и другими государственными людьми, убеждавшими его поддержать Сербию.

Как-то раз я отправилась завтракать к друзьям в Красное Село. Государь с утра также уехал в Красное на парад; вечером он должен был быть там же в театре. Во время завтрака влетел граф Ностиц, служивший в Главном штабе, со словами: «Знаете ли, что Государь на смотре произвел всех юнкеров в офицеры и приказал полкам возвращаться в столицу на зимние квартиры!»

По этому поводу среди военных агентов поднялся страшный переполох: все посылали телеграммы своим правительствам. «У нас война!» — говорили присутствующие. Вернувшись к Государыне, я рассказала о происшедшем. Известие это ее очень расстроило, и она не могла понять, под чьим давлением Государь решился на этот шаг. Государя я так и не дождалась, так как он вернулся очень поздно.

Дни до объявления войны были ужасны; видела и чувствовала, как Государя склоняют решиться на опасный шаг; война казалась неизбежной. Императрица всеми силами старалась удержать его, но все ее разумные убеждения и просьбы ни к чему не привели. Играла я ежедневно с детьми в теннис; возвращаясь, заставала Государя бледного и расстроенного. Из разговоров с ним я видела, что и он считает войну неизбежной, но он утешал себя тем, что война укрепляет национальные и монархические чувства, что Россия после войны станет еще более могучей, что это не первая война и т. д. В это время пришла телеграмма от Распутина из Сибири, где он лежал раненый, умоляя Государя: «Не затевать войну, что с войной будет конец России и им самим и что положат до последнего человека». Государя телеграмма раздражила, и он не обратил на нее внимания. Эти дни я часто заставала Государя у телефона (который он ненавидел и никогда не употреблял сам): он вызывал министров и приближенных, говоря по телефону внизу из дежурной комнаты камердинера.

Когда была объявлена общая мобилизация, Императрица ничего не знала. Я пришла к ней и рассказывала, какие раздирающие сцены я видела на улицах при проводах женами своих мужей. Императрица мне возразила, что мобилизация касается только губерний, прилегающих к Австрии. Когда я убеждала ее в противном, она раздраженно встала и пошла в кабинет Государя. Кабинет Государя отделялся от комнаты Императрицы только маленькой столовой. Я слышала, как они около получаса громко разговаривали; потом она пришла обратно, бросилась на кушетку и, обливаясь слезами, произнесла: «Все кончено, у нас война, и я ничего об этом не знала!» Государь пришел к чаю мрачный и расстроенный, и этот чай прошел в

тревожном молчании.

Последующие дни я часто заставляла Императрицу в слезах. Государь же был лихорадочно занят. Их Величества получили телеграмму от императора Вильгельма, где он лично просил Государя, своего родственника и друга, остановить мобилизацию, предлагая встретиться для переговоров, чтобы мирным путем окончить дело. История после разберется, было ли это искреннее предложение или нет. Государь, когда принес эту телеграмму, говорил, что он не имеет права остановить мобилизацию, что германские войска могут вторгнуться в Россию, что, по его сведениям, они уже мобилизованы, и «как я тогда отвечу моему народу?» Императрица же до последней минуты надеялась, что можно предотвратить войну. 17 июля вечером, когда я пришла к Государыне, она мне сказала, что Германия объявила войну России; она очень плакала, предвидя неминуемые бедствия. Государь же был в хорошем расположении духа и говорил, что чувствует успокоение перед совершившимся фактом, что «пока этот вопрос висел в воздухе, было хуже».

Посещение Их Величествами Петрограда в день объявления войны, казалось, совершенно подтвердило предсказания Царя, что война пробудит национальный дух в народе. Что делалось в этот день на улицах, уму непостижимо! Везде тысячные толпы народа, с национальными флагами, с портретами Государя. Пение гимна и «Спаси, Господи, люди Твоя». Никто из обывателей столицы, я думаю, в тот день не оставался дома. Их Величества прибыли морем в Петербург. Они шли пешком от катера до Дворца, окруженные народом, их приветствующим. Мы еле пробрались до Дворца; по лестницам, в залах, везде толпы офицерства и разные лица, имеющие проезд ко Двору. Нельзя себе вообразить, что делалось во время выхода Их Величеств. В Николаевском зале был отслужен молебен, после которого Государь обратился ко всем присутствующим с речью. В голосе его были вначале дрожащие нотки волнения, но потом он стал говорить уверенно и с воодушевлением. Окончил речь своими словами, что «не окончит войну, пока не изгонит последнего врага из пределов русской земли». Ответом на эти слова было оглушительное «ура», стоны восторга и любви; военные окружили толпой Государя, махали фуражками, кричали так, что казалось, стены и окна дрожат. Я почему-то плакала, стоя у двери залы. Их Величества медленно продвигались обратно и толпа, невзирая на придворный этикет, кинулась к ним; дамы и военные целовали их руки, плечи, платье Государыни. Она взглянула на меня, проходя мимо, и я видела, что у нее глаза полны слез. Когда они вошли в Малахитовую гостиную, Великие Князья прибежали звать Государя показаться на балконе. Все море народа на Дворцовой площади, увидав его, как один человек опустилось перед ним на колени. Склонились тысячи знамен, пели гимн, молитвы... все плакали... Таким образом, среди чувства безграничной любви и преданности Престолу — началась война.

Их Величества вернулись в Петергоф в тот же день, и вскоре Государь уехал провожать на фронт разные части войск. Государыня, забыв свои недомогания, занялась лихорадочно устройством госпиталей, формированием отрядов, санитарных поездов и открытием складов Ее имени в Петрограде, Москве, Харькове и Одессе. Я же проводила на войну дорогого единственного брата...

Переехали в Царское Село, где Государыня организовала особый эвакуационный пункт, в который входило около 85 лазаретов в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Луге, Саблине и других местах. Обслуживали эти лазареты около 10 санитарных поездов Ее имени и имени детей. Чтобы лучше руководить деятельностью лазаретов, Императрица решила лично пройти курс сестер милосердия военного времени с двумя старшими Великими Княжнами и со мной. Преподавательницей Государыня выбрала княжну Гедройц, женщину-хирурга, заведовавшую Дворцовым госпиталем. Два часа в день занимались с ней и для практики поступили рядовыми хирургическими сестрами в первый оборудованный лазарет при Дворцовом госпитале, дабы не

думали, что занятие это было игрой, и тотчас приступили к работе — перевязкам часто тяжелораненых; Государыня и Великие Княжны присутствовали при всех операциях. Стоя за хирургом, Государыня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины военного госпиталя во время войны. Объясняю себе тем, что она была врожденной сестрой милосердия. Великих Княжон оберегали от самых тяжелых перевязок, хотя Татьяна Николаевна отличалась удивительной ловкостью и умением.

Выдержав экзамен, Императрица и дети, наряду с другими сестрами, окончившими курс, получили красные кресты и аттестаты на звание сестер милосердия военного времени. По этому случаю был молебен в церкви общины, после которого Императрица и Великие Княжны подошли во главе сестер получить из рук начальницы красный крест и аттестат. Императрица была очень довольна; возвращаясь обратно в моторе, она радовалась и весело разговаривала.

Началось страшно трудное и утомительное время. С раннего утра до поздней ночи не прекращалась лихорадочная деятельность. Вставали рано, ложились иногда в два часа ночи. В 9 часов утра Императрица каждый день заезжала в церковь Знамения, к чудотворному образу, и уже оттуда мы ехали на работу в лазарет. Наскоро позавтракав, весь день Императрица посвящала осмотру других госпиталей.

Когда прибывали санитарные поезда, Императрица и Великие Княжны делали перевязки, ни на минуту не присаживаясь, с 9 часов иногда до 3 часов дня. Во время тяжелых операций раненые умоляли Государыню быть около. Вижу ее, как она утешает и ободряет их, кладет руку на голову и подчас молится с ними. Императрицу боготворили, ожидали ее прихода, старались дотронуться до ее серого сестринского платья; умирающие просили ее посидеть возле кровати, поддержать им руку или голову, и она, невзирая на усталость, успокаивала их целыми часами.

Кроме деятельности по лазаретам, Государыня начала объезжать некоторые города России с целью посещения местных лазаретов. В костюме сестры со старшими Великими Княжнами, небольшой свитой и со мной Государыня посетила Лугу, Псков, где работала Великая Княжна Мария Павловна младшая, Вильно, Ковно и Гродно. Здесь мы встретились с Государем (тут произошел трогательный случай с умирающим офицером, который желал увидеть Государя и умер в его присутствии, после того как Государь, поцеловав его, надел на него Георгиевский крест). Засим проследовали в Двинск.

Трудно описать любовь и радость, с которой везде встречали Государыню. Вспоминаю множество подробностей, но трудно все описать. Вижу ее в Ковенской крепости, проходящей по госпиталю и приветствуемой ранеными — словно Ангела, они окружали ее, забывая свои страдания. После этого утомительного дня, по пути из Ковно, проезжали мы мимо санитарного поезда одной из земских организаций. Императрица приказала остановить императорский поезд и неожиданно для всех вошла в один из вагонов и обошла весь поезд. Кто-то из персонала узнал Ее Величество. Весть, что Государыня в поезде, быстро облетела вагоны, и радости не было предела. Таким же образом Государыня неожиданно посетила госпиталь в имении графа Тышкевича, оборудованный его семейством. Всюду, где Государыня появлялась одна в своем сестринском платье, ее особенно восторженно приветствовали; ничего не было официального в этих встречах: народ толпился вокруг нее, и никто не сдерживал его восторга.

Вскоре потом Государыня со старшими Великими Княжнами, генералом Ресиным, командиром сводного полка, фрейлиной и со мной отправилась в Москву. Здесь впервые мы почувствовали возрастающие интриги против Государыни. На вокзале встретили Государыню Великая

Княжна Елизавета Феодоровна со своим другом, госпожой Гордеевой, начальницей Марфо-Мариинской общины. Генерал Джунковский почему-то распорядился, чтобы приезд Государыни в Москву был «инкогнито», так что никто о ее приезде не знал. Проехали мы в Кремль по пустым улицам и пробыли в Москве 3–4 дня. По указанию и в сопровождении Великой Княгини Государыня объезжала лазареты и эвакуационные пункты и вокзалы, куда приходили поезда с фронта с ранеными. Фрейлина баронесса Буксгевден и я жили очень далеко от покоев Ее Величества; было целое путешествие, чтобы добраться до ее половины. Князь Одоевский, начальник Кремлевского Дворца, устроил телефон между нашими комнатами, и Императрица звонила ко мне, когда была свободна.

Гофмаршальские обеды происходили в старинных покоях, недалеко от Грановитой палаты. Помню неприятный разговор между генералом Ресиным и генералом Джунковским, когда первый упрекал Джунковского по поводу холодного приема, оказанного Государыне, и наговорил ему кучу неприятных слов, упрекая его, между прочим, в том, что он намеренно скрыл ее приезд. Но тогда еще нельзя было предвидеть, как разрастутся интриги против нее.

Великая Княгиня, бывшая нашим другом в детстве, холодно отнеслась ко мне, отказываясь выслушать доводы Государыни о нелепых слухах, касающихся Распутина, и я убеждалась, что враги Государыни стараются уронить ее престиж, очернив меня, беззащитную, что было весьма легко сделать. С горестью я замечала возрастающие недоразумения между сестрами, понимая, что разные лица, вроде Тютчевой и компании, были тому причиной.

Фрейлина Тютчева поступила к Великим Княжнам по рекомендации Великой Княгини Елизаветы Феодоровны; принадлежала она к старинной дворянской семье в Москве. Поступив к Великим Княжнам, она сразу стала «спасать Россию». Она была не дурной человек, но весьма ограниченная. Двоюродным братом ее был известный епископ Владимир Путята (который сейчас в такой дружбе с большевиками и ведет компанию против Патриарха Тихона). Этот епископ и все иже с ним имели огромное влияние на Тютчеву.

Приехав как-то раз в Москву, я была огорошена рассказами моих родственников, князей Голицыных, о Царской Семье, вроде того, «что Распутин бывает чуть ли не ежедневно во дворце», «купает Великих Княжон и т. д.», говоря, что слышали это от **самой** Тютчевой. Их Величества сперва смеялись над этими баснями, но позже Государю кто-то из министров сказал, что надо бы обратить внимание на слухи, идущие из дворца. Тогда Государь вызвал Тютчеву к себе в кабинет и потребовал прекращения подобных рассказов. Тютчева уверяла, что ни в чем не виновата. Если впоследствии Их Величества и чаще видали Распутина, то с 1911 года он не играл никакой роли в их жизни. Но о всем этом потом, сейчас же говорю о Тютчевой, чтобы объяснить, почему именно в Москве начался антагонизм и интриги против Государыни.

Тютчева и после предупреждения Государя не унималась; она сумела создать в придворных кругах бесчисленные интриги — бегала жаловаться семье Ее Величества на нее же. Она повлияла на фрейлину княжну Оболенскую, которая ушла от Государыни несмотря на то, что служила много лет и была ей предана. В детской она перессорила нянь, так что Ее Величество, которая жила детьми, избегала ходить наверх, чтобы не встречаться с надутыми лицами.

Когда же Великие Княжны стали жаловаться, что она восстанавливает их против матери, Ее Величество решила с ней расстаться. В глазах московского общества Тютчева прослыла «жертвой Распутина»; в самом же деле все нелепые выдумки шли от нее, и она сама была главной виновницей чудовищных сплетен на чистую семью Их Величеств.

Мы были рады уехать из Москвы. Проехали Орел, Курск и Харьков; везде восторженные

встречи и необозримое море народа. Вспоминаю, как в Туле с иконой в руках, которую поднесли Государыне при выходе из церкви, меня понесла толпа, и я полетела головой вниз по обледенелым ступеням... Здесь же, за неимением другого экипажа, Государыня ездила в старинной архиерейской карете, украшенной ветками и цветами. Вспоминаю, как в Харькове толпа студентов, неся портрет Государыни, окружила ее мотор с пением гимна и буквально забросала ее цветами.

Проезжая Белгород, Императрица приказала остановить императорский поезд, выразив желание поклониться мощам свт. Иоасафа. Было уже совсем темно; достали извозчиков, которые были счастливы, узнав, кого они везут. Монахи выбежали с огнями встречать свою Государыню; отслужив молебен, мы уехали. На станции собралась уже толпа простого народу провожать Государыню. Какая была разница между этими встречами и официальными приемами! Удивлялась я также губернаторам, которые заботились только о том, чтобы Императрица посещала учреждения, устроенные их женами; может быть, это естественно, но хотелось бы, чтобы в эти минуты личные интересы уходили на задний план.

6 декабря, в день именин Государя, мы встретились с ним в Воронеже; затем Их Величества вместе посетили Тамбов и Рязань. В Тамбове Их Величества навестили Александру Николаевну Нарышкину, которая была их другом (она была убита большевиками, несмотря на то, что очень много сделала для народа).

Путешествие Их Величеств закончилось Москвой. Их Величества радовались встрече с маленькими детьми. Первого мы увидели Алексея Николаевича, который стоял, вытянувшись во фронт, и Великих Княжон Марию и Анастасию Николаевну, которые кинулись обнимать Их Величества.

В Москве были смотры; посещали опять лазареты, ездили и в земскую организацию осматривать летучие питательные пункты. Встречал князь Г. Е. Львов (впоследствии предавший Государя); он с почтением тогда относился особенно к Алексею Николаевичу, прося его и Государя расписаться в книге посетителей. Вечером иногда пили чай у Их Величеств, в огромной голубой уборной Государыни — с чудным видом на Замоскворечье. До отъезда Ее Величество посетила старушку-графиню Апраксину, сестру своей гофмейстерины княгини Голицыной; вместе с Государем были у 80-летнего старца митрополита Макария. Вернулись в Царское Село к Рождеству, где праздниками были многочисленные елки в лазаретах.

Должна упомянуть еще об одном инциденте. Как-то раз Государь упомянул, что его просят принять сестру милосердия, вернувшуюся из германского плена: она привезла на себе знамя полка, которое спасла на поле битвы. В тот же день вечером ко мне ворвались 2 сестры из той же общины, из которой была эта сестра. Со слезами они рассказывали мне, что ехали с ней вместе из плена, что в Германии ей оказывали большой почет немецкие офицеры; в то время как они голодали, ее угощали обедами и вином; что через границу ее перевезли, в то время как они должны были идти пешком; что в поезде за 6 суток она ни разу перед ними не раздевалась, и что они приехали ко мне от сестер общины, умоляя обратить на нее внимание. Они так искренне говорили, что я не знала сперва, что делать, и сочла обязанностью поехать и обо всем рассказать дворцовому коменданту. На следующий день, во время прогулки, я рассказала все Государю, который сперва казался недовольным. Вечером меня вызвал дворцовый комендант и рассказал мне, что он с помощником ездил допрашивать сестру; во время разговора она передала коменданту револьвер, сказав, что отдает его, чтобы ее в чем-либо не заподозрили и что револьвер этот был с ней на войне. Комендант потребовал ее сумочку, которую она не выпускала из рук. Открыв ее, они нашли в ней еще 2 револьвера. Обо всем этом было доложено Государю, который отказал сестре в приеме.

Глава 9

Вскоре после событий, рассказанных мною, произошла железнодорожная катастрофа 2 января 1915 года. Я ушла от Государыни в 5 часов и с поездом 5.20 поехала в город. Села в первый вагон от паровоза, первого класса; против меня сидела сестра Кирасирского офицера, г-жа Шиф. В вагоне было много народа. Не доезжая 6 верст до Петербурга, вдруг раздался страшный грохот, и я почувствовала, что проваливаюсь куда-то головой вниз и ударяюсь о землю; ноги же запутались, вероятно, в трубах отопления, и я почувствовала, как они переломились. На минуту я потеряла сознание. Когда пришла в себя, вокруг была тишина и мрак. Затем послышались крики и стоны придавленных под развалинами вагонов раненых и умирающих. Я сама не могла ни пошевелинуться, ни кричать; на голове у меня лежал огромный железный брус, и из горла текла кровь. Я молилась, чтобы скорее умереть, так как невыносимо страдала.

Через некоторое время, которое казалось мне вечностью, кто-то приподнял осколок, придавивший мне голову, и спросил: «Кто здесь лежит?» Я ответила. Вслед за этим раздался возглас; оказалось, что нашел меня казак из конвоя Лихачев. С помощью солдата железнодорожного полка он начал осторожно освобождать мои ноги; освобожденные ноги упали на землю — как чужие. Боль была нестерпима. Я начала кричать. Больше всего я страдала от сломанной спины. Перевязав меня под руки веревкой, они начали меня тащить из-под вагонов, уговаривая быть терпеливой. Помню, я кричала вне себя от неописуемых физических страданий. Лихачев и солдат выломали дверь в вагоне, переложили меня на нее и отнесли в маленькую деревянную сторожку неподалеку от места крушения. Комнатка уже была полна ранеными и умирающими. Меня положили в уголок, и я попросила Лихачева позвонить по телефону родителям и Государыне. Четыре часа я лежала умирающей на полу без всякой помощи. Прибывший врач, подойдя ко мне, сказал:

«Она умирает, ее не стоит трогать!» Солдат железнодорожного полка, сидя на полу, положил мои сломанные ноги к себе на колени, покрыл меня своей шинелью (было 20 градусов мороза), так как шуба моя была изорвана в куски. Он же вытирал мне лицо и рот, так как я не могла поднять рук, а меня рвало кровью.

Часа через два появилась княжна Гедройц в сопровождении княгини Орловой. Я обрадовалась приходу Гедройц, думая, что она мне сразу поможет. Они подошли ко мне; княгиня Орлова смотрела на меня в лорнетку, Гедройц пощупала переломленную кость под глазом и, обернувшись к княгине Орловой, произнесла: «Она умирает» и вышла.

Оставшись совершенно одной, так как остальных раненых уносили, я только молилась, чтобы Бог дал мне терпение. Только около 10 часов вечера по настоянию генерала Ресина, который приехал из Царского Села, меня перенесли в вагон-теплушку какие-то добрые студенты-санитары.

Я видела в дверях генерала Джунковского, и, когда меня положили на пол в вагоне, пришли мои дорогие родители, которых вызвали на место крушения. Папа плакал. Вновь появилась Гедройц; она влила мне по капле коньяку в рот, разжимая зубы ложкой, и кричала в ухо: «Вы должны жить!» Но я теряла силы, страдала от каждого толчка вагона, начались глубокие обмороки.

Помню, как меня пронесли через толпу народа в Царском Селе, и я увидела Императрицу и всех Великих Княжон в слезах. Меня перенесли в санитарный автомобиль, и Императрица сейчас же вскочила в него; присев на пол, она держала мою голову на коленях и ободряла меня; я же шептала ей, что умираю. По приезде в лазарет Гедройц вспырынула мне камфару и

велела всем выйти. Меня подняли на кровать; я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, Государыня наклонилась надо мной, спрашивая, хочу ли я видеть Государя. Он пришел. Меня окружали Их Величества и Великие Княжны. Я просила причаститься, пришел священник и причастил меня Св. Таин. После этого я слышала, как Гедройц шепнула, чтобы шли со мной прощаться, так как я не доживу до утра. Я же не страдала и впала в какое-то блаженное состояние. Помню, как старалась успокоить моего отца, как Государь держал меня за руку и, обернувшись, сказал, что у меня есть сила в руке... Помню, как вошел Распутин и, войдя, сказал другим: «Жить она будет, но останется калекой». Замечательно, что меня не обмыли и даже не перевязали в эту ночь. Меня постоянно рвало кровью; мама давала мне маленькие кусочки льда — и я осталась жить.

Последующие шесть недель я день и ночь мучилась нечеловеческими страданиями. В 9 часов утра на следующее утро мне дали хлороформу и в присутствии Государыни сделали перевязку; от тяжких страданий я проснулась, когда меня подымали на стол, и меня снова усыпили. С первого дня у меня образовались два огромных пролежня на спине. Мучилась я особенно от раздавленной правой ноги, где сделался флебит, и от болей в голове — менингита; левая, сломанная в двух местах, нога не болела.

Затем сделалось травматическое воспаление обоих легких. Гедройц и доктор Боткин попеременно ночевали в лазарете, но первую не смели будить, так как тогда она кричала на меня же, умирающую. Сестры были молодые и неумелые, так что ухаживать за мною приходилось студентам и врачам. После 10 дней мучений мать выписала фельдшерицу Карасеву, которая принимала всех детей у моей сестры, и если я осталась жива, то благодаря заботливости и чудному уходу Карасевой. Гедройц ее ненавидела. Она же не допустила профессора Федорова меня лечить, сделав сцену Государыне.

Государыня, дети и родители ежедневно посещали меня. Государь первое время тоже приезжал ежедневно; посещения эти породили много зависти: так завидовали мне в те минуты, когда я лежала умирающая!.. Государь, чтобы успокоить добрых людей, стал сначала обходить госпиталь, посещая раненых и только потом спускался ко мне. Многие друзья посещали меня. Приехала сестра из Львова, куда ездила к мужу, а брата отпустили на несколько дней с фронта. Приходил и Распутин. Помню, что в раздражении я спрашивала его, почему он не молится о том, чтобы я меньше страдала. Императрица привозила мне ежедневно завтрак, который я отдавала моему отцу, так как сама есть не могла. Она и дети часто напевали мне вполголоса, и тогда я забывалась на несколько минут, а то плакала и нервничала от всего.

После двух месяцев мои родители и Карасева настояли, чтобы меня перевезли домой. Там, по просьбе друзей, меня осмотрел профессор Гагенторп. Он так и развел руками, заявив, что я совсем потеряю ногу, если на другой же день мне не положат гипсовую повязку на бедро. Два месяца нога моя была только на вытяжении, и лишь одна голень в гипсовой повязке; сломанное же бедро лежало на подушках. Гагенторп вызвал профессора Федорова. Последний, чтобы быть приятным г-же Гедройц и косвенно Государыне, которая верила ей, не желал вмешиваться в неправильное лечение. Гагенторп не побоялся высказать свое мнение и очень упрекал Федорова. Оба профессора, в присутствии Ее Величества, в моей маленькой столовой на столе положили мне гипсовую повязку. Я очень страдала, так как хлороформа мне не дали. Государыня была обижена за Гедройц и первое время сердилась, но после дело объяснилось. Гедройц перестала бывать у меня, о чем я не жалела.

Каждый день в продолжение почти 4 месяцев Государыня Мария Феодоровна справлялась о моем здоровье по телефону. Многие добрые друзья навещали меня. Ее Величество приезжала по вечерам. Государь был почти все время в отсутствии. Когда возвращался, был у меня с

Императрицей несколько раз очень расстроенный тем, что дела наши на фронте были очень плохи. Помню, как тронута я была, когда на страстной неделе Их Величества заехали проститься со мной до исповеди. Доктора пригласили сильного санитаря по фамилии Жук, который стал учить меня ходить на костылях. Он же меня вывозил летом в кресле во дворец и в церковь, после шести месяцев, которые я пролежала на спине.

Летом 1915 г. Государь становился все более и более недовольным действиями на фронте Великого князя Николая Николаевича. Государь жаловался, что русскую армию гонят вперед, не закрепляя позиций и не имея достаточно боевых патронов. Как бы в подтверждение слов Государя, началось поражение за поражением; одна крепость падала за другой, отдали Ковно, Новогеоргиевск, наконец Варшаву. Я помню вечер, когда Императрица и я сидели на балконе в Царском Селе. Пришел Государь с известием о падении Варшавы; на нем, как говорится, лица не было; он почти потерял свое всегдашнее самообладание. «Так не может продолжаться, — воскликнул он, ударив кулаком по столу, — я не могу все сидеть здесь и наблюдать за тем, как разгромят армию; я вижу ошибки — и должен молчать! Сегодня говорил мне Кривошеин, — продолжал Государь, — указывая на невозможность подобного положения».

Государь рассказывал, что Великий Князь Николай Николаевич постоянно, без ведома Государя, вызывал министров в Ставку, давая им те или иные приказания, что создавало двоевластие в России. После падения Варшавы Государь решил бесповоротно, без всякого давления со стороны Распутина, или государыни, или моей, стать самому во главе армии; это было единственно его личным непоколебимым желанием и убеждением, что только при этом условии враг будет побежден. «Если бы вы знали, как мне тяжело не принимать деятельного участия в помощи моей любимой армии», — говорил неоднократно Государь. Свидетельствую, так как я переживала с ними все дни до его отъезда в Ставку, что Императрица Александра Феодоровна ничуть не толкала его на этот шаг, как пишет в своей книге М. Gilliard, и что будто из-за сплетен, которые я распространяла о мнимой измене Великого Князя Николая Николаевича, Государь решил взять командование в свои руки. Как мало Государь обращал внимание на такие толки о Великих Князях, доказательством служит тот факт, что он не обратил внимания на известное письмо княгини Юсуповой (и телеграмму), о которых пишу в главе XI. Государь и раньше бы взял командование, если бы не опасение обидеть Великого Князя Николая Николаевича, как о том он говорил в моем присутствии.

Ясно помню вечер, когда был созван Совет министров в Царском Селе. Я обедала у Их Величеств до заседания, которое назначено было на вечер. За обедом Государь волновался, говоря, что, какие бы доводы ему ни представляли, он останется непреклонным. Уходя, он сказал нам: «Ну, молитесь за меня!» Помню, я сняла образок и дала ему в руки. Время шло. Императрица волновалась за Государя, и когда пробило 11 часов, а он все еще не возвращался, она, накинув шаль, позвала детей и меня на балкон, идущий вокруг дворца. Через кружевные шторы в ярко освещенной угловой гостиной были видны фигуры заседающих; один из министров, стоя, говорил. Уже подали чай, когда вошел Государь, веселый, кинулся в кресло и, протянув нам руки, сказал: «Я был непреклонен, посмотрите, как я вспотел!» Передавая мне образок и смеясь, он продолжал: «Я все время сжимал его в левой руке. Выслушав все длинные, скучные речи министров, я сказал приблизительно так: «Господа! Моя воля непреклонна, я уезжаю в Ставку через два дня!» Некоторые министры выглядели как в воду опущенные!» Государь назвал, кто более всех горячился, но я теперь забыла и боюсь ошибиться.

Государь казался мне иным человеком до отъезда. Еще один разговор предстоял Государю — с Императрицей-Матерью, которая наслышалась за это время всяких сплетен о мнимом немецком шпионаже, о влиянии Распутина и т. д. и, думаю, всем этим басням вполне верила. Около двух часов, по рассказу Государя, она уговаривала его отказаться от своего решения.

Государь ездил к Императрице-Матери в Петроград, в Елагинский Дворец, где Императрица проводила лето. Я видела Государя после его возвращения. Он рассказывал, что разговор происходил в саду; он доказывал, что если будет война продолжаться так, как сейчас, то армии грозит полное поражение, и что он берет командование именно в такую минуту, чтобы спасти Родину, и что это его бесповоротное решение. Государь передавал, что разговор с матерью был еще тяжелее, чем с министрами, и что они расстались, не поняв друг друга.

Перед отъездом в армию Государь с семьей причастился Святых Таин в Феодоровском соборе; я приходила поздравлять его после обедни, когда они всей семьей пили чай в зеленой гостиной Императрицы.

Из Ставки Государь писал Государыне, и она читала мне письмо, где он писал о впечатлениях, вызванных его приездом. Великий Князь был сердит, но сдерживался, тогда как окружающие не могли скрыть своего разочарования и злобы:

«Точно каждый из них намеревался управлять Россией!»

Я не сумею описать ход войны, но помню, как все, что писалось в иностранной печати, выставляло Великого Князя Николая Николаевича патриотом, а Государя орудием германского влияния. Но как только Помазанник Божий встал во главе своей армии, счастье вернулось русскому оружию и отступление прекратилось.

Один из величайших актов Государя во время войны — это запрещение продажи вин по всей России. Государь говорил: «It is horrid the government would profit through the people's drinking, in this matter Kokovtzev is in fault» (ужасно, что правительство богатеет, спаивая народ). «Хоть этим вспомнят меня добром», — добавил он.

Государь от души радовался, когда слышал, как крестьяне богатеют и несут свои сбережения в Крестьянский банк. Французский писатель Anet пишет: c'est Nicolas II, c'est l'Empreur detrone qui f garde l'honneur d'avoir realize la plus grande reforme interieure qui a ete accomplie dans le pays en guerre aujourd'hui — c'est la suppression d'alcoolisme.

В октябре Государь вернулся ненадолго в Царское Село и, уезжая, увез с собой Наследника Алексея Николаевича. Это был первый случай, что Государыня с ним рассталась. Она очень о нем тосковала, — и Алексей Николаевич ежедневно писал матери большим детским почерком. В 9 часов вечера она ходила вверх в его комнату молиться — в тот час, когда он ложился спать.

Государыня весь день работала в лазарете.

Железная дорога выдала мне за увечье 100 000 рублей. На эти деньги я основала лазарет для солдат-инвалидов, где они обучались всякому ремеслу; начали с 60 человек, а потом расширили на 100. Испытав на опыте, как тяжело быть калекой, я хотела хоть несколько облегчить их жизнь в будущем. Ведь по приезде домой на них в семьях стали бы смотреть как на лишний рот! Через год мы выпустили 200 человек мастеровых, сапожников, переплетчиков. Лазарет этот сразу удивительно пошел, но и здесь зависть людская не оставляла меня: чего только ни выдумывали. Вспоминать тошно! Но что впоследствии, может быть не раз, мои милые инвалиды спасали мне жизнь во время революции, показывает, что все же есть люди, которые помнят добро.

Невзирая на самоотверженную работу Императрицы, продолжали кричать, что Государыня и я германские шпионки. В начале войны Императрица получила единственное письмо от своего брата, Принца Гессенского, где он упрекал Государыню в том, что она так мало делает для

облегчения участи германских военнопленных. Императрица со слезами на глазах говорила мне об этом. Как могла она что-либо сделать для них? Когда Императрица основала комитет для наших военнопленных в Германии, через который они получали массу посылок, то газета «Новое время» напечатала об этом в таком духе, что можно было подумать, что комитет этот в Зимнем Дворце основан, собственно, для германских военнопленных. Кто-то доложил об этом графу Ростовцеву, секретарю Ее Величества, но ему так и не удалось поместить опровержение.

Все, кто носил в это время немецкие фамилии, подозревались в шпионаже. Так, граф Фредерикс и Штюмер, не говорившие по-немецки, выставлялись первыми шпионами; но больше всего страдали несчастные балтийские бароны; многих из них без причины отправляли в Сибирь по распоряжению Великого Князя Николая Николаевича, в то время как сыновья их и братья сражались в русской армии. В тяжелую минуту Государь мог бы скорее опереться на них, чем на русское дворянство, которое почти все оказалось не на высоте своего долга. Может быть, шпионами были скорее те, кто больше всего кричал об измене и чернил имя русской Государыни.

Но армия еще была предана Государю. Вспоминаю ясно день, когда Государь, как-то раз вернувшись из Ставки, вошел сияющий в комнату Императрицы, чтобы показать ей Георгиевский крест, который прислали ему армии южного фронта. Ее Величество сама приколотла ему крест, и он заставил нас всех к нему приложиться. Он буквально не помнил себя от радости.

Отец мой — единственный из всех министров — понял поступок Государя, его желание спасти Россию и армию от грозившей опасности, и написал Государю сочувственное письмо. Государь ему ответил чудным письмом, которое можно назвать историческим. В этом письме Государь изливает свою наболевшую душу, пишет, что далее так продолжаться не может, объясняет, что именно побудило его сделать этот шаг, и заканчивает словами: «управление же делами Государства, конечно, оставляю за собою». Подпись гласила: «Глубоко Вас уважающий и любящий Николай».

В 1918 году, когда я была в третий раз арестована большевиками, при обыске было отобрано с другими бумагами и это дорогое письмо.

Глава 10

Кому дорога наша Родина и кто еще надеется, что после революции и большевизма настанет пора, когда Россия снова будет великой державой, тот человек поймет, как мне тяжело писать последующие главы; а писать я должна правду. Трудно и противно говорить о петроградском обществе, которое, невзирая на войну, веселилось и кутило целыми днями. Рестораны и театры процветали. По рассказам одной французской портнихи, ни в один сезон не заказывалось столько костюмов, как зимой 1915–1916 годов, и не покупалось такое количество бриллиантов: война как будто не существовала.

Кроме кутежей общество развлекалось новым и весьма интересным занятием — распусканием всевозможных сплетен про Государыню Александру Феодоровну. Типичный случай мне рассказывала моя сестра. Как-то к ней утром влетела ее belle Soeur [12] г-жа Дерфельден, со словами: «Сегодня мы распускаем слухи на заводах, что Императрица спаивает Государя, и все этому верят». Рассказываю об этом типичном случае, так как дама эта была весьма близка к великокняжескому кругу, который сверг Их Величества с престола и неожиданно их самих. Говорили, что она присутствовала на ужине в доме Юсуповых в ночь убийства Распутина.

Клеветники выискивали всевозможные случаи и факты, за которые они могли бы ухватиться

для подтверждения своих вымыслов. Так, из Австрии приехала одна из городских фрейлин Императрицы, Мария Александровна Васильчикова, которая была другом Великого Князя Сергея Александровича и его супруги и хорошо знакома с Государыней. Васильчикова просила приема у Государыни, но, так как она приехала из Австрии, которая в данную минуту воевала с Россией, ей в приеме отказали. Приезжала ли она с политической целью или нет, осталось неизвестным, но фрейлинский шифр с нее сняли и выслали ее из Петрограда в ее имение. Клеветники же уверяли, что она была вызвана Государыней для переговоров о сепаратном мире с Австрией или Германией.

Дело о Васильчиковой было, между прочим, одним из обвинений, которое и на меня возводила следственная комиссия. Все, что я слыхала о ней, было почерпнуто мной из письма Великой Княгини Елизаветы Феодоровны к Государыне, которое она мне читала. Великая Княгиня писала, чтобы Государыня ни за что не принимала «that horrid Masha». Вспоминая дружбу Великой Княгини с ней, которой я была свидетельницей в детстве, мне стало грустно за нее.

Клевета на Государыню не только распространялась в обществе, но велась так же систематически в армии, в высшем командном составе, а более всего союзом земств и городов. В этой кампании принимали деятельное участие знаменитые Гучков и Пуришкевич. Так в вихре увеселений и кутежей и при планомерной организованной клевете на Помазанников Божиих началась зима 1915–1916 года, темная прелюдия худших времен.

Весной 1916 года здоровье мое еще не вполне окрепло, и меня послали с санитарным поездом, переполненным больными и ранеными солдатами и офицерами, в Крым. Со мной поехала сестра милосердия, санитар Жук и 3 агента секретной полиции — будто бы для охраны, а в сущности, с целью шпионажа.

Эта «охрана» была одним из тех неизбежных зол, которые окружали Их Величества. Государыня в особенности тяготилась и протестовала против этой «охраны»; она говорила, что Государь и она хуже пленников; но почему-то Их Величества не могли выйти из этого тяжелого положения, вероятно, другие заботы были слишком велики, чтобы уделять время на этот предмет. Каждый шаг Их Величеств записывался, подслушивались даже разговоры по телефону. Ничто не доставляло Их Величествам большего удовольствия, как «надуть» полицию; когда удавалось избежать слежки, пройти или проехать там, где их не ожидали, они радовались, как школьники.

За свою жизнь они никогда не боялись, и за все годы я ни разу не слышала разговора о каких-либо опасениях с их стороны. Вспоминаю случай, как раз во время прогулки с Государем в Крыму. «Охранник» сорвался с горы и скатился прямо к ногам Государя. Нужно было видеть его лицо. Государь остановился и, топнув ногой, крикнул: «Пошел вон!» Несчастный кинулся бежать.

Однажды, гуляя с Императрицей в Петергофе, мы встретили моего отца, и Императрица долго с ним беседовала. Только что мы отошли, как на него наскочили два «агента» с допросом, «по какому делу он смел беспокоить Государыню». Когда отец назвал себя, они моментально отскочили — странно было им его не знать...

Итак, я отправилась на юг. Государыня при проливном дожде приехала проводить поезд. Мы ехали до Евпатории 5 суток, останавливаясь в Москве и других городах на несколько часов. Городской голова Дуван дал мне помещение в его даче, окруженной большим садом, на самом берегу моря; здесь я прожила около двух месяцев, принимая грязевые ванны. За это время я познакомилась с некоторыми интересными людьми, между прочим, с караимским Гахамом, образованным и очень милым человеком, который читал мне и рассказывал старинные

легенды караимского и татарского народов. Он, как и все караимы, был глубоко предан Их Величествам. Получила известие, что Ее Величество уехала в Ставку, откуда вся Царская Семья должна была проехать на смотры в Одессу и Севастополь. Государыня телеграммой меня вызвала к себе. Отправилась я туда в автомобиле через степь, цветущую красными маками, по проселочным дорогам. В Севастополь дежурный солдат из-за военного времени не хотел меня пропустить. К счастью, я захватила телеграмму Государыни, которую и показала ему. Тогда меня пропустили к царскому поезду, где жили Их Величества. Завтракала с Государыней. Государь с детьми вернулся около 6 часов с морского смотра. Ночевала я у друзей и на другой день вернулась в Евпаторию. Их Величества обещались вскоре приехать туда же и, действительно, 16 мая они прибыли на день в Евпаторию.

Я много путешествовала с Их Величествами, но думаю, что встреча в Евпатории была одна из самых красивых. Толпа инородцев, татар, караимов в национальных костюмах; вся площадь перед собором — один сплошной ковер розанов. И все залито южным солнцем. Утро Их Величества посвятили разездам по церквам, санаториям и лазаретам, днем же приехали ко мне и оставались до вечера; гуляли по берегу моря, сидели на песке и пили чай на балконе. К этому чаю местные караимы и татары прислали всевозможные сласти и фрукты. Любопытная толпа, которая все время не расходилась, не дала Государю выкупаться в море, чем он был очень недоволен. Наследник выстроил крепость на берегу, которую местные гимназисты обнесли после забором и оберегали, как святыню. Обедала я в поезде Их Величеств и проехала с ними несколько станций.

В конце июня я вернулась в Царское Село и принялась снова за работу в своем лазарете. Лето было очень жаркое, но Государыня продолжала свою неутомимую деятельность. В лазарете, к сожалению, слишком привыкли к частому посещению Государыни, — некоторые офицеры в ее присутствии стали держать себя развязно. Ее Величество этого не замечала; когда я несколько раз просила ее ездить туда реже и лучше посещать учреждения в столице, Государыня сердилась.

Атмосфера в городе сгущалась, слухи и клевета на Государыню стали принимать чудовищные размеры, но Их Величества, и в особенности Государь, продолжали не придавать им никакого значения и относились к этим слухам с полным презрением, не замечая грозящей опасности. Я сознавала, что все, что говорилось против меня, против Распутина или министров, говорилось против Их Величеств, но молчала. Родители мои тоже понимали, насколько серьезно было положение; моя бедная мать получила два дерзких письма: одно от княгини Голицыной, «*belle soeur*» Родзянко, второе — от некой г-жи Тимашевой. Первая писала, что она и на улице стыдится показаться с моей матерью, чтобы люди не подумали, что и она принадлежит к «немецкому шпионажу». Родители мои в то время жили в Териоках, и я их изредка навещала.

Единственно, где я забывалась, — это в моем лазарете, который был переполнен. Купили клочок земли и стали сооружать деревянные бараки, выписанные из Финляндии. Я часами проводила у этих новых построек. Многие жертвовали мне деньги на это доброе дело, но, как я уже писала, и здесь злоба и зависть не оставляли меня; люди думали, вероятно, что Их Величества дают мне огромные суммы на лазарет. Лично Государь мне пожертвовал 20 000. Ее Величество денег не пожертвовала, а подарила церковную утварь в походную церковь. Меня мучили всевозможными просьбами, с раннего утра до поздней ночи не давали покоя с разными бедами, нуждами и требованиями. И все говорили в один голос: «Ваше одно слово все устроит». Господь свидетель, что я никого не гнала вон, но положение мое было очень трудное. Если я за кого просила то или иное должностное лицо, то лишь потому, что именно я прошу — скорее отказывали; а убедить в этом бедноту было так же трудно, как уверить ее в том, что у меня нет денег.

Помню случай с одной дамой. Придя ко мне, она стала требовать, чтобы я содействовала назначению ее мужа губернатором. Когда я начала убеждать ее, что не могу ничего сделать, она раскричалась на меня и грозила мне отомстить...

Как часто я видела в глазах придворных и разных высоких лиц злобу и недоброжелательность. Все эти взгляды я всегда замечала и сознавала, что иначе не может быть после пущенной травли и клеветы, чернившей через меня Государыню. Настоящей нужде я старалась по мере сил помочь, но сознаюсь, что не сделала и половины того, что могла; посидев в тюрьмах и часто голодая и нуждаясь, я каюсь ежечасно, что мало думала о страдании и горе других, — особенно же заключенных; им и калекам хотела бы посвятить жизнь, если Господь приведет когда-либо вернуться на Родину.

В жаркие летние дни Государыня иногда ездила кататься в Павловск. Она заезжала за мной в коляске; за нами в четырехместном экипаже ехали Великие Княжны. Ее Величество и старшие Великие Княжны целыми днями не снимали костюмов сестер милосердия. Они выходили из экипажей в отдаленной части Павловского парка и гуляли по лужайкам, собирая полевые цветы. Вспоминаю одну такую прогулку. Мы ехали в Павловск по дороге к «белой березе». Правил любимый Их Величествами кучер Коньков. Вдруг один из великолепных вороных рысаков захрипел, повалился на бок и тут же околел. Вторая лошадь испугалась и стала биться. Императрица вскочила, бледная, и помогла мне выйти. Мы вернулись в экипаже детей. На меня этот случай произвел тяжелое впечатление. Конюшенное начальство приходило потом извиняться.

В лазаретах в Царском Селе устраивали для раненых всевозможные развлечения и концерты, в которых принимали участие лучшие певцы, рассказчики и т. д. В лихорадочной деятельности на пользу больных и раненых Государыня забывалась от зловещих слухов, доносившихся до нее. В августе из Крыма приехал Гахам караимский. Он представлялся Государыне и несколько раз побывал у Наследника, который слушал с восторгом легенды и сказки, которые Гахам ему рассказывал. Гахам первый умолял обратить внимание на деятельность сэра Бьюкенена и на заговор, который готовился в стенах посольства с ведома и согласия сэра Бьюкенена. Гахам раньше служил по Министерству иностранных дел в Персии и был знаком с политикой англичан. Но Государыня и верить не хотела, она отвечала, что это сказки, так как Бьюкенен был доверенный посол короля английского, ее двоюродного брата и нашего союзника. В ужасе она оборвала разговор.

Через несколько дней мы уехали в Ставку навестить Государя. Вероятно, все эти именитые иностранцы, проживавшие в Ставке, одинаково работали с сэром Бьюкененом. Их было множество: генерал Вильямс со штабом от Англии, генерал Жанен от Франции, генерал Риккель — бельгиец, а также итальянские, сербские и японские генералы и офицеры. Как-то раз после завтрака все они и наши генералы и офицеры штаба толпились в саду, пока Их Величества совершали «сербль», разговаривая с приглашенными. Сзади меня иностранные офицеры, громко разговаривая, обзывали Государыню обидными словами и во всеуслышание делали замечания: «Вот она снова приехала к мужу передать последние приказания Распутина». «Свита, — говорил другой, — ненавидит, когда она приезжает; ее приезд обозначает перемену в правительстве» и т. д. Я отошла, мне стало почти дурно. Но Императрица не верила и приходила в раздражение, когда я ей повторяла слышанное.

Великие Князья и чины штаба приглашались к завтраку, но Великие Князья часто «заболевали» и к завтраку не появлялись во время приезда Ее Величества; «заболевал» также генерал Алексеев. Государь не хотел замечать их отсутствия. Государыня же мучилась, не зная, что предпринять. При всем своем уме и недоверчивости Императрица, к моему изумлению, не сознавала, какой нежеланной гостьей она была в Ставке. Ехала она только

окрыленная любовью к мужу, считая дни до их свидания. Но я глубоко сознавала и чувствовала во всех окружающих озлобление к тем, кого боготворила, и чувствовала, что озлобление это принимает ужасающие размеры; все это заставляло переживать минуты неизъяснимой муки. Я лично постоянно угадывала разные оскорбления, и во взглядах, и в «любезных» пожатиях руки и понимала, что злоба эта направлена через меня на Государыню.

Вскоре Их Величества узнали, что генерал Алексеев, талантливый офицер и помощник Государя, состоял в переписке с предателем Гучковым. Когда Государь его спросил, он ответил, что это неправда. Чтобы дать понятие, как безудержно в высшем командном составе плелась клевета на Государыню, расскажу следующий случай.

Генерал Алексеев вызвал генерала Иванова, главнокомандующего армией южного фронта, и заявил ему, что, к сожалению, он уволен с поста главнокомандующего по приказанию Государыни, Распутина и Вырубовой. Генерал Иванов не поверил генералу Алексееву. Он ответил ему: «Личность Государыни Императрицы для меня священна — другие же фамилии я не знаю!» Алексеев оскорбился недоверием к нему генерала Иванова и пожаловался на него Государю, который стал его не замечать. Пишу это со слов генерала Иванова; рассказывая мне об этом, генерал плакал, слезы текли по его седой бороде. Государь, думаю, гневался на Алексеева, но в такое серьезное время, вероятно, не знал, кем его заменить, так как считал его талантливейшим генералом. Впоследствии Государь заменил свое обращение с генералом Ивановым и был к нему ласков.

Приезжая в Ставку, Государыня с детьми и свитой жила в поезде. В час дня за ними приезжали моторы, и мы отправлялись в губернаторский дом к завтраку. Два казака конвоя стояли внизу, наверх вела крутая лестница; первая комната была зала, где ожидали выхода Их Величеств. Большая столовая с темными обоями. Из залы шла дверь в темный кабинет и спальню с двумя походными кроватями Государя и Наследника. Летом завтракали в саду, в палатке. Сад был расположен на высоком берегу Днепра, откуда открывался чудный вид на реку и окрестности Могилева. Мы радовались, смотря на Алексея Николаевича. Любо было видеть, как он вырос, возмужал и окреп; он выглядел юношей, сидя около отца за завтраком; пропала и его застенчивость: он болтал и шалил. Особенным его другом был старик бельгиец генерал Риккель.

Каждый день после завтрака наши горничные привозили нам из поезда платье, и мы переодевались в каком-нибудь углу для прогулки. Государь уходил гулять со свитой. Императрица оставалась в лесу с Алексеем Николаевичем, сидя на траве. Она часто разговаривала с проходившими и проезжавшими крестьянами и их детьми. Народ казался мне там несчастным. Бедно одетые и приниженные, когда они узнавали, кто с ними говорит, они становились на колени и целовали руки и платье Государыни; казалось, что крестьяне, несмотря на ужасы войны, оставались верными своему Царю. Окружающая же свита и приближенные жили своими эгоистичными интересами, интригами и кознями, которые они строили друг против друга.

После прогулки и чая в губернаторском доме Государыня возвращалась к себе в поезд. Сюда к обеду приезжали Государь и Алексей Николаевич; фрейлина и я обыкновенно обедали с августейшей семьей.

Среди неправды, интриг и злобы было, однако, и в Могилеве одно светлое местечко, куда я приносила свою больную душу и слезы. То был Братский монастырь. За высокой каменной стеной на главной улице — одинокий бедный храм, где два-три монаха справляли службу, проводя жизнь в нищете и лишениях. Там находилась чудотворная икона Могилевской Божией Матери, благой лик которой сиял в полумраке бедного каменного храма. Я каждый день

урывала минутку, чтобы съездить приложиться к иконе. Услышав об иконе, Государыня также ездила раза два в монастырь. Был и Государь, но в нашем отсутствии. В одну из самых тяжелых минут душевной муки, когда мне казалась близка неминуемая катастрофа, помню, я отвезла Божией Матери свои бриллиантовые серьги. По странному стечению обстоятельств, единственную маленькую икону, которую мне разрешили потом иметь в крепости, была икона Божий Матери Могилевской, — отобрав все остальные, солдаты швырнули мне ее на колени. Сотни раз в день и во время страшных ночей я прижимала ее к груди... И первое приветствие по освобождении из крепости была та же икона, присланная из Могилева монахами, вероятно, узнавшими о моем заключении.

В последний раз, когда мы ездили в Ставку, в одно время с нами приехала туда княгиня Палей с детьми, чтобы навестить Великого Князя Павла Александровича. Она приехала из Киева, где жила Императрица-Мать и Великие Князья Александр Михайлович и Николай Михайлович. Я два раза была у них, один раз одна, второй раз с Их Величествами и детьми. Мне было тяжело слышать их разговор, так как они приехали, начиненные сплетнями и слухами, и не верили моим опровержениям. Вторым событием был приезд в Ставку Родзянки, который требовал удаления Протопопова. Редко кого Государь «не любил», но он «не любил» Родзянку, принял его холодно и не пригласил к завтраку. Но зато Родзянку чествовали в штабе! Видела Государя вечером. Он выглядел бледным и за чаем почти не говорил. Прощаясь со мной, он сказал:

«Родзянко has worried me awfully. I feel his motives are quite false». [13] Затем рассказал, что Родзянко уверял его, что Протопопов будто бы сумасшедший!.. «Вероятно, с тех пор, что я назначил его министром», — усмехнулся Государь. Выходя из двери вагона, он еще обернулся к нам, сказав: «Все эти господа воображают, что помогают мне, а на самом деле только между собой грызутся; дали бы мне окончить войну...» И, вздохнув, Государь пошел к ожидавшему его автомобилю.

На душе становилось все тяжелее и тяжелее; генерал Воейков жаловался, что Великие Князья заказывают себе поезда иногда за час до отъезда Государя, не считаясь с ним, и если генерал отказывал, то строили против него всякие козни и интриги.

В последний раз мы были в Ставке в ноябре 1916 г. Его Величество уезжал с нами, а также его многочисленная свита и Великий Князь Дмитрий Павлович. Помню, как последний сидел на кушетке, где лежала Государыня, и рассказывал ей всевозможные анекдоты; дети и я работали тут же, смежная дверь в отделение Государя была открыта, и он занимался за письменным столом. Изредка он приходил к дверям с папироской в руках и, оглядывая нас своим спокойным взглядом, вдруг от души начинал смеяться какой-нибудь шутке Великого Князя Дмитрия Павловича. Вспоминая это путешествие, я после думала: неужели тот же Великий Князь Дмитрий Павлович через три недели мог так сильно опечалить и оскорбить Их Величества?..

Вскоре, как-то раз придя днем к Государыне я застала ее в горьких слезах. На коленях у нее лежало только что полученное письмо из Ставки. Я узнала от нее, что Государь прислал ей письмо Великого Князя Николая Михайловича, который тот принес самолично и положил ему на стол. Письмо содержало низкие, несправедливые обвинения на Государыню и кончалось угрозами, что если она не изменится, то начнутся покушения. «Но что я сделала?!» — говорила Государыня, закрывая лицо руками. По рассказу одного из флигель-адъютантов, в Ставке знали цель приезда Великого Князя Николая Михайловича и потому были немало удивлены, когда увидели его приглашенным к завтраку.

Государь любил свою Государыню больше своей жизни. Объясняю себе подобное поведение только тем, что все мысли Государя были поглощены войной.

Помню, как в то время он несколько раз упоминал о будущих переменах конституционного характера. Повторяю, сердце и душа Государя были на войне; к внутренней политике, может быть, в то время он относился слишком легко. После каждого разговора он всегда повторял: «Выгоним немца, тогда примусь за внутренние дела!» Я знаю, что Государь все хотел дать, что требовали, но — после победоносного конца войны. «Почему, — говорил он много-много раз и в Ставке, и в Царском Селе, — не хотят понять, что нельзя проводить внутренние государственные реформы, пока враг на русской земле? Сперва надо выгнать врага!» Казалось, и Государыня находила, что в минуту войны не стоило заниматься «мелочами», как она выражалась, и обращать внимание на неприязнь и клевету.

Помню, раз вечером она показала мне дерзкое письмо княгини Васильчиковой, но только сказала:

«That is not at all clever, or well brought up on her part» и, смеясь, добавила: «at least she could have written on a proper piece of paper, as one writes to a Sovereign.» [14] Письмо было написано на двух листочках, вырванных из блокнота. Но на этот раз Государь побелел от гнева. Сразу приказал вызвать графа Фредерикса. Это была одна из тех минут, когда было страшно к нему подойти. Третье подобное письмо, дерзкое и полное незаслуженных обид, написал ей один первый чин Двора, некто Балашев, чуть ли не на десяти страницах. Я помню, как у дорогой Государыни тряслись руки, пока она читала. Видя ее душевную скорбь, мне казалось невозможным, что те, кто наносил оскорбление Помазанникам Божиим, могут скрыться от Его карающей руки... И в сотый раз я спрашивала себя: что случилось с петроградским обществом? Заболели ли они все душевно или заразились какой-то эпидемией, свирепствующей в военное время? Трудно разобрать, но факт тот: все были в ненормальном, возбужденном состоянии.

В начале декабря 1916 года Ее Величество, чтобы отдохнуть душою, поехала на день в Новгород с двумя Великими Княжнами и маленькой свитой, где посетила лазареты, монастыри и слушала обедню в Софийском соборе. Помню, что и об этой поездке кричали в Петрограде, но что именно, не помню. Бог знает: и это не понравилось! Но в Новгороде огромная толпа народа восторженно встречала ее. При звоне колоколов старинных церквей Государыня шествовала, окруженная любящим и ликующим населением, посещая святыни и больных и раненых воинов. До отъезда Государыня посетила Юрьевский и Десятинный монастыри. В последнем она зашла к старице Марии Михайловне, в ее крошечную келью, где в тяжелых веригах на железной кровати лежала много лет старушка. Когда Государыня вошла, старица протянула к ней свои высохшие руки и произнесла: «Вот идет мученица — Царица Александра!» Обняла ее и благословила. Слова эти глубоко запали мне в душу. Через несколько дней старица почилла.

Глава 11

Через два дня после нашего возвращения из Новгорода, именно 17 декабря, началась «бескровная революция» убийством Распутина. 16 декабря Государыня послала меня к Григорию Ефимовичу отвезти ему икону, привезенную ею из Новгорода. Я не особенно любила ездить на его квартиру, зная, что моя поездка будет лишней раз фальшиво истолкована клеветниками.

Я оставалась минут 15, слышала от него, что он собирается очень поздно ехать к Феликсу Юсупову знакомиться с его женой, Ириной Александровной. Хотя я знала, что Распутин часто видался с Феликсом Юсуповым, однако же мне показалось странным, что он едет к ним так поздно, но он ответил мне, что Феликс не хочет, чтобы об этом узнали его родители. Когда я уезжала, Григорий Ефимович сказал мне странную фразу: «Что еще тебе нужно от меня? Ты

уже все получила...»

Вечером я рассказала Государыне, что Распутин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной Александровной. «Должно быть, какая-нибудь ошибка, — ответила Государыня, — так как Ирина в Крыму и родителей Юсуповых нет в городе». Потом мы начали говорить о другом.

Утром 17 декабря ко мне позвонила одна из дочерей Распутина (которые учились в Петрограде и жили с отцом). Она сообщила мне с некоторым беспокойством, что отец их не вернулся домой, уехав поздно вечером с Феликсом Юсуповым. Известие это меня удивило, но в данную минуту особого значения я ему не придавала. Приехав во дворец, я рассказала об этом Государыне. Выслушав меня, она выразила свое недоумение. Через час или два позвонили во дворец от Министра Внутренних Дел Протопопова, который сообщал, что ночью полицейский, стоявший на посту около дома Юсуповых, услышав выстрел в доме, позвонил. К нему выбежал пьяный Пуришкевич и заявил ему, что Распутин убит. Тот же полицейский видел военный мотор без огней, который отъехал от дома вскоре после выстрелов. Государыня приказала вызвать Лили Дэн (жену морского офицера, с которой я была очень дружна и которую Государыня очень любила). Мы сидели вместе в кабинете Императрицы, очень расстроенные, ожидая дальнейших известий. Сперва звонил Великий Князь Дмитрий Павлович, прося позволения приехать к чаю в пять часов. Императрица, бледная и задумчивая, отказала ему. Затем звонил Феликс Юсупов и просил позволения приехать с объяснением то к Государыне, то ко мне; звал меня несколько раз к телефону, но Государыня не позволила мне подойти, а ему приказала передать, что объяснение он может прислать ей письменно. Вечером принесли Государыне знаменитое письмо от Феликса Юсупова, где он именем князей Юсуповых клянется, что Распутин в этот вечер не был у них. Распутина он действительно видал несколько раз, но не в этот вечер. Вчера у него была вечеринка, справляли новоселье и перепились, а уходя, Великий Князь Дмитрий Павлович убил на дворе собаку. Государыня сейчас же послала это письмо Министру Юстиции. Кроме того, Государыня приказала Протопопову продолжать расследование дела и вызвала Военного Министра, генерала Беляева (убитого впоследствии большевиками), с которым совещалась по этому делу.

На другой день Государыня и я причащались Святых Таин в походной церкви Александровского Дворца, где по этому случаю была отслужена литургия. Государыня не пустила меня вернуться к себе, и я ночевала в одной из комнат на 4-м подъезде Александровского Дворца.

Жуткие были дни. 19-го утром Протопопов дал знать, что тело Распутина найдено. Полиция, войдя в дом Юсуповых на следующее утро после убийства, напала на широкий кровавый след у входа и на лестнице и на признаки того, что здесь происходило что-то необычайное. На дворе они в самом деле нашли убитую собаку, но рана на голове не могла дать такого количества крови... Вся полиция в Петрограде была поднята на ноги. Сперва в проруби на Крестовском острове нашли галошу Распутина, а потом водолазы наткнулись на его тело: руки и ноги были запутаны веревкой; правую руку он, вероятно, высвободил, когда его кидали в воду, пальцы были сложены крестом. Тело было перевезено в Чесменскую богадельню, где было произведено вскрытие. Несмотря на многочисленные огнестрельные раны и огромную рану на левом боку, сделанную ножом или шпорой, Григорий Ефимович, вероятно, был еще жив, когда его кинули в прорубь, так как легкие были полны водой.

Когда в столице узнали об убийстве Распутина, все сходили с ума от радости; ликование общества не было пределов, друг друга поздравляли: «Зверь был раздавлен, — как выражались, — злого духа не стало». От восторга впадали в истерику.

Во время этих манифестаций по поводу убийства Распутина Протопопов спрашивал совета Ее

Величества по телефону, где его похоронить. Впоследствии он надеялся отправить тело в Сибирь, но сейчас же сделать это не советовал, указывая на возможность по дороге беспорядков. Решили временно похоронить в Царском Селе, весной же перевезти на родину. Отпевали в Чесменской богадельне, и в 9 часов утра в тот же день (кажется, 21 декабря) одна сестра милосердия привезла на моторе гроб Распутина. Его похоронили около парка, на земле, где я намеревалась построить убежище для инвалидов. Приехали Их Величества с Княжнами, я и два или три человека посторонних. Гроб был уже опущен в могилу, когда мы пришли; духовник Их Величеств отслужил короткую панихиду, и стали засыпать могилу. Стояло туманное холодное утро, и вся обстановка было ужасно тяжелая: хоронили даже не на кладбище. Сразу после короткой панихиды мы уехали. Дочери Распутина, которые одни присутствовали на отпевании, положили на грудь убитого икону, которую Государыня привезла из Новгорода. Вот правда о похоронах Распутина, о которых столько говорилось и писалось. Государыня не плакала часами над его телом, и никто не дежурил у гроба из его поклонниц.

Ужас и отвращение к совершившемуся объяли сердца Их Величеств. Государь, вернувшись из Ставки 20-го числа, все повторял: «Мне стыдно перед Россией, что руки моих родственников обгажены кровью этого мужика».

Их Величества были глубоко оскорблены злодеянием, и если они раньше чуждались Великих Князей, расходясь с ними во взглядах, то теперь их отношения совсем оборвались. Их Величества ушли как бы в себя, не желая ни слышать о них, ни их видеть.

Но Юсуповы и компания не окончили своего дела. Теперь, когда все их превозносили, они чувствовали себя героями. Великий Князь Александр Михайлович отправился к Министру Юстиции Добровольскому и, накричав на него, стал требовать от имени Великих Князей, чтобы дело это было прекращено. Затем, в день приезда Государя в Царское Село, сей Великий Князь заявился со старшим сыном во дворец. Оставив сына в приемной, он вошел в кабинет Государя и также от имени семьи требовал прекращения следствия по делу убийства Распутина; в противном случае оба раза он грозил чуть ли не падением престола. Великий Князь говорил так громко и дерзко, что голос его слышали посторонние, так как он почему-то и дверь не притворил в соседнюю комнату, где ожидал его сын. Государь говорил после, что он не мог сам оставаться спокойным, до такой степени его возмутило поведение Великого Князя; но в минуту разговора он безмолвствовал. Государь выслал Великих Князей Дмитрия Павловича и Николая Михайловича, а также Феликса Юсупова из Петрограда. Несмотря на мягкость наказания, среди Великих Князей поднялась целая буря озлобления. Государь получил письмо, подписанное всеми членами Императорского дома, с просьбой оставить Великого Князя Дмитрия Павловича в Петрограде по причине его слабого здоровья. Государь написал на нем только одну фразу: «Никому не дано права убивать». До этого Государь получил письмо от Великого Князя Дмитрия Павловича, в котором он, вроде Феликса Юсупова, клялся, что он ничего не имел общего с убийством.

Расстроенный, бледный и молчаливый, Государь в эти дни почти не разговаривал, и мы никто не смели беспокоить его. Через несколько дней Государь принес в комнату Императрицы перехваченное Министерством внутренних дел письмо княгини Юсуповой, адресованное Великой Княжне Ксении Александровне. Вкратце содержание письма было следующее: «Она (Юсупова), как мать, конечно, грустит о положении своего сына, но «Сандро» (Великий Князь Александр Михайлович) спас все положение; она только сожалела, что в этот день они не довели своего дела до конца и не убрали всех, кого следует... Теперь остается только «Ее» (большими буквами) запереть. По окончании этого дела, вероятно, вышлют Николашу и Стану (Великого Князя Николая Николаевича и Анастасию Николаевну) в Першино в их имение... Как глупо, что выслали бедного Николая Михайловича!»

Государь сказал, что все это так низко, что ему противно этим заниматься. Императрица же все поняла. Она сидела бледная, смотря перед собой широко раскрытыми глазами... Принесли еще две телеграммы Их Величествам. Близкая их родственница «благословляла» Феликса Юсупова на патриотическое дело. Это постыдное сообщение совсем убило Государыню; она плакала горько и безутешно, и я ничем не могла успокоить ее.

Я ежедневно получала грязные анонимные письма, грозившие мне убийством и т. п. Императрица, которая лучше нас всех понимала данные обстоятельства, как я уже писала, немедленно велела мне переехать во дворец, и я с грустью покинула свой домик, не зная, что уже никогда туда не возвращусь. По приказанию Их Величеств с этого дня каждый шаг мой оберегался. При выездах в лазарет всегда сопровождал меня санитар Жук; даже по дворцу меня не пускали ходить одной, не разрешили присутствовать и на свадьбе дорогого брата.

Мало-помалу жизнь во Дворце вошла в свою колею. Государь читал по вечерам нам вслух. На Рождество были обычные елки во дворце и в лазаретах.

Их Величества дарили подарки окружающей свите и прислуге; но Великим Князьям в этот год они не посылали подарков. Несмотря на праздник, Их Величества были очень грустны: они переживали глубокое разочарование в близких и родственниках, которым ранее доверяли и которых любили, и никогда, кажется, Государь и Государыня Всероссийские не были так одиноки, как теперь. Преданные их же родственниками, оклеветанные людьми, которые в глазах всего мира назывались представителями России, Их Величества имели около себя только несколько преданных друзей да министров, ими назначенных, которые все были осуждены общественным мнением. Всем им ставилось в вину, что они были назначены Распутиным. Но это сущая неправда.

Штюрмер, назначенный премьером, был рекомендован Государю еще после убийства Плеве (см. о гр. Витте). Он принадлежал к старому дворянству Тверской губернии, а не был из немецких выходцев. Он много лет прослужил при Дворе, так Государь хорошо его знал, считал его за порядочного, хотя и недалекого человека, который не изменит своим убеждениям. Полагаю, Государь назначил его за неимением под руками кого-либо другого, будучи занят в то время исключительно войной. Штюрмера поместили в Петропавловской крепости недалеко от меня. О его мучениях и смерти уже много написано. Впоследствии один из членов следственной комиссии, социал-революционер Н. Соколов, высказался в том смысле, что если бы в ту пору существовало Учредительное собрание, то Милюков сидел бы на скамье подсудимых за клевету на Штюрмера.

Протопопов был назначен лично Государем под влиянием хорошего впечатления, которое он произвел на Его Величество после его поездки за границу в должности товарища председателя Государственной Думы. Ее Величество, получая ежедневно письма от Государя из Ставки, однажды прочла мне письмо, в котором говорилось о Протопопове, представлявшемся Государю по возвращении из-за границы в Ставке. Государь писал о прекрасном впечатлении, которое произвел на него Протопопов и (как всегда — под впечатлением минуты, что характеризовало все его назначения) что он думает назначить его Министром Внутренних Дел: «Тем более, — писал Государь, — что я всегда мечтал о Министре Внутренних Дел, который будет работать совместно с Думой...» Протопопов, выбранный земствами, товарищ Родзянко. Я не могу забыть удивление и возмущение Государя, когда начались интриги; однажды за чаем, ударив рукою по столу, Государь воскликнул: «Протопопов был хорош и даже был выбран Думой и Родзянко делегатом за границу; но стоило мне назначить его министром, как он считается сумасшедшим!» Под влиянием интриг Протопопов стал очень нервным, а мне казался, кроме того, очень слабохарактерным. Во время революции он сам пришел в Думу, где его и арестовали по приказанию Родзянко. И позже он был убит большевиками. Протопопов

дружил с Распутиным. Дружба его имела совершенно частный характер. Распутин за него всегда заступался перед Их Величествами, но это и все.

Н. Маклакова Государь в первый раз встретил во время Полтавских торжеств, в бытность Маклакова черниговским губернатором. После длинного разговора с ним на пароходе Государь решил назначить его Министром Внутренних Дел. Государь был им очарован и говорил: «Наконец я нашел человека, который понимает меня и с которым я могу работать». Доклады Маклакова были радостью для Государя, он никогда не тяготился приездами его в Крым или на «Штандарт» и воодушевлялся, занимаясь с ним. Но настало время, когда Великий Князь Николай Николаевич и другие стали требовать его удаления, и, по рассказам самого Маклакова, которые мне передавали, Государь лично ему об этом сообщил на докладе. Маклаков расплакался... Он был один из тех, которые горячо любили Государя, не только как Царя, но и как человека, и был ему беззаветно предан. По желанию Великого Князя Николая Николаевича Маклакова сменил князь Щербатов, начальник коннозаводства, которое было близко и знакомо ему как кавалеристу. Но, несмотря на протекцию Великого Князя, он остался на посту всего только два месяца, так как оказался малосведущим в делах Министерства Внутренних Дел.

Щербатова заменил Хвостов. Государь знал о нем как об энергичном губернаторе, и еще в 1911 году, после убийства Столыпина, он прочил его в Министры Внутренних Дел. Во время войны Хвостов был правым членом Думы, стал произносить громовые речи против немецкого засилия. Государь взял его, сказав, что «уж его в шпионстве не заподозрят». Хвостов производил неприятное впечатление. С первых же дней он познакомился с Распутиным, надеясь посредством этого знакомства приобрести доверенность Их Величеств. Он спаивал его, заставляя его выпрашивать всевозможные милости. Когда же тот наотрез отказался, решился с помощью своего товарища Белецкого и известного расстриженного монаха Иллиодора устроить покушение на Распутина. Последний выдал обоих, министра и его товарища, прислав со своей женой все документы и телеграммы Хвостова. После этого он был отстранен от должности.

Генерала Сухомлинова Государь уважал и любил еще до его назначения Военным Министром. Блестяще проведенная мобилизация в 1914 году доказывает, что Сухомлинов не бездействовал. Главными его врагами были: Великий Князь Николай Николаевич, генерал Поливанов и знаменитый Гучков. Многие усматривали в походе против военного министра во время войны дискредитирование власти Государя, [15] находя, что эта интрига еще опаснее для престола, чем сказки о Распутине. Сухомлинову приписывалось бесконечное множество злодеяний. Английский писатель Вильтон говорит о нем: «зачем гнали армию на южном фронте так отчаянно вперед, когда не было надежды получить достаточное количество снарядов, Ответ можно найти в полном несогласии между Штабом Верховного Главнокомандующего и Военным Министерством». По проискам его врагов и клеветников и Думы генерала Сухомлинова арестовали еще при Государе и заключили в крепость. Затем, во время революции, судили и приговорили к пожизненной каторге.

Я просидела 4 месяца в Петропавловской крепости рядом с г-жой Сухомлиновой, которую раньше не знала. В страшные длинные ночи, когда мы всецело были в руках караула, ее стойкость и самообладание не раз спасали нас от самого худшего: солдаты уважали ее и боялись безобразничать. Она всегда занималась, читала, писала, когда позволяли, и из черного хлеба лепила прелестные цветы, краску брала из синей полосы на стене и кусочка красной бумаги, в которую был завернут чай. Суд оправдал ее, и она вышла под рукоплескания всего зала. Во время амнистии г-же Сухомлиновой удалось освободить ее престарелого мужа и перевезти его в Финляндию. После стольких несчастий, которые они перенесли вместе, г-жа

Сухомлинова оставила своего мужа и вышла замуж за молодого грузина. Их обоих расстреляли большевики.

Много было разговоров и о митрополите Питириме, будто бы назначенном тем же Распутиным. Государь познакомился с ним в 1914 году во время посещения Кавказа. Митрополит Питирим был тогда Экзархом Грузии. Государь и свита были очарованы им, и когда мы в декабре встретились с Государем в Воронеже, я помню, как Государь говорил, что предназначает его при первой перемене митрополитом Петроградским. Сейчас же после его назначения начали кричать о близости митрополита Питирима к Распутину, тогда как, по правде сказать, они были только официально знакомы.

Митрополит Питирим был очень осторожен и умен. Их Величества уважали митрополита, но никогда не приближали его к себе. Когда он раз или два был у Их Величеств, темой разговора, как они рассказывали мне, была Грузинская церковь, которая, по его словам, недостаточно поддерживалась Синодом, хотя, в сущности, была первой по времени Христианской церковью в России. По грузинским преданиям, церковь в Грузии (Иверии) была основана Самой Богоматерью, Которая получила ее в Свой удел, посетив Иверию после Афона. Митрополит Питирим, видимо, всей душой любил Грузию, где и он был очень любим. Он же первый завел речь о «приходах». Эти вопросы очень интересовали Их Величеств, но они откладывали все вопросы до окончания войны.

После моего ареста Временным правительством одним из тяжелых оскорблений, которое вынесла моя бедная мать от Керенского, была клевета, что «все бриллианты, которые я имею, это подарки митрополита Питирима!»

Хочу сказать несколько слов о Министре Двора графе Фредериксе, который прослужил всю свою жизнь при Дворе, сперва при Александре III, а потом при Николае II, глубоко порядочном и беззаветно преданном. Ему не раз приходилось иметь дело со всевозможными денежными и семейными делами Великих Князей, что бывало подчас очень нелегко. Несмотря на разные интриги, все его уважали, любили и понимали, что он один из тех людей, который не изменит своему принципу. Их Величества очень любили его; особенно нежно к нему относилась Государыня, называя в шутку «our old man». [16] Он же, говоря о них, часто называл их «mes enfants». [17] Государыня поверяла ему разные заботы и горести: «Как часто помогает он мне добрым советом!» Дом его был мне вторым родительским, а дочери его, г-жа Воейкова и бедная больная Эмма — моими друзьями, которые мне никогда не изменили. У Эммы, несмотря на то, что она была горбатая, был прелестный голос. Государыня любила ей аккомпанировать. Граф Фредерикс был также арестован Временным правительством, но позже освобожден из-за преклонных лет.

Государя постоянно упрекают в том, что он не умел выбирать себе министров. В начале своего царствования он брал людей, которым доверял его покойный отец, Император Александр III. Затем брал по своему выбору. К сожалению, война и революция не дали России ни одного имени, которое с гордостью могло бы повторить потомство. Один американский писатель говорит в своей книге, что «большевизм не развился бы в России, если бы почва для развития порока не была готова». Вероятно, нигде в мире нравственность не упала так низко, как у нас, и нелегко это сознавать русскому, любящему свою Родину.

К сожалению, мы, русские, слишком часто виним в нашем несчастье других, не желая понять, что положение наше — дело наших же рук, мы все виноваты, особенно же виноваты высшие классы. Мало кто исполняет свой долг во имя долга и России. Чувство долга не внушалось с детства; в семьях дети не воспитывались в любви к Родине, и только величайшее страдание и кровь невинных жертв могут омыть наши грехи и грехи целых поколений. Да поможет Господь

нам, всем русским — томящимся на далекой чужбине и страждущим в многострадальной, но бесконечно нам всем дорогой Родине — соединиться в любви и мире друг с другом, принося наши слезы и горячее покаяние милосердному Богу за бесчисленные согрешения наши, содеянные перед Господом и Богом венчанным Государем нашим и нашей Родиной.

И тогда только встанет великая и могучая Россия, на радость нам и страх врагам нашим.

Глава 12

Останавливаю свой рассказ, который вела в строго хронологическом порядке, чтобы посвятить несколько страниц человеку, имя которого до сих пор вызывает всеобщий ужас, злобу и отвращение. Распутин! Сколько написано книг, брошюр, статей о нем! Кажется, всякий, кто умел владеть пером, изливал свою ненависть против этого ужасного имени! Те, кто ожидает от меня секретных и интересных разоблачений, вероятно, будут глубоко разочарованы, потому что то, что я расскажу, даже малоинтересно. Да что могу сказать, я, глупая женщина, когда весь мир осудил его, и все, кто писал, все «видели своими глазами» или знали из «достоверных источников»? Весь мир осудил его, подобно тому, как осудил раньше Нерона, Иуду или Пилата. Значит, писать уже более нечего, и для какой цели буду я стараться переменить мнение людей?

Но ради исторической правды я должна сказать, как и почему он имел некоторое влияние в жизни Государя и Государыни. Сперва надо объяснить, кто был Распутин. Ни монах, ни священник, а «простой странник», которых немало на Руси. Их Величества принадлежали к категории людей, верящих в силу молитвы подобных странников. Государь, как и его предок — Александр I, был всегда мистически настроен; одинаково мистически была настроена и Государыня. Но не следует путать (смешивать) религиозное настроение со спиритизмом, верчением столов, вызыванием духов и т. д. С первых дней моей дружбы с Государыней, в 1905 году, Государыня предупредила меня, что если я хочу быть ее другом, то я должна обещать ей никогда не заниматься спиритизмом, так как «это большой грех». На это я ответила, что Государыня может быть спокойна, так как я никогда этим вопросом не интересовалась. Государыня с интересом читала религиозные книги на всех языках, интересовалась религиями всего мира, читала переводы книг персидских и индийских религий и т. д. Первую книгу, которую она дала мне в 1905 году, носила название «Les amis de Dieu», [18] сочинение XIV столетия. Я тогда с трудом одолела эту книгу. Их Величества говорили, что они верят, что есть люди, как во времена Апостолов, не непременно священники, которые обладают благодатью Божией и молитву которых Господь слышит. К числу таких людей, по их убеждению, принадлежал и М. Philippe, доктор философии, француз, который бывал у Их Величеств. Они познакомились с ним у Великой Княгини Милицы Николаевны, и он умер до моего знакомства с Государыней. Я не знала его лично и потому не могу о нем судить. Я только слыхала от Их Величеств, что М. Philippe до своей смерти предрек им, что у них будет «другой друг, который будет говорить с ними о Боге». Впоследствии появление Распутина, или Григория Ефимовича, как его называли, они сочли за осуществление предсказания М. Philippe об ином друге. Григория Ефимовича ввел в дом Великих Княгинь Милицы и Станы Николаевны епископ Феофан, который был очень заинтересован этим необыкновенным странником. Их Величества в то время находились в тесной дружбе с этими Великими Княгинями. По рассказам Государыни, их поражали ум и начитанность Великой, Княгини Милицы Николаевны, которую близкие считали чуть ли не пророчицей. У нее Их Величества познакомились с Распутиным, и там же они стали с ним изредка видаться. Ее Величество рассказывала мне о глубоком впечатлении, которое произвел на них сибирский странник, — да и не только на них одних. Она рассказывала о том, как Столыпин позвал его к себе после взрыва в его доме — помолиться над его больной дочерью.

За месяц до моей свадьбы Ее Величество просила Великую Княгиню Милицу Николаевну познакомить меня с Распутиным. Приняла она меня в своем дворце на Английской набережной, была ласкова и час или два говорила со мной на религиозные темы. Помню, что я очень волновалась, когда доложили о приходе Распутина. «Не удивляйтесь, — сказала она, — я с ним всегда христосуюсь». Вошел Григорий Ефимович, худой, с бледным, изможденным лицом, в черной сибирке; глаза его, необыкновенно пронизательные, сразу меня поразили и напомнили глаза о. Иоанна Кронштадтского. «Попросите, чтобы он помолился о чем-нибудь в особенности», — сказала Великая Княгиня по-французски. Я просила его помолиться, чтобы я всю жизнь могла положить на служение Их Величествам. «Так и будет», — ответил он, и я ушла домой. Через месяц я написала Великой Княгине, прося ее спросить Распутина о моей свадьбе. Она ответила мне, что Распутин сказал, что я выйду замуж, но счастья в моей жизни не будет. Особенного внимания на это письмо я не обратила.

Приблизительно через год я вновь встретила Распутина в поезде по дороге в Царское Село. Он ехал навещать семью одного из офицеров охраны.

Но, спросит читатель, когда же он стал таким, каким его знает весь мир? Когда приобрел он такое исключительное влияние? Чтобы ответить на этот вопрос, надо подробно описать моральное состояние русского общества этой эпохи, вполне ненормальное и доходившее до истеричности. Скажу об этом впоследствии, а теперь в виде подтверждения моих слов расскажу, что я лично пережила после того, как меня арестовал Керенский весной 1917 года и я предстала в первый раз перед Чрезвычайной Следственной Комиссией Временного правительства.

Меня вывели полумертвую, после долгого заключения, из камеры № 70 Трубецкого бастиона в комнату, где сидели за огромным зеленым столом человек 20 мудрых старцев-судей, грозно взиравших на мою особу. Вблизи стола какие-то барышни-машинистки в нарядных кофточках переговаривались и потихоньку хихикали. Я же сидела одна против них на скамье подсудимых, окруженная вооруженными солдатами, терла виски, так как голова нетерпимо кружилась от голода и душа разрывалась от невыплаканных слез. «Итак, скажите нам, — сказал председатель этого мудрого собрания, — кого Распутин называл цветком?» Или я сошла с ума, сидя в Трубецком бастионе, или они все сошли с ума, но я никогда не забуду этого вопроса. Я смотрела на этого человека, ничего не отвечая, и взгляд ли мой удивил его, или вопрос, который он мне задал, показался ему не столь важным, но он замолчал. После перешептывания последовал второй вопрос. «Это что за секретная карта, найденная у вас при обыске?» — грозно сказал один из судей, протягивая мне меню завтрака на «Штандарте» 1908 года, на оборотной стороне которого было обозначено расположение судов во время смотра в Кронштадте. Маленькой короной было обозначено место стоянки Императорской яхты. «Посмотрите на год», — ответила я. — «Правда, 1908-й?» Третий вопрос: «Правда ли, что бывшая Государыня не могла без вас жить?» Зеленый стол с судьями кружился в утомленных глазах... Я отвечала: «Ах, господин председатель, как может счастливая мать и жена не жить, не видясь с подругой?!» «Можете идти», — сказал председатель, приказав держать «еще строже», так как я не хотела «говорить» на допросе. Вот пример умственного состояния русских до и после революции.

Вопрос о Распутине очень похож на этот допрос. Распутиным воспользовались как поводом для разрушения всех прежних устоев; он как бы олицетворял собой все то, что стало ненавистным русскому обществу, которое, как я уже писала, утратило всякое равновесие; он стал символом их ненависти. И на эту удочку словили всех — и мудрых и глупых, и бедных и богатых. Но громче всех кричала аристократия и Великие Князья, и рубили сук, на котором сами сидели. Как пишет английский писатель Dillon в своей книге *Eclipse of Russia* [19] p. 196: «It is my

believe that though his friends were influential, Rasputine was a symbol». [20] Россия, как и Франция XVIII столетия, прошла через период полного сумасшествия, и только теперь через страдания и слезы начинает поправляться от своего тяжелого заболевания. Плачут и проклинают большевиков. Большевики — большевиками, но рука Господня страшна. На людях можно казаться добрым и благочестивым и легко обижать и клеветать на невинных, но есть Бог. И если кто теперь потерял близких или родных, или голодает, или томится на чужбине, и мы видим, что погибает дорогая Родина и миллионы наших соотечественников от голода и террора, то не надо забывать, что Богу не было трудно сохранить их жизнь и дать все potřebное, так как у Бога невозможного нет. Но чем скорее каждый пороется в своей совести и сознает свою вину перед Богом, Царем и Россией, тем скорее Господь прострет Свою крепкую руку и избавит нас от тяжких испытаний. «Аз есмь Бог отмщения и Аз воздам».

Все книги полны о влиянии Распутина на государственные дела, и утверждают, что Распутин постоянно находился при Их Величествах. Вероятно, если бы я стала это опровергать, то никто бы не поверил. Обращу только внимание на то, что каждый его шаг со времени знакомства Их Величеств у Великой Княгини Милицы Николаевны до его убийства в юсуповском доме записывался полицией. О так называемой «охране» читатель, вероятно, слышал, но об организованной охране Их Величеств трудно себе вообразить. У Их Величеств были три рода охраны: «дворцовая полиция, конвой и сводный полк». Всем этим заведовал дворцовый комендант. Последним до 1917 года был генерал Воейков. Никто не мог быть принятым Их Величествами или даже подойти ко Дворцу без ведома дворцовой полиции. Каждый из них, а также все солдаты сводного полка на главных постах вели точную запись лиц, проходивших и проезжавших. Кроме того они были обязаны сообщать по телефону дежурному офицеру Сводного полка о каждом человеке, проходившем во Дворец. Каждый шаг Их Величеств записывался. Если Государыня заказывала экипаж к известному часу, камердинер передавал по телефону на конюшню, о чем сейчас же докладывалось дворцовому коменданту, который передавал приказание быть начеку всей полиции: что-де экипаж заказан к 2 часам. Это значило, что везде выходила полиция тайная и явная, со своими записями, следя за каждым шагом Государыни. Стоило ей остановиться где или поговорить со знакомыми, чтобы этих несчастных сразу обступила после полиция, спрашивая фамилию и повод их разговора с Государыней.

Всем сердцем Государыня ненавидела эту «охрану», которую она называла шпионажем, но была бессильна изменить раз заведенные порядки. Если я говорю, что Распутин приезжал 2 или 3 раза в год к Их Величествам, — последнее время они, может быть, видели его 4 или 5 раз в год, — то можно проверить по точным записям этих полицейских книг, говорю ли я правду. В 1916 году — год его смерти — лично Государь видел его два раза. Но Их Величества делали одну ошибку, окружая посещения Григория Ефимовича «тайной». Это послужило поводом к разговорам; то же они делали, видя М. Philippe, что вызвало разговор, что Их Величества вертят столы. Каждый человек любит иметь некоторую интимность и хочет иногда остаться один со своими мыслями или молитвами, закрыть двери своей комнаты. То же было у Их Величеств по отношению к Распутину, который был для них олицетворением надежд и молитв. Они на час забывали о земном, слушая рассказы о его странствованиях и т. д. Проводили его каким-нибудь боковым ходом по маленькой лестнице, принимали не в большой приемной, а в кабинете Ее Величества, предварительно пройдя по крайней мере 40 постов полиции и охраны с записями. Эта часовая беседа наделявала шуму на год среди придворных. Я несколько раз указывала Ее Величеству, что подобный прием вызывает гораздо больше разговоров: Императрица соглашалась, но следующий раз повторялось то же. Секретов потому во дворце не существовало. Принимали его обыкновенно вечером, но это не из-за тайны, а потому, что это было единственное время, когда Государь был свободен.

Алексей Николаевич приходил до сна в голубом халатике посидеть с родителями и повидать Григория Ефимовича. Все они, по русскому обычаю, 3 раза целовались и потом садились беседовать. Он им рассказывал про Сибирь и нужды крестьян, о своих странствованиях. Их Величества всегда говорили о здоровье Наследника и о заботах, которые в ту минуту их беспокоили. Когда после часовой беседы с Семьей он уходил, он всегда оставлял Их Величества веселыми, с радостными упованиями и надеждой в душе; до последней минуты они верили в его молитву и еще из Тобольска мне писали, что Россия страдает за его убийство. Никто никогда не мог поколебать их доверия, хотя все враждебные газетные статьи им приносились и все старались им доказать, что он дурной человек. Ответ был один: «Его ненавидят, потому что мы его любим». Так что «заступаться» за него, как обо мне писали, мне, очевидно, не приходилось.

Хотя, как я сказала, Ее Величество доверяла ему, но два раза она посылала меня с другими к нему на родину, чтобы посмотреть, как он живет у себя в селе Покровском. Конечно, нужно было бы выбирать кого-нибудь опытнее и умнее меня, более способного дать о нем критический отзыв; я же поехала, ни в чем не сомневаясь, с радостью исполняя желание дорогой Государыни, и доложила, что я видела. Поехала я со старой г. Орловой, моей горничной и еще двумя дамами. Мать, разумеется, меня не очень охотно отпускала. Из Тюмени до Покровского ехали 80 верст в тарантасе. Григорий Ефимович встретил нас и сам правил сильными лошадами, которые катили нас по пыльной дороге через необъятную ширь сибирских полей. Подъехали к деревянному домику в 2 этажа, как все дома в селах, через которые мы проезжали, и меня поразило, как сравнительно зажиточно живут сибирские крестьяне.

Встретила нас его жена — симпатичная пожилая женщина, трое детей, две немолодые девушки-работницы и дедушка рыбак. Все три ночи мы, гости, спали в довольно большой комнате наверху, на тюфяках, которые расстилали на полу. В углу было несколько больших икон, перед которыми теплились лампы. Внизу, в длинной темной комнате с большим столом и лавками по стенам обедали; там была огромная икона Казанской Божией Матери, которую они считали чудотворной. Вечером перед ней собиралась вся семья и «братья» (так называли четырех других мужиков — рыбаков), все вместе пели молитвы и каноны.

Водили нас на берег реки, где неводами ловили массу рыбы и тут же, еще живую и трепетавшую, чистили и варили из нее уху; пока ловили рыбу, все время пели псалмы и молитвы. Ходили в гости в семьи «братьев». Везде сибирское угощение: белые булки с изюмом и вареньем, кедровые орехи и пироги с рыбой. Крестьяне относились к гостям Распутина с любопытством, к нему же безразлично, а священники враждебно. Был Успенский пост, молока и молочного в этот раз нигде не ели; Григорий Ефимович никогда ни мяса, ни молочного не ел. По возвращении я рассказала все, что видела.

В 1915 году я еще раз ездила в Сибирь. В этот раз с моей подругой Лили Дэн и другими и со своим санитаром, так как была на костылях. В этот раз ехали мы на пароходе по реке Туре из Тюмени до Тобольска на поклон мощам святителя Иоанна. В Тобольске останавливалась в доме губернатора, где впоследствии жили Их Величества. Это был большой белый каменный дом на берегу реки — под горой; большие комнаты, обильно меблированные, но зимой, вероятно, холодные. На обратном пути останавливались в Покровском. Опять ловили рыбу и ходили в гости к тем же крестьянам. Григорий Ефимович же и его семья целый день работали в доме и в поле. Оба раза на обратном пути заезжали в Верхотурский монастырь на Урале, где говели и поклонялись мощам св. Симеона. Посещали также скит, находившийся в лесу, в 12 верстах от монастыря; там жил прозорливый старец отец Макарий, к которому многие ездили из Сибири. Интересны были беседы между ним и Распутиным.

Вспоминаю случай на одной из маленьких станций на Урале, который не могу объяснить. Стояли два поезда теплушек с китайцами-рабочими, ехавшими в Россию. Увидя Григория Ефимовича у вагона, вся толпа китайцев кинулась к нему, его окружили, причем каждый старался до него добраться. Напрасно уговаривали их старшины... Публика высыпала из вагонов посмотреть, что будет, но наш поезд тронулся. Китайцы провожали его восклицаниями, махая руками.

Самое сильное озлобление на Распутина поднялось в два или три последних года его жизни. Его квартира в Петрограде, где он проводил всего больше времени, была переполнена всевозможной беднотой и разными просителями, которые, воображая себе, что он имеет огромную власть и влияние при Дворе, приходили к нему со своими нуждами. Григорий Ефимович, перебегая от одного к другому, безграмотной рукой писал на бумажках разным влиятельным лицам записки всегда почти одного содержания: «милый, дорогой, прими» или «милый, дорогой выслушай». Несчастные не знали, что менее всего могли рассчитывать на успех, прося через него, так как все относились к нему отрицательно. Одно из самых трудных поручений Государыни — большей частью из-за болезни Алексея Николаевича — это было ездить на квартиру Григория Ефимовича, всегда полную просителями и часто — проходимцами, которые сейчас же обступали меня и не верили, что я ни в чем помочь им не могу, так как я считалась чуть ли не всемогущей. Все эти прошения, которые шли через Григория Ефимовича и которые он привозил в последние годы в карманах к Их Величествам, только их сердили; они складывали их в общий пакет на имя графа Ростовцева, который рассматривал их и давал им законный ход. Но, конечно, это создавало массу разговоров, и я помню, как благомыслящие люди просили Их Величества дать Григорию Ефимовичу келью в Александро-Невской Лавре или другом монастыре, дабы там оградить его от толпы, газетных репортеров и всяких проходимцев, которые впоследствии, чтобы очернить Их величества, пользовались его простотой, увозили с собой и напавляли его; но Их Величества тогда не обратили внимания на эти советы. Как-то раз, идя к нему, я встретила на лестнице бедного студента, который просил меня купить ему пальто. Единственное письмо, полученное мною по почте в Петропавловской крепости, было от этого студента, который молился о моем освобождении. Это был один из немногих, приходивших в квартиру Распутина, который оставил после себя приятное воспоминание.

Глава 13

Существует фотография, которая была воспроизведена в России, а также в Европе и Америке. Фотография эта представляет Распутина сидящим в виде оракула среди дам-аристократок своего «гарема» и как бы подтверждает огромное влияние, которое будто бы имел он в придворных кругах. Но я думаю, что никакая Женщина, если бы даже и захотела, не могла бы им увлечься; ни я, и никто, кто знал его близко, не слышали о таковой, хотя его постоянно обвиняли в разврате. Станным кажется еще тот факт, что, когда после революции начала действовать следственная комиссия, не оказалось ни одной женщины в Петрограде, которая выступила бы с обвинениями против него; сведения черпались из записей «охранников», которые были приставлены к нему.

Я могу дать объяснение этого снимка, так как сама изображена на нем. В первые годы к Григорию Ефимовичу приходили только те люди, которые, как и Их Величества, искали разъяснения по разным религиозным вопросам; после ранней обедни в каком-нибудь монастыре, причастившись Святых Таин, богомольцы собирались вокруг него, слушая его беседы, и я, всегда «искавшая» религиозное настроение и утешение после вечных интриг и зла придворной обстановки, с интересом слушала необыкновенные беседы человека, совсем не ученого, но говорившего так, что и ученые профессора и священники находили интересным

его слушать. Несмотря на то, что он был человек безграмотный, он знал все Священное Писание и его беседы отличались оригинальностью, так что, повторяю, привлекали немало людей образованных и начитанных, каковыми были, бесспорно, епископы Феофан и Гермоген, Великая Княгиня Милица Николаевна и др. Приходили к нему и с разными нуждами, и ищущие утешения. Нужде всякой он помогал, то есть отдавал все, что у него было, и утешал советами и объяснениями тех, кто приходил к нему поделиться своими заботами. Терпеливо выслушивал разных дам, которые являлись по сердечным вопросам, всегда строго порицая греховные дела.

Расскажу случай с одной моей близкой знакомой, который объяснит, как он смотрел на жизнь, а также его некоторую прозорливость и чуткость — пусть каждый назовет как хочет. Одна молоденькая дама однажды при мне заехала к Григорию Ефимовичу по дороге на свидание со своим другом. Григорий Ефимович, посмотрев на нее пристально, стал рассказывать, как на одной станции монах угощал его чаем, спрятав бутылку вина под столом, и, называя его «святым», задавал вопросы. «Я «святой», — закричал Григорий Ефимович, ударив кулаком по столу, — и ты просишь меня тебе помочь; а зачем же ты прячешь бутылку вина под столом». Дама побледнела и растерянно стала прощаться.

Помню, как в церкви подошел к нему почтовый чиновник и просил помолиться о больной. «Ты меня не проси, — ответил он, — а молись св. Ксении». Чиновник в испуге и удивлении вскрикнул: «Как вы могли знать, что жену мою зовут Ксенией». Подобных случаев я могла бы рассказать сотни, но их, пожалуй, так или иначе можно объяснить, но гораздо удивительнее то, что все, что он говорил о будущем, сбывалось...

Трудно также объяснить себе, как он помогал больным. Следующий факт из жизни Наследника тронет сердце каждой матери. Все знают, что во время постоянных заболеваний Алексея Николаевича Их Величества всегда обращались к Распутину, веря, что его молитва поможет бедному мальчику. В 1915 году, когда Государь встал во главе армии, он уехал в Ставку, взяв Алексея Николаевича с собой. В расстоянии нескольких часов пути от Царского Села у Алексея Николаевича началось кровоизлияние носом. Доктор Деревенко, который постоянно его сопровождал, старался остановить кровь, но ничто не помогало, и положение становилось настолько грозным, что Деревенко решился просить Государя вернуть поезд обратно, так как Алексей Николаевич истекает кровью. Какие мучительные часы провела Императрица, ожидая их возвращения, так как подобного кровоизлияния больше всего опасались. С огромными предосторожностями перенесли его из поезда. Я видела его, когда он лежал в детской: маленькое, восковое лицо, в ноздрях окровавленная вата; Профессор Федоров и доктор Деревенко возились около него, но кровь не унималась. Федоров сказал мне, что он хочет попробовать последнее средство — это достать какую-то железу из морских свинок. Императрица стояла на коленях около кровати, ломая себе голову, что дальше предпринять. Вернувшись домой, я получила от нее записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича. Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил Наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет и им нечего беспокоиться, повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось. Государь на следующий день уехал в Ставку. Доктора говорили, что они совершенно не понимают, как это произошло. Но это — факт. Поняв душевное состояние родителей, можно понять и отношение их к Распутину; у каждого человека есть свои предрассудки, и когда наступают тяжелые минуты в жизни, каждый переживает их по-своему; но самые близкие не хотели понять положения и, поняв, объяснить тем, кого заведомо вводили в заблуждение.

Что касается денег, то Распутин никаких денег от Их Величеств не принимал, никогда от них никаких денежных сумм не получал, за исключением сотни рублей, которые посылали ему иногда на извозчика. Вообще деньги в его жизни не играли роли: если ему давали, он сразу же

их раздавал. Семья его после его смерти осталась в полной нищете.

В 1913 году, помню, министр финансов Коковцев, который, как и все, не любил Распутина, предложил ему 200 000 рублей с тем, чтобы он уехал из Петербурга и не возвращался. Предложение это обидело Григория Ефимовича. Он ответил, что если «Папа» и «Мама» хотят, то он, конечно, уедет, но зачем же его покупать. Знаю много случаев, когда он помогал во время болезней, но помню также, что он не любил, когда его просили помолиться о больных младенцах, говоря: «Жизнь вымолишь, но примешь ли ты на себя грехи, которые ребенок натворит в жизни».

Вспоминаю также эпизоды с одним из знаменитых врагов Распутина, монахом Иллиодором. О нем, вероятно, много слышал читатель: как он в конце всех своих приключений снял рясу, женился и жил за границей. По моему мнению, он безусловно, был ненормальный человек. Этот самый Иллиодор затеял два покушения на Распутина. Первое ему удалось, когда некая женщина Гусева ранила его ножом в живот — в Покровском. Это было в 1914 году за несколько недель до начала войны. Второе покушение было устроено министром Хвостовым с этим же Иллиодором, но последний послал свою жену в Петроград со всеми документами и выдал заговор. Все эти личности вроде Хвостова смотрели на Распутина как на орудие к осуществлению их заветных желаний, воображая через него получить те или иные милости. В случае неудачи они становились его врагами. Так было с Великими Князьями, епископами Гермогеном, Феофаном и другими. Я уверена, что Иллиодор также ненавидел Государыню и написал одну из самых грязных книг о Царской Семье. Прежде чем издать ее, он сделал Государыне письменное предложение — купить эту книгу за 60 000 рублей, грозя в противном случае издать ее в Америке. Помню, это было в Ставке в 1916 году. Государыня возмутилась этим предложением, заявив, что пусть Иллиодор пишет, что он хочет, и на бумаге написала: «Отклонить». В последнее время Иллиодор живет в России и, кажется, в прекрасных отношениях с коммунистами, зарекомендовав себя нападками на Церковь и духовенство. При Временном правительстве много говорили, что брат его занимался выдачей заграничных паспортов.

Но какое же влияние имел Распутин на политику? Ведь те, кто убили его, между прочим, освобождали Россию от «германского агента», который втягивал Их Величества и Россию в сепаратный мир и т. д... Письма Государыни доказывают, как Их Величества смотрели на вопрос о мире. И если я пишу, то пишу для выяснения правды и для будущего суда истории, а потому пишу все, как было. Последние годы всевозможные министры, журналисты и т. д. ездили к Распутину, и если бы он хотел, то ему, конечно, немало представлялось случаев вмешиваться в политику, но теперь и судебное расследование Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного правительства доказало, что политикой он не занимался. Точно так же и у Их Величеств разговоры с ним были всегда на отвлеченные темы и о здоровье маленького Наследника. Вспоминаю только один случай, когда действительно Григорий Ефимович оказал влияние на внешнюю политику. Это было в 1912 году, когда Великий Князь Николай Николаевич и его супруга старались склонить Государя принять участие в Балканской войне. Распутин, чуть ли не на коленях перед Государем, умолял его этого не делать, говоря, что враги России только и ждут того, чтобы Россия ввязалась в эту войну, и что Россию постигнет неминуемое несчастье.

Как я уже писала, в начале войны с Германией Григорий Ефимович лежал, раненный Гусевой, в Покровском. Он тогда послал две телеграммы Его Величеству, умоляя «не затевать войны». Он и ранее часто говорил Их Величествам, что с войной все будет кончено для России и для них. Государь, уверенный в победоносном окончании войны, тогда разорвал Телеграмму и с начала войны, как мне лично казалось, относился холодно к Григорию Ефимовичу.

Последний раз государь видел Распутина у меня в доме в Царском Селе, куда, по приказанию Их Величеств, я вызвала его. Это было приблизительно за месяц до его убийства. Здесь я убедилась лишний раз, каким пустым вымыслом был пресловутый разговор о желании сепаратного мира, о котором клеветники распространяли молву, указывая, что это желание — то Государя, то Распутина, Штюмерера или других. Государь приехал озабоченный и, сев, сказал: «Ну, Григорий, помолись хорошенько; мне кажется, что сама природа идет против нас сейчас». Он рассказывал, что из-за снежных заносов не успевают подвозить хлеб в Петроград. Григорий Ефимович ободрил его, сказав, что главное — не надо заключать мира, так как та страна победит, которая покажет более стойкости и терпения. Государь согласился с этим, заметив, что у него есть сведения, что и в Германии сейчас плохо с продовольствием. Затем Григорий Ефимович указал, что надо думать о том, как бы обеспечить всех сирот и инвалидов: после войны, чтобы «никто не остался обиженным: ведь каждый отдал тебе все, что имел самого дорогого». Когда Их Величества встали, чтобы проститься с ним, Государь сказал, как всегда: «Григорий, перекрести нас всех». — «Сегодня ты благослови меня», — ответил Григорий Ефимович, что Государь и сделал. Чувствовал ли Распутин, что он видит их в последний раз, не знаю; утверждать, что он предчувствовал события, не могу, хотя то, что он говорил, сбылось. Я лично описываю только то, что слышала, и каким видала его.

Со своей смертью Распутин ставил в связь большие бедствия для Их Величеств. Последние месяцы он все ожидал, что его скоро убьют.

Свидетельствую страданиями, которые я переживала, что я лично за все годы ничего непристойного не видела и не слыхала о нем, а, наоборот, многое из сказанного во время этих бесед помогло мне нести крест поруганья и клеветы, Господом на меня возложенный. Распутина считали и считают злодеем без доказательства его злодеяний. За его бесчисленные злодеяния его убили — без суда, несмотря на то, что самым большим преступникам во всех государствах полагается арест и суд, а уж после — казнь...

Владимир Михайлович Руднев, производивший следствие при Временном правительстве, был один из немногих, который старался распутать дело о «темных силах» и выставить Распутина в настоящем свете, но и ему было трудно: Распутин был убит, а русское общество было психически расстроено, так что мало кто судил здраво и хладнокровно. В следствии Руднева заметно, как при самых лучших намерениях он часто смешивает показания и свидетельства с личными выводами. Но брошюра его очень ценна, потому что он единственный имел гражданское мужество ради истины встать на точку зрения здравомыслящего человека, не заразившись стадным мнением русского общества в 1917 году. Он изложил все факты, касающиеся Распутина так, как они казались ему наиболее правдивыми. Честный и беспристрастный судья — Руднев не мог оставаться в Чрезвычайной комиссии, где Муравьев заставлял его действовать против его убеждений и совести.

Не знаю, писал ли еще кто-нибудь из других членов Комиссии. Я всегда сожалела, что, если Распутина считали виноватым, его не судили, как следует, со свидетелями и т. д. Убийство же его — одна из самых темных страниц в истории русского общества, и вопрос о его виновности остается неразрешенным. Но какой бы смертью человек ни умер — от руки ли убийц или своей смертью, — от Божьего суда никто не уйдет, и каков бы человек ни был — Господь ему Единый Праведный Судья.

Я тоже глубоко сожалею о том, что Руднев лично не видал его и не имел случая беседовать с ним, как он говорил со мной. Меня он допрашивал не более как 15 раз (по 4 часа каждый раз). Помню, как добросовестно он старался ради исторической правды отделить факты от массы истеричных сплетен. В его докладе обо мне есть, однако же, маленькая неточность в числах и небольшая несправедливость. Он говорит о моей «болтливости» и «перепрыгивании с одного

сюжета на другой». Я часто задавала себе вопрос: если бы самый ученый судья просидел в Трубецком бастионе столько месяцев, все время страдая от побоев и оскорблений телесных и душевных, и потом бы его привели на допрос, дав возможность в первый раз оправдывать себя, стал ли бы он говорить с полным спокойствием. Но я не жалуюсь, а только всей душой благодарю Бога, что нашелся единственный порядочный русский человек, который имел смелость сказать правду, — все же другие, члены Императорской фамилии и высшего общества, которые знали меня с детства, танцевали со мной на придворных балах, знали долгую, честную и беспорочную службу моего дорого отца, — все беспощадно меня оклеветали, выставляя меня какой-то проходимкой, которая сумела пролезть к Государыне и ее опутать.

Когда начались гонения на Распутина и в обществе стали возмущаться его мнимым влиянием, все отrekliсь от меня и кричали, что я познакомила его с Их Величествами. Легко было свалить вину на беззащитную женщину, которая не смела и не могла выразить неудовольствие... Они же, сильные мира сего, спрятались за спину этой женщины, закрывая глаза и уши всем на тот факт, что не я, а Великие Князья Николай Николаевич и Петр Николаевич с их женами привели во дворец сибирского странника. Не будь этого, он жил бы, никому не мешая, в своей далекой родине.

Читая записки Палеолога, я нашла в них много вымышленного насчет разговоров, касающихся моей личности. Равным образом автор неточно передал о своем знакомстве с Распутиным. Так как свидание происходило в доме моей сестры, то я имею возможность внести существенную поправку в его рассказ. Палеолог приехал в дом сестры с княгиней Палей (*belle mere* [21] моей сестры), желая с ним лично познакомиться. При свидании княгиня Палей служила переводчицей слов Распутина; после почти часовой беседы Палеолог встал и расцеловался с ним, сказав: «*voilà un veritable illumine*». [22]

Глава 14

Последующие два месяца после убийства Распутина Государь оставался в Царском Селе. Он был поглощен заботами о войне, и Их Величества глубоко верили в блестящее ее окончание. О мире, повторяю, ничего не хотели слышать, были планы и надежды победоносно окончить войну весной, так как сведения о тяжелом продовольственном положении в Турции и Германии подтверждались. С середины декабря до конца февраля было затишье на фронте, и Государь находил свое присутствие в Ставке излишним. Он получал каждый день к вечеру сведения по прямому проводу. В бильярдной Государя были военные карты; никто не смел входить туда: ни Императрица, ни дети, ни прислуга. Ключи находились у Государя. Когда начались снежные заносы, вопрос о продовольствии сильно волновал Их Величества.

В это же время Великий Князь Александр Михайлович писал письмо за письмом, требуя свидания с Императрицей для личных объяснений. Писал он и Великой Княжне Ольге Николаевне о том же. Императрица сперва не хотела принять его, зная, что начнется разговор о политике, Распутине и т. д. Кроме того, она заболела. Так как Великий Князь настаивал на свидании, то Государыня приняла его, лежа в кровати. Государь хотел быть в той же комнате, чтобы в случае неприятного разговора не оставить ее одну. Дежурным был в тот день флигель-адъютант Линевиц. После завтрака он остался с Великой Княжной Татьяной Николаевной в кабинете Императрицы, в соседстве со спальней Государыни, во время приема Их Величествами Великого Князя на тот случай, если бы ему понадобилось кинуться на помощь Государыне: так обострились отношения Великих Князей к Ее Величеству. Нового Великий Князь ничего не сказал, но потребовал увольнения Протопопова, ответственного министерства и устранения Государыни от управления государством. Государь отвечал, как рассказывал

после; что, пока немцы на русской земле, он никаких реформ проводить не будет. Великий Князь ушел чернее ночи и, вместо того чтобы уехать из дворца, отправился в большую библиотеку, потребовал себе перо и чернила и сел писать письмо. Дежурный флигель-адъютант не покидал его. Великий Князь заметил ему, что он может уходить, на что последний возразил, что обязанность дежурного флигель-адъютанта — оставаться при Великом Князе. Великий Князь писал долго. Окончив, он передал письмо на имя Великого Князя Михаила Александровича и отбыл.

На другой день ко мне приехал Герцог Александр Георгиевич Лейхтенбергский. Взволнованный, он просил меня передать Его Величеству его просьбу, от исхода которой, по его мнению, зависело единственное спасение Царской Семьи, а именно: чтобы Государь потребовал вторичной присяги ему всей Императорской Фамилии. Я ответила тогда, что я не могу об этом говорить с Их Величествами, но умоляла его сделать это лично. О разговоре Государя с Герцогом Александром Георгиевичем, одним из самых благородных людей, я узнала от Государыни только то, что Государь сказал Ее Величеству: «Напрасно Сандро так беспокоится о пустяках! Я не могу обижать мою Семью, требуя от них присяги!»

Еще один человек предупреждал о той грозе, которая вскоре разразилась над головами Их Величеств. Это — некий Тиханович, член Союза русского народа, который приехал из Саратова. Он стучался повсюду и, не добившись ничего, приехал в мой лазарет; он был совсем глухой. Он умолял меня устроить ему прием у Их Величеств, говоря, что привез доказательства и документы насчет опасной пропаганды, которая ведется союзами земств и городов с помощью Гучкова, Родзянко и других в целях свержения с престола Государя. К сожалению, Государь мне ответил, что он слишком занят, но велел Государыне принять его. После часового разговора с ним Государыня сказала, что она очень тронута его преданностью и искренним желанием помочь им, но находит, что опасения его преувеличены.

Чтобы немного отдохнуть от монотонности и развлечься, Их Величества пожелали услышать маленький румынский оркестр, который понравился им в одном из лазаретов. Я раза три приглашала их вечером к себе. Сюда приходили и Их Величества. По их приказанию я пригласила на концерт также Герцога Александра Георгиевича Лейхтенбергского, дочерей графа Фредерикса, г-жу Воейкову и Эмму, мою сестру с мужем, Лили Дэн, некоторых флигель-адъютантов и нескольких других лиц. Все мы с удовольствием слушали красивую игру румын, особенно же были довольны Государь и Великие Княжны.

Сидя между Их Величествами, помню, как я испугалась, когда увидела, что Государыня обливается слезами. Она сказала мне, что не может слушать музыку, что душа ее полна необъяснимой грустью и предчувствием. Наши три безобидных вечера подняли в петроградском обществе бурю злости — во дворце происходили, по их словам, «оргии!»...

Вероятно, все же Государь отчасти тревожился о своем семействе, когда высказывал сожаление, что в Петрограде и Царском Селе нет настоящих кадровых войск (в Петрограде стояли резервные полки), и выражал желание, чтобы полки гвардии поочередно приходили в Царское Село на отдых и, в случае нужды, думаю, чтобы предохранить от грозящих беспорядков. Первый приказ последовал Гвардейскому Экипажу выступить с фронта в Царское Село, но почти сейчас же получился контрордер от Главнокомандующего генерала Гурко, заменившего больного генерала Алексеева. Насколько я помню, командир полка испросил тогда дальнейших приказаний Государя через Дворцового коменданта. Государь вторично приказал Гвардейскому Экипажу следовать в Царское Село, но, не доходя Царского, снова полк был остановлен высшими властями под предлогом, кажется, карантина, и только после третьего приказания Его Величества полк прибыл в Царское Село. Государь вызвал и другие гвардейские части. Так, например, он приказал уланам Его Величества следовать в Царское.

Но Государь рассказывал, что приехавший генерал Гурко под разными предлогами отклонил приказание Государя.

Боялись ли, что Государь догадается о серьезном положении, не знаю, но стали торопить его уехать на фронт, чтобы потом совершить величайшее злодеяние. 19 или 20 февраля к Государю приехал Великий Князь Михаил Александрович и стал доказывать ему, что в армии растет большое неудовольствие по поводу того, что Государь живет в Царском и так долго отсутствует в Ставке. После этого разговора Государь решил уехать. Недовольство армии казалось Государю серьезным поводом спешить в Ставку, но одновременно он и Государыня узнали о других фактах, глубоко возмущивших их и которые их сильно обеспокоили. Государь заявил мне, что он знает из верного источника, что английский посол, сэр Бьюкенен, принимает деятельное участие в интригах против Их Величеств и что у него в посольстве чуть ли не заседания с Великими Князьями по этому случаю. Государь добавил, что он намерен послать телеграмму королю Георгу с просьбой воспретить английскому послу вмешиваться во внутреннюю политику России, усматривая в этом желание Англии устроить у нас революцию и тем ослабить страну ко времени мирных переговоров. Просить же об отозвании Бьюкенена Государь находил неудобным: «Это слишком резко», — как выразился Его Величество.

16 февраля, накануне отъезда Государя, у меня обедали 2 или 3 офицера Гвардейского Экипажа, приехавшие с фронта, и моя подруга г-жа Дэн. Во время обеда я получила записку от Императрицы, которая приглашала нас всех провести вечер у Их Величеств. Государь пришел очень расстроенный. Может быть, другие и не заметили, но я хорошо знала его. Пили чай в новой комнате за круглым столом. На другой день утром, придя к Государыне, я застала ее в слезах. Она сообщила мне, что Государь уезжает. Простилась с ним, по обыкновению, в зеленой гостиной Государыни. Императрица была страшно расстроена. На мои замечания о тяжелом положении и готовившихся беспорядках Государь мне ответил, что прощается ненадолго, что через десять дней вернется. Я вышла потом на четвертый подъезд, чтобы увидеть проезжавший мотор Их Величеств. Он промчался на станцию при обычном трезвоне колоколов Феодоровского собора.

Мне в этот день очень нездоровилось. Утром я с трудом занималась в моем лазарете, во время операции еле держалась на ногах, но тяжелобольной не хотел без меня подвергаться операции, и пока я держала руку солдата, сама чуть не свалилась. Проводив Государя, я легла, написав Государыне, что не могу прийти к чаю. Вечером пришла Татьяна Николаевна с известием, что у Алексея Николаевича и Ольги Николаевны — корь. Заразились они от маленького кадета, который приезжал играть с Наследником десять дней тому назад. Мы с Императрицей долго сидели в этот день у детей, так как у Великой Княжны Ольги Николаевны было воспаление уха. Кадет подозрительно кашлял и на другой день заболел корью. Для себя я не верила в возможность заразы. Несмотря на сильный жар, на другой день, 22 февраля, я превозмогла себя и встала к обеду, когда приехала моя подруга Лили Дэн. Вечером Императрица с девочками пришла к нам, но у меня сильно кружилась голова, и я еле могла разговаривать. На следующий день Императрица нашла, что у меня появились подозрительные пятна на лице, привела докторов Боткина и Полякова, которые определили корь в очень сильной форме; заболела и Великая Княжна Татьяна Николаевна. Дорогая Императрица, забыв все свои недуги, надев белый халат, разрывалась между детьми и мною.

Вспоминаю, что в полусне я видела Государыню постоянно возле моей постели: то она приготовляла питье, то поправляла подушки, то говорила с доктором. Подозрительно стали кашлять Мария и Анастасия Николаевны. В полузабытьи я видела родителей и сестру и помню, как долетали до меня их разговоры с Государыней о каких-то беспорядках и бунтах в Петрограде, но о первых днях революции и восстании резервных полков я вначале ничего не знала. Знаю одно, что, несмотря на все происходившее, Государыня была вполне спокойна и

мужественно выслушивала все доходившие до нее известия. Когда моя сестра пришла и рассказывала Государыне о происходившем в Петрограде, говоря, что пришел всему конец, Императрица только улыбнулась и старалась успокоить мою сестру.

Ее Величество рассказывала мне после, что преданный им Великий Князь Павел Александрович первый привез ей официальное известие о революции... Революция в стране во время мировой войны!.. И тут Ее Величества не потеряла присутствия духа. Сознавая, что ничего спасти нельзя, из министров она никого не вызывала и к посольствам с просьбой о защите ее и детей не обращалась, а со спокойствием и достоинством прощалась с приближенными, которые понемногу все нас покидали. Одни из боязни за себя, других же арестовывали. Уехал граф Апраксин, генерал Ресин, ушли флигель-адъютанты, слуги, офицеры и, наконец, полки. После каждого прощания Государыня возвращалась, обливаясь слезами. Ушли от меня сестра милосердия, санитар Жук, доктора лазарета; спасались все, кто мог. Императрица не теряла голову, всех успокаивала, за всеми ходила, всех ободряла, будучи уверена, что Господь все делает к лучшему. Этому она учила не словами, а примером глубочайшего смирения и покорности воле Божией во всех грядущих событиях. Никто не слышал от нее слова ропота.

Никогда не забуду ночь, когда немногие верные полки (Сводный, Конвой Его Величества, Гвардейский Экипаж и Артиллерия) окружили дворец, так как бунтующие солдаты с пулеметами, грозя все разнести, толпами шли по улицам к Дворцу. Императрица вечером сидела у моей постели. Тихонько, завернувшись в белый платок, она вышла с Марией Николаевной к полкам, которые уже готовились покинуть дворец. И может быть, и они ушли бы в эту ночь, если бы не Государыня и ее храбрая дочка, которые со спокойствием до 12 часов обходили солдат, ободряя их словами и лаской, забывая при этом смертельную опасность, которой подвергались. Уходя, Императрица сказала моей матери: «Я иду к ним не как Государыня, а как простая сестра милосердия моих детей». Выйдя на подъезд, Императрица вспомнила, что я могу услышать, как полки отвечают на ее приветствие (от меня еще Государыня скрывала происшедшее) и приказала камердинеру сказать мне, что полки ожидают прибытия Государя... Даже в такую минуту она меня не забыла.

На следующий день полки с музыкой и знаменами ушли в Думу, Гвардейский экипаж под командой Великого Князя Кирилла Владимировича. Те же полки, те же люди, которые накануне приветствовали Государыню: «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!» Караулы ушли; по дворцу бродили кучки революционных солдат, которые с интересом все рассматривали, спрашивая у оставшихся слуг объяснения. Особенно их интересовал Алексей Николаевич. Они ворвались к нему в игральную, прося, чтобы им его показали. Императрица продолжала оставаться спокойной и говорила, что опасается только одного: чтобы не произошло кровопролития из-за Их Величеств.

Дня два-три мы не знали, где Государь. Наконец пришла телеграмма, в которой он просил, чтобы Ее Величество и дети выехали к нему. В то же время пришло от Родзянки по телефону «приказание» Ее Величеству с детьми выехать из Дворца. Императрица ответила, что никуда ехать не может, так как это для детей грозит гибелью, на что Родзянко ответил: «Когда дом горит — все выносят!» О предполагаемом отъезде Императрица пришла сказать мне вечером, она советовалась с доктором Боткиным, как перевезти меня в поезд; врачи были против поездки. Мы все-таки приготовились ехать, но ехать не пришлось.

Во время всех этих тяжелых переживаний пришло известие об отречении Государя. Я не могла быть с Государыней в эту ужасную минуту и увидела ее только на следующее утро. Мои родители сообщили мне об отречении. Я была слишком тяжело больна и слаба, так что в первую минуту почти не соображала, что случилось. Лили Дэн рассказывала мне, как Великий

Князь Павел Александрович приехал с этим страшным известием и как после разговора с ним Императрица, убитая горем, вернулась к себе, и г-жа Дэн кинулась ее поддержать, так как она чуть не упала. Опираясь на письменный стол, Государыня повторяла: «abdique» [23] (Лили не говорила тогда по-английски). «Мой бедный дорогой страдает совсем один... Боже, как он должен страдать!» Все сердце и душа Государыни были с ее супругом; она опасалась за его жизнь и боялась, что отнимут у нее сына. Вся надежда ее была на скорое возвращение Государя: она посылала ему телеграмму за телеграммой, умоляя его вернуться как можно скорее. Но телеграммы эти возвращались ей с телеграфа с надписью синим карандашом, что «местопребывание адресата неизвестно». Но и эта дерзость не поколебала ее душевного равновесия. Войдя ко мне, она с грустной улыбкой показала мне телеграмму, но, посмотрев на меня, пришла в раздражение, что я, узнав об отречении Государя от моих родителей, обливалась слезами; раздражалась не тем, что я плакала, а тем, что родители не исполнили ее волю, так как накануне она просила их не говорить об этом, думая сама подготовить меня. Но, оставшись одна, Императрица ужасно плакала. «Мама убивалась, — говорила мне потом Мария Николаевна, — и я тоже плакала; но после, ради мамы, я старалась улыбаться за чаем».

Никогда я не видела и, вероятно, никогда не увижу подобной нравственной выдержки, как у Ее Величества и ее детей. «Ты знаешь, Аня, с отречением Государя все кончено для России, — сказала Государыня, — но мы не должны винить ни русский народ, ни солдат: они не виноваты». Слишком хорошо знала Государыня, кто совершил это злодеяние.

Великие Княжны Ольга и Татьяна и Алексей Николаевич стали поправляться, как заболела последняя — Мария Николаевна. Императрица распорядилась, чтобы меня перенесли наверх в бывшую детскую Государя, так как не хотела проходить по пустым залам, откуда все караулы и слуги ушли. Фактически мы были арестованы. Уехали и мои родители, так как от моего отца требовали, чтобы он сдал канцелярию, теперь ненужную, Временному правительству, и князь Львов дал ему отставку.

Дни проходили, и не было известия от Государя. Ее Величество приходила в отчаяние. Помню, одна скромная жена офицера вызвалась доставить Государю письмо в Могилев и провезла благополучно; как она поехала и прошла к Государю, — не знаю. Императрица спала совсем одна во всем нижнем этаже; с трудом удалось г-же Дэн испросить разрешения лечь рядом в кабинете. Пока младшие Великие Княжны не заболели, одна из них ложилась на кровать Государя, другая на кушетку, чтобы не оставлять мать совсем одну.

В первый вечер, после перехода Дворца в руки революционных солдат, мы слышали стрельбу под окнами. Камердинер Волков пришел с докладом, что солдаты забавляются охотой в парке на любимых диких коз Государя. Жуткие часы мы переживали.

Пока кучки пьяных и дерзких солдат расхаживали по Дворцу, Императрица уничтожала все дорогие ей письма и дневники и собственноручно сожгла у меня в комнате шесть ящиков своих писем ко мне, не желая, чтобы они попали в руки злодеев.

Глава 15

Наше беспокойство о Государе окончилось утром 9 марта. Я лежала еще больная в постели, доктор Боткин только что посетил меня, как дверь быстро отворилась, и в комнату влетела г-жа Дэн, вся покрасневшая от волнения. «Он вернулся!» — воскликнула она и, запыхавшись, начала мне описывать приезд Государя, без обычной охраны, но в сопровождении вооруженных солдат. Государыня находилась в это время у Алексея Николаевича. Когда мотор подъехал к дворцу, она, по словам г-жи Дэн, радостная, выбежала навстречу Царю; как пятнадцатилетняя девочка, она быстро спустилась с лестницы и бежала по длинным

коридорам. В эту первую минуту радостного свидания, казалось, было позабыто все пережитое и неизвестное будущее... Но потом, как я впоследствии узнала, когда Их Величества остались одни, Государь, всеми оставленный и со всех сторон окруженный изменой, не мог не дать воли своему горю и своему волнению — и как ребенок рыдал перед своей женой.

Только в 4 часа дня пришла Государыня, и я тотчас поняла по ее бледному лицу и сдержанному выражению все, что она в эти часы вынесла. Гордо и спокойно она рассказала мне о всем, что было. Я была глубоко потрясена ее рассказом, так как за все 12 лет моего пребывания при дворе я только три раза видела слезы в глазах Государя. «Он теперь успокоился, — сказала она, — и гуляет в саду; посмотри в окно!» Она подвела меня к окну. Я никогда не забуду того, что увидела, когда мы обе, прижавшись друг к другу, в горе и смущении выглянули в окно. Мы были готовы сгореть от стыда за нашу бедную Родину. В саду, около самого дворца, стоял Царь всея Руси, и с ним преданный друг его, князь Долгорукий. Их окружало 6 солдат, вернее, 6 вооруженных хулиганов, которые все время толкали Государя, то кулаками, то прикладами, как будто бы он был какой-то преступник, прикрикивая: «Туда нельзя ходить, г-н полковник, вернитесь, когда вам говорят!» Государь совершенно спокойно на них посмотрел и вернулся во дворец.

В то время я еще была очень больна и едва держалась на ногах; у меня потемнело в глазах, и я лишилась чувств. Но Государыня не потеряла самообладания. Она уложила меня в постель, принесла холодной воды, и когда я открыла глаза, я увидела перед собой ее и чувствовала, как она нежно мочила мне голову холодной водой. Нельзя было себе вообразить, видя ее такой спокойной, как глубоко была она потрясена всем, виденным в окно. Перед тем как меня покинуть, она сказала мне, как ребенку:

«Если ты обещаешь быть умницей и не будешь плакать, то мы придем оба к тебе вечером».

И в самом деле, они оба пришли после обеда, вместе с г-жой Дэн. Государыня и г-жа Дэн сели к столу с рукоделием, а Государь сел около меня и начал мне рассказывать. Государь Николай II был доступен, конечно, как человек, всем человеческим слабостям и горестям, но в эту тяжелую минуту глубокой обиды и унижения я все же не могла убедить себя в том, что восторжествуют его враги; мне не верилось, что Государь, самый великодушный и честный из всей Семьи Романовых, будет осужден стать невинной жертвой своих родственников и подданных. Но Царь, с совершенно спокойным выражением глаз, подтвердил все это, добавив еще, что «если бы вся Россия на коленях просила его вернуться на престол, он бы никогда не вернулся». Слезы звучали в его голосе, когда он говорил о своих друзьях и родных, которым он больше всех доверял и которые оказались соучастниками в низвержении его с престола. Он показал мне телеграммы Брусилова, Алексеева и других генералов, от членов его Семьи, в том числе и Николая Николаевича: все просили Его Величества на коленях, для спасения России, отречься от престола. Но отречься в пользу кого? В пользу слабой и равнодушной Думы! Нет, в собственную их пользу, дабы, пользуясь именем и Царственным престижем Алексея Николаевича, правило бы и обогащалось избранное ими регентство!.. Но, по крайней мере, этого Государь не допустил! «Я не дам им моего сына, — сказал он с волнением. — Пусть они выбирают кого-нибудь другого, например, Михаила, если он почтет себя достаточно сильным!»

Я жалею, что не запомнила каждое слово Государя, когда он рассказывал о том, что происходило в поезде, когда прибыли депутаты из Думы с требованием его отречения. Я всеми силами старалась слушаться Государыни: «быть умницей и не плакать». Все же я помню, как мне Государь рассказал, что, когда делегаты отбыли, он сказал своим двум конвойным казакам: «Теперь вы должны сорвать с себя мои вензеля». На это оба казака, став во фронт, ответили: «Ваше Величество, прикажите их убить». На что Государь ответил: «Теперь поздно!» Говорил Государь также и о том, насколько его утешил приезд из Киева Государыни

Императрицы Марии Феодоровны, но что он не мог выносить Великого Князя Александра Михайловича.

Когда Государь с Государыней Марией Феодоровной уезжал из Могилева, взорам его представилась поразительная картина: народ стоял на коленях на всем протяжении от дворца до вокзала. Группа институток прорвала кордон и окружила Царя, прося его дать им последнюю памятку — платок, автограф, пуговицу с мундира и т. д. Голос его задрожал, когда он об этом говорил. «Зачем вы не обратились с воззванием к народу, к солдатам?» — спросила я. Государь ответил спокойно: «Народ сознавал свое бессилие, а ведь тем временем могли бы умертвить мою семью. Жена и дети — это все, что у меня осталось!.. Их злость направлена против Государыни, но ее никто не тронет, разве только перешагнув через мой труп... — На минуту дав волю своему горю. Государь тихо проговорил: — Нет правосудия среди людей. — И потом прибавил: — Видите ли, это все меня очень взволновало, так что все последующие дни я не мог даже вести своего дневника».

Я поняла, что для России теперь все кончено. Армия разложилась, народ нравственно совсем упал, и моему взору уже предносились те ужасы, которые нас всех ожидали. И все же не хотелось терять надежды на лучшее, и я спросила Государя, не думает ли он, что все эти беспорядки непродолжительны. «Едва ли раньше двух лет все успокоится», — был его ответ. Но что ожидает его, Государыню и детей? Этого он не знал. Единственно, что он желал и о чем был готов просить своих врагов, не теряя своего достоинства, — это не быть изгнанным из России. «Дайте мне здесь жить с моей семьей самым простым крестьянином, зарабатывающим свой хлеб, — говорил он, — пошлите нас в самый укромный уголок нашей Родины, но оставьте нас в России». Это был единственный раз, когда я видела Русского Царя подавленным случившимся; все последующие дни он был спокоен.

Ежедневно смотрела из окна, как он сгребал снег с дорожки, как раз против моего окна. Дорожка шла вокруг лужайки, и князь Долгорукий и Государь разгребали снег навстречу друг другу; солдаты и какие-то прапорщики ходили вокруг них. Часто Государь оглядывался на окно, где сидела Императрица и я, и незаметно для других улыбался нам или махал рукой. Я же в одиночестве невыносимо страдала, предчувствуя новое унижение для царственных узников. Императрица приходила ежедневно днем; я с ней отдыхала, она была всегда спокойна. Вечером же Их Величества приходили вместе. Государь привозил Государыню в кресле, так как к вечеру она утомлялась. Я начала вставать; мы сидели у круглого стола; Императрица работала, Государь курил и разговаривал, болел душой о гибели армии с уничтожением дисциплины.

Многое вместе вспоминали...

Раз он с усмешкой рассказывал, как один из прапорщиков во время прогулки держал себя очень нахально, стараясь оскорбить Государя, и как он был ошеломлен, когда после прогулки Государь, как бы не заметив протянутую им руку, не подал ему своей руки.

Каждый вечер от меня Их Величества заходили к оставшейся свите. При Их Величествах остались граф и графиня Бенкендорф (графиня пришла во дворец, когда его уже окружили революционные солдаты), фрейлина баронесса Буксгевден, графиня Гендрикова, госпожа Шнейдер и граф Фредерикс; генерал Воейков и генерал Гротен были уже арестованы, единственные флигель-адъютанты Линевич и граф Замоиский, которые до последней минуты не покидали Государыню, вынуждены были уйти, и вернуться им не разрешали. Н. Саблина, самого их близкого друга, Ее Величество и дети все время ожидали, но он не появлялся, и другие все тоже бежали. Оставались преданные учителя Алексея Николаевича, М. Gilliard и Mr. Gibbs, некоторые из слуг, все няни, которые заявили, что они служили в хорошее время и

никогда не покинут семью теперь, оба доктора, Е. Боткин и В. Деревенко. Вообще все личные слуги Государыни, так называемая половина Ее Величества, все до одного человека, начиная с камердинеров и кончая низшими служащими, все остались. У Государя же, кроме верного камердинера Чемодурова, почти никого не осталось.

Комендантом дворца был назначен некий П. Коцебу, бывший офицер Уланского Ее Величества полка, за некрасивые истории оттуда прогнанный. Я знала его с детства и была рада, что он, а не другой был назначен, так как у него было скорее доброе сердце и он любил Их Величества. Он часто заходил ко мне, отвез даже письма моим родителям в Петроград и первый предупредил меня о готовящемся моем аресте, сообщив, что меня увезут, как только я поправлюсь. Ее Величество была в ужасе и умоляла Коцебу оказать содействие к тому, чтобы меня не трогали, доказывая ему, что я больная женщина и что разлука со мной в эту тяжелую минуту была бы равносильна разлуке с одним из ее детей. Коцебу отвечал уклончиво — да он ничего и не мог сделать. Вся семья думала, что сделать ничего нельзя, но Государь говорил, что он уверен, что меня никто не тронет. Фельдшерица из моего лазарета, которая одна при мне осталась, худенькая и бледная Федосья Семеновна, кинулась перед Их Величествами на колени, умоляя их взять меня в комнату их детей и не отдавать. «Теперь, — говорила она сквозь слезы, — минута показать вашу любовь к Анне Александровне». Государь, улыбнувшись, сказал ей, что напрасно она беспокоится. Более практичный и хладнокровный совет был дан графом Бенкендорфом. Он сказал Государю, что надо скорее отдать меня, так как это лучше для Государыни; что меня будут держать только в министерском помещении Думы, где очень хорошо. Ее Величество рассказала мне об этом.

19 марта утром я получила записку от Государыни, что Мария Николаевна умирает и зовет меня. Посланный передал, что очень плохо и Анастасия Николаевна; у обеих было воспаление легких, а последняя, кроме того, оглохла по причине воспаления уха. Коцебу предупредил меня, что, если я встану, меня сейчас же уведут. Одну минуту во мне боролись чувство жалости к умирающей Марии Николаевне и страх за себя, но первое взяло верх, я встала, оделась, и Коцебу в кресле повез меня верхним коридором на половину детей, которых я целый месяц не видела. Радостный крик Алексея Николаевича и старших девочек заставил меня все забыть. Мы кинулись друг к другу, обнимались и плакали. Потом на цыпочках пошли к Марии Николаевне. Она лежала белая, как полотно; глаза ее, огромные от природы, казались еще больше, температура была 40,9, она дышала кислородом. Когда она увидела меня, стала делать попытки приподнять голову и заплакала, повторяя: «Аня, Аня». Я осталась с ней, пока она не заснула. Когда меня везли обратно мимо детской Алексея Николаевича, я увидела матроса Деревенько, который, развалившись на кресле, приказывал Наследнику подать ему то то, то другое. Алексей Николаевич с грустными и удивленными глазками бегал, исполняя его приказания. Этот Деревенько пользовался любовью Их Величеств: столько лет они баловали его и семью его, засыпая их подарками. Мне стало почти дурно; я умоляла, чтобы меня скорее увезли.

На другой день, мой последний в Царском Селе, я опять пошла к детям, и мы были счастливы быть вместе. Их Величества завтракали в детской и были спокойнее, так как Мария и Анастасия Николаевны чувствовали себя лучше. Вечером, когда Их Величества пришли ко мне, в первый раз настроение у всех было хорошее; Государь подтрунивал надо мной, мы вспоминали пережитое и надеялись, что Господь не оставит нас, лишь бы нам всем быть вместе.

21 марта я с утра очень нервничала, я узнала, что Коцебу не пропускают солдаты во дворец, вероятно, за его гуманное отношение к арестованным, а тут еще доктора принесли мне из ряда вон выходящую газетную статью, в которой говорилось, что будто я с доктором Бадмаевым, которого, между прочим, не знала, «отравляю Государя и Наследника». Императрица вначале

сердилась на грязные и глупые статьи в газетах, но потом с усмешкой мне сказала: «Here Anna keep them for your collection» (Собирай их для своей коллекции).

Повторяю, с самого утра 21 марта мне было тяжело на душе. Стоял сумрачный, холодный день, завывал ветер. Я написала утром Государыне записку, прося ее, не дожидаясь наступления дня, зайти ко мне утром. Она ответила мне, чтобы я к двум часам пришла в детскую, а сейчас у них доктора. Лили Дэн позавтракала со мной. Я лежала в постели. Около часа вдруг поднялась суматоха в коридоре, слышны были быстрые шаги. Я вся похолодела и почувствовала, что это идут за мной. И сердце меня не обмануло. Перво-наперво прибежал наш человек Евсеев с запиской от Государыни: «Керенский обходит наши комнаты, — с нами Бог». Через минуту Лили, которая меня успокаивала, сорвалась с места и убежала. Вошел потом скороход и доложил, что идет Керенский. Окруженный офицерами, в комнату вошел с нахальным видом маленького роста бритый человек, крикнув, что он министр юстиции и чтобы я собиралась ехать с ним сейчас в Петроград. Увидев меня в кровати, он немного смягчился и дал распоряжение, чтобы спросили доктора, можно ли мне ехать; в противном случае обещал изолировать меня здесь еще на несколько дней. Граф Бенкендорф послал спросить доктора Боткина. Тот, заразившись общей паникой, ответил: «Конечно, можно». Я узнала после, что Государыня, обливаясь слезами, сказала ему: «Ведь у вас тоже есть дети, как вам не стыдно!» Через минуту какие-то военные столпились у дверей, я быстро оделась с помощью фельдшерицы и, написав записку Государыне, послала ей мой большой образ Спасителя. Мне, в свою очередь, передали две иконы на шнурке от Государя и Государыни с их надписями на обратной стороне. Как мне хотелось умереть в эту минуту!.. Я обратилась со слезной просьбой к коменданту Коровиченко дозволить мне проститься с Государыней. Государя я видела в окно, как он шел с прогулки, почти бежал, спешил, но его больше не пустили. Коровиченко (который во время большевиков погиб ужасной смертью) и Кобылинский проводили меня в комнату Е. Шнейдер, которая, увы, встретила меня улыбкой и... улыбаясь, вышла. Я старалась ничего не замечать и не слышать, а все внимание устремила на мою возлюбленную Государыню, которую камердинер Волков вез на кресле. Ее сопровождала Татьяна Николаевна. Я издали увидела, что Государыня и Татьяна Николаевна обливаются слезами; рыдал и добрый Волков. Одно длинное объятие, мы успели поменяться кольцами, а Татьяна Николаевна взяла мое обручальное кольцо. Императрица сквозь рыдания сказала мне, указывая на небо: «Там и в Боге мы всегда вместе!». Я почти не помню, как меня от нее оторвали. Волков все повторял: «Анна Александровна, никто — как Бог!»

Посмотрев на лица наших палачей, я увидела, что и они в слезах. Я была настолько слаба, что меня почти на руках снесли к мотору; на подъезде собралась масса дворцовой челяди и солдат, и я была тронута, когда увидела среди них несколько лиц плакавших. В моторе, к моему удивлению, я встретила Лили Дэн, которая мне шепнула, что ее тоже арестовали. К нам вскочили несколько солдат с винтовками. Дверцы затворял лакей Седнев, прекрасный человек из матросов «Штандарта» (впоследствии был убит в Екатеринбурге). Я успела шепнуть ему: «Берегите Их Величества!» В окнах детских стояли Государыня и дети: их белые фигуры были едва заметны.

День был пасмурный и холодный; у меня кружилась голова от слабости и волнения. Через несколько минут мы очутились в царском павильоне, в комнате, где я так часто встречала Их Величества. Нас ожидал министерский поезд — поезд Керенского. У дверей купе встали часовые. Участливые взгляды некоторых солдат железнодорожного полка и то, как они бережно помогли мне войти, чуть не заставили меня потерять самообладание. Влетел Керенский с каким-то солдатом и крикнул на меня и на мою подругу, чтобы мы назвали свои фамилии. Лили не сразу к нему повернулась. «Отвечайте, когда я с вами говорю», — закричал он. Мы в недоумении на него смотрели. «Ну что, довольны теперь?» — спросил Керенский

солдата, когда мы наконец назвали наши фамилии. Затем они вышли, и мы, к счастью, остались одни; мне было дурно, и я боялась упасть в обморок и тем доставить лишнее удовольствие моим мучителям. Лили поила меня каплями. По приезде в город нас заставили пройти мимо Керенского, который сидел с каким-то господином и иронически на нас смотрел; нас посадили в придворное ландо, которое теперь обслуживает членов Временного правительства. С нами сели какие-то офицеры; мы просили их открыть окно, но они не разрешили.

Помню, каким мрачным нам показался город; везде беспорядочная толпа солдат, у лавок длинные очереди, а на домах везде грязные красные тряпки. Подъехали к Министерству юстиции. Там высокая крутая лестница — было трудно подыматься на костылях. Ноги тряслись от слабости. Офицеры привели нас в комнату на третьем этаже без мебели, с окном во двор; после внесли два дивана; грязные солдаты встали у двери. Я легла, усталая и убитая горем. Темнело...

Вечером влетел Керенский и спросил Лили, став спиной ко мне, топили ли печь? Не помню, что она ответила; он вышел. Нам принесли чай и яйца и затопили печь. Стоявший у двери солдат Преображенского полка оказался добрым и участливым. Он жалел нас и, когда не было посторонних, вечером и ночью бранил новые порядки, говоря, что ничего хорошего не выйдет. Мы не спали, ночь тянулась, нам было холодно и страшно.

Глава 16

Начало рассветать; мы встали измученные. Я так устала после бессонной ночи и настолько плохо себя чувствовала, что Лили решила попросить, не зайдет ли к нам доктор. Сначала согласились позвать, но после пришел офицер от Керенского с заявлением, что доктор занят с военным министром Гучковым, но что меня отвезут в лазарет, где будет хорошее помещение, врач и сестра. Что же касается Лили, то ее ожидает приятная новость (и в самом деле Лили отпустили через день). Я отдала Лили Дэн те некоторые золотые вещи, которые были со мной; она же дала мне полотенце и пару чулок, которые я и носила все время в крепости. Солдатские чулки я не могла надевать на свои больные ноги и за неимением платка или тряпки мочила эти грубые чулки и прикладывала на сердце, когда бывали припадки. Конечно, чулки Лили со временем совершенно изорвались, но штопать их я не могла, так как иметь при себе нитки и иголки не разрешалось.

Около трех часов вошел полковник Перетц и вооруженные юнкера, и меня повели. Обнявшись, мы расстались с Лили. Внизу Перетц приказал мне сесть в мотор; сел сам, вооруженные юнкера сели с ним и всю дорогу нагло глумился надо мной. Было очень трудно сохранить спокойствие и хладнокровие, но я старалась не слушать. «Вам с вашим Гришкой надо бы поставить памятник, что помогли совершиться революции!» Я перекрестилась, проезжая мимо церкви. «Нечего вам креститься, — сказал он ухмыляясь, — лучше молились бы за несчастных жертв революции»... Куда везут меня? — думала я. «Вот, всю ночь мы думали, где бы вам найти лучшее помещение, — продолжал полковник, — и решили, что Трубецкой бастион самое подходящее!» После нескольких фраз он крикнул на меня: «Почему вы ничего не отвечаете?» — «Мне вам нечего отвечать», — сказала я. Тогда он набросился на Их Величества, обзывая их разными оскорбительными именами, и прибавил, что, вероятно, у них сейчас «истерика» после всего случившегося. Я больше молчать не могла и сказала: «Если бы вы знали, с каким достоинством они переносят все то, что случилось, вы бы не смели так говорить, а преклонились бы перед ними». Перетц замолчал.

Описывая эту поездку в своей книге, Перетц упоминает, что был поражен сказанным мною, а также тем, что я не отвечала на его оскорбления и что у меня были «дешевенькие кольца на

пальцах». На Литейном мы остановились. Он послал юнкеров с поручением к своим знакомым; юнкера выглядели евреями, но держали себя корректно. Полковник благодарил их за их верную службу революции. Подъезжая к Таврическому Дворцу, он сказал, что сперва мы едем в Думу, а после в Петропавловскую крепость. Хорошо, что в крепость, почему-то подумала я; мне не хотелось быть арестованной в Думе, где находились все враги Их Величеств.

Приехав в Думу, мы прошли в Министерский павильон, где в комнате сидело несколько женщин; вид у них был ужасный: бледные, заплаканные, растрепанные. Все помещения и коридоры были полны арестованными. Среди женщин я увидела госпожу Сухомлинову и с ней поздоровалась. Мне сказали, что меня повезут с ней вместе. Мне назвали еще двух дам — Полубояринову и Риман. Последняя очень плакала; ей сказали, что ее освобождают, а мужа нет. Хорошенькая курсистка, которая, невидимому, была приставлена к арестованным женщинам, упрекнула госпожу Риман: «Вот ее увозят в крепость, и она спокойна, — сказала она, указывая на меня, — а вас освобождают, и вы плачете». Когда нас увозили, госпожа Риман перекрестила меня.

Бог помог мне быть спокойной. Страшное чувство было у меня — точно все это происходило не со мной. Я ни на кого не обращала внимания. С нами в мотор сели Перетц и юнкера, а также та же молоденькая курсистка. Она участливо меня спросила, не может ли она дать что-нибудь знать моим родителям. Я поблагодарила ее и дала номер телефона. После я узнала, что она сейчас же им позвонила. Керенский накануне отказал дать им знать. Перетц усмехнулся, заметив: «Все равно будет напечатано в газетах, что ее заключили в крепость, и все узнают». — «Вот это хорошо, — ответила я, — тогда многие помолятся за меня!»

Тот, кто переживал первый момент заключения, поймет, что я пережила: черная, бесспросветная скорбь и отчаяние. От слабости я упала на железную кровать; вокруг на каменном полу — лужи воды, по стеклам текла вода, мрак и холод; крошечное окно у потолка не пропускало ни света, ни воздуха, пахло сыростью и затхлостью. В углу клозет и раковина. Железный столик и кровать приделаны к стене. На кровати лежали тоненький волосяной матрас и две грязные подушки. Через несколько минут я услышала, как поворачивали ключи в двойных или тройных замках огромной железной двери, и вошел какой-то ужасный мужчина с черной бородой, с грязными руками и злым, преступным лицом, окруженный толпой наглых, отвратительных солдат. По его приказанию солдаты сорвали тюфячок с кровати, убрали вторую подушку и потом начали срывать с меня образки, золотые кольца. Этот субъект заявил мне, что он здесь вместо министра юстиции и от него зависит установить режим заключенным. Впоследствии он назвал свою фамилию — Кузьмин, бывший каторжник, пробывший на каторге в Сибири 15 лет. Я старалась прощать ему, понимая, что он на мне вымещал обиды прежних лет; но как было тяжело выносить жестокость в этот первый вечер!.. Когда солдаты срывали золотую цепочку от креста, они глубоко поранили мне шею. Крест и несколько образков упали мне на колени. От боли я вскрикнула; тогда один из солдат ударил меня кулаком, и, плюнув мне в лицо, они ушли, захлопнув за собой железную дверь. Холодная и голодная, я легла на голую кровать, покрылась своим пальто и от изнеможения и слез начала засыпать под насмешки и улюлюканье солдат, собравшихся у двери и наблюдавших за мной в окошко. Вдруг я услышала, что кто-то постучал в стену, и поняла, что, верно, это госпожа Сухомлинова, заключенная рядом со мною, и в эту минуту это меня нравственно спасло.

Надо полагать; что после этого я заснула, так как следующее, что я помню, это то, что появился солдат с кипятком и куском черного хлеба; чай я могла получать лишь потом, когда мне прислали денег, так что первые дни я пила один кипяток. Засыпала с корочкой черного хлеба во рту. Трудно описать эти первые дни. Все те насмешки и угрозы, которые я постоянно выносила, почти невозможно восстановить в памяти.

В один из первых дней пришла какая-то женщина, которая раздела меня до нага и надела на меня арестантскую рубашку. Как я дрожала, когда снимали мое белье... Платье разрешили оставить. Раздевая меня, женщина увидела на моей руке запаянный золотой браслет, который я никогда не снимала. Помню, как было больно, когда солдаты стаскивали его с руки. Даже черствый каторжник Кузьмин, присутствовавший при этом, увидя, как слезы текли по моим щекам, грубо заметил: «Оставьте, не мучьте! Пусть она только отвечает, что никому не отдаст!»

Я буквально голодала. Два раза в день приносили полмиски какой-то бурды, вроде супа, в который солдаты часто плевали, клали стекло. Часто от него воняло тухлой рыбой, так что я затыкала нос, проглатывая немного, чтобы только не умереть от голода; остальное же выливала в клозет, выливала по той причине, что раз заметив, что я не съела всего, тюремщики пригрозили убить меня, если это повторится. Ни разу за все эти месяцы мне не разрешили принести еду из дома. Первый месяц мы были совершенно в руках караула. Все время по коридорам ходили часовые. Ключи были у караульного начальника. Входили в камеры всегда по несколько человек сразу. Всякие занятия были запрещены в тюрьме. «Занятие — не есть сидение в казематах», — говорил комендант, когда я просила его разрешить мне шить.

Жизнь наша была медленной смертной казнью. Ежедневно нас выводили ровно на 10 минут на маленький дворик с несколькими деревцами; посреди двора стояла баня. Шесть вооруженных солдат выводили всех заключенных по очереди. В первое утро, когда я вышла из холода и запаха могилы на свежий воздух даже на эти 10 минут, я пришла в себя, ощутив, что еще жива, и как-то стало легче. Вообще трудно себе представить, какую радость и успокоение приносили в душу эти 10 минут. Думаю, ни один сад в мире не доставлял никому столько радости, как наш убогий садик в крепости. Я дышала Божьим воздухом, смотрела на небо, внимательно наблюдала за каждым облачком, всматриваясь в каждую травку, в каждый листочек на кустах. В баню водили по пятницам и субботам, раз в две недели; на мытье давали 1/2 часа. Водила нас надзирательница с часовым. Ждали мы этого дня с нетерпением. Зато на другой день мы лишались прогулки, тогда как все в один день не успевали помыться, а пока водили в баню, гулять не разрешалось. Я ценила каждую минуту, которую проводила вне стен сырой камеры.

Я никогда не раздевалась; у меня было два шерстяных платка; один я надевала на голову, другой на плечи: покрывалась же своим пальто. Холодно было от мокрого пола и стен. Я спала по 4 часа. Затем уже слышала каждую четверть часа бой часов на соборе. Около 7 часов начинался шум в коридорах: разносили дрова и бросали их у печей. Этим шумом начинался день, полный тяжелых переживаний. Просыпаясь, я грелась в единственном теплом уголке камеры, где снаружи была печь: часами простаивала я на своих костылях, прислонившись к сухой стене,

Я была очень слаба после только что перенесенной кори и плеврита. От сырости в камере я схватила глубокий бронхит, который бросился на легкие; температура поднималась до 40 гр. Я кашляла день и ночь; приходил фельдшер и ставил банки.

В первый месяц от слабости и голода у меня часто бывали обмороки. Почти каждое утро, подымаясь с кровати, я теряла сознание. Солдаты, входя, находили меня на полу. От сырости, как я уже писала, от кровати до двери образовалась огромная лужа воды. Помню, как я просыпалась от холода, лежа в этой луже и весь день после дрожала в промокшем платье. Иные солдаты, войдя, ударяли ногой, другие же жалели и волокли на кровать. А положат, захлопнут дверь и запрут. И вот лежишь часами, встать и постучаться нет сил — да и позвать некого.

Караул стоял от 3 Стрелкового полка. Пока они ведали нами, было, правда, шумно и страшно, но все же лучше, чем когда охрана перешла в руки наблюдательной команды, которая состояла из солдат Петроградского гарнизона. У них происходили вечные ссоры с караулом, друг другу не доверяли, и из-за этого страдали мы, бедные заключенные. Один солдат наблюдательной команды был старшим по выбору. Боже, сколько издевательств и жестокостей перенесла я от них! Но я прощала им, стараясь быть терпеливой, так как не они меня повели на этот крест и не они создали клевету; но трудно было прощать тем, кто из зависти сознательно лгал и мучал меня. Первые дни несколько раз приходил заведующий казематом, седой полковник, которого впоследствии заменили другим. С госпожой Сухомлиновой мы все время перестукивались; сначала просто, а потом она выдумала азбуку, написала на крошечной бумажке и передала через надзирательницу, о которой буду говорить позже, и мы часами, стоя у стены, обыкновенно поздно вечером, когда был слышен храп заснувшего солдата, или же в 5 или 6 часов утра переговаривались. Стучать было опасно, так как за нами следили. Раз поймал нас заведующий Чкани, влетел чернее ночи, пригрозил, что если еще раз заметит, то меня посадят в темный карцер (в темном карцере 10 дней мучили Белецкого, и его стоны доносились до нас по коридору; об его мученьях надзирательница и даже солдаты говорили с содроганием), но мы приловчились и, разговаривая часами, больше не попадались. Чему только не научишься в тюрьме!

Кашель становился все хуже, и от банок у меня вся грудь и спина были в синяках.

Теперь надо поговорить о моем главном мучителе, докторе Трубецкого бастиона — Серебрянникове. Появился он уже в первый день заключения и потом обходил камеры почти каждый день. Толстый, со злым лицом и огромным красным бантом на груди. Он сдирал с меня при солдатах рубашку, нагло и грубо насмехаясь, говоря: «Вот эта женщина хуже всех: она от разврата отупела». Когда я на что-нибудь жаловалась, он бил меня по щекам, называя притворщицей и задавая циничные вопросы об «оргиях» с Николаем и Алисой, повторяя, что если я умру, меня сумеют похоронить. Даже солдаты, видимо, иногда осуждали его поведение...

В эти дни я не могла молиться и только повторяла слова Спасителя: «Боже, Боже мой, вскую мя еси оставил!»... Ночью я горела от жара и не могла поднять головы, не у кого было просить глоток воды... когда утром солдат приносил кипяток, вероятно, я показалась ему умирающей, так как через несколько минут он пришел с доктором. Температура оказалась 40 гр. Он выругался, и когда я обратилась к нему со слезной просьбой позволить надзирательнице побыть ночь возле меня, так как я с трудом подымаю голову, он ответил, что накажет меня за заболевание, что я будто бы нарочно простудилась, и во всем отказал, ударив меня.

Почему-то я не умерла. Когда же стала поправляться, получила бумагу от начальства крепости, что я, в наказание за болезнь, лишаясь прогулки на десять дней. Как раз эти дни светило солнышко, и я часами плакала, сидя в своей мрачной камере, думая, что пришла весна и я не смею даже десять минут подышать свежим воздухом. Вообще без содрогания и ужаса не могу вспоминать все издеательства этого человека.

Кажется, спустя неделю, что мы пробыли в заключении, нам объявили, что у нас будут дежурить надзирательницы из женской тюрьмы. Как-то вечером пришли две, и я обрадовалась, в надежде, что они будут посредниками между нами и солдатами. Но эти первые две нашли наши условия настолько тяжелыми, что не согласились оставаться. Пришли две другие, которые дежурили попеременно от 9 часов утра до 9 часов вечера; ночь же, самое страшное время, мы были все-таки одни.

Первая надзирательница была молодая бойкая особа, флиртующая со всеми солдатами и не

обращающая на нас особого внимания; вторая же постарше, с кроткими, грустными глазами. С первой же минуты она поняла Глубину моего страдания и была нашей поддержкой и ангелом хранителем. Воистину есть святые на земле, и она была святая. Имени ее я не хочу называть, а буду говорить о ней, как о нашем ангеле. Все, что было в ее силах, чтобы облегчить наше несчастное существование, она все сделала. Никогда в своей жизни не смогу ее отблагодарить. Видя, что мы буквально умираем с голоду, она покупала на свои скудные средства то немного колбасы, то кусок сыру или шоколада и т. д. Одной ей не позволяли входить, но, уходя вслед за солдатами последней из камеры, она ухитрялась бросать сверточек в угол около клозета, и я бросалась, как голодный зверь, на пакетик, съедала в этом углу, подбирала и выбрасывала все крошки. Разговаривать мы могли сперва только раз в две недели в бане.

Она рассказала мне, что Керенский приобретает все большую власть, но что Их Величества живы и находятся в Царском, и это последнее известие мне давало силу жить и бороться со своим страданием.

Первую радость она доставила мне, подарив красное яичко на Пасху.

Не знаю, как описать этот светлый праздник в тюрьме. Я чувствовала себя забытой Богом и людьми. В Светлую ночь проснулась от звона колоколов и села на постели, обливаясь слезами. Ворвалось несколько человек пьяных солдат, со словами «Христос Воскресе!» похристосовались. В руках у них были тарелки с пасхой и кусочком кулича; но меня они обнесли. «Ее надо побольше мучить, как близкую к Романовым», — говорили они. Священник просил позволения у правительства обойти заключенных с крестом, но ему отказали. В Великую Пятницу нас всех исповедовали и причащали Святых Таин; водили нас по очереди в одну из камер, у входа стоял солдат. Священник плакал со мной на исповеди. Никогда не забуду ласкового отца Иоанна Руднева; он ушел в лучший мир. Он так глубоко принял к сердцу непомерную нашу скорбь, что заболел после этих исповедей.

Была Пасха, и я в своей убогой обстановке пела пасхальные песни, сидя на койке. Солдаты думали, что я сошла с ума, и, войдя, под угрозой побить потребовали, чтобы я замолчала. Положив голову на грязную подушку, я заплакала... Но вдруг я почувствовала под подушкой что-то крепкое и, сунув руку, ощупала яйцо. Я не смела верить своей радости. В самом деле, под грязной подушкой, набитой соломой, лежало красное яичко, положенное доброй рукой моего единственного теперь друга, нашей надзирательницы. Думаю, ни одно красное яичко в этот день не принесло столько радости: я прижала его к сердцу, целовала его и благодарила Бога... Еще пришло известие, которое меня бесконечно обрадовало; по пятницам назначили свидание с родными. Была надежда увидеть дорогих родителей, которых, я думала, никогда в жизни больше не увижу.

Глава 17

Посетители в тюрьме! Только тот, кто сам посидел в одиночном заключении, поймет, что значит надежда свидания с родными. Как я ждала этой первой пятницы, когда мне сказали, что я увижу моих родителей. Я воображала себе, как мы кинемся навстречу друг другу, представляла себе ласковую улыбку дорогого отца и голубые глаза, полные слез, моей матери, как мы будем сидеть вместе и я поведаю им о всем том, что вынесла за эти дни. Мечтала также получить известия о дорогих узниках в Царском, узнать о здоровье детей и о том, как им живется.

В действительности же одно из самых тяжелых воспоминаний — это дни свидания с родными: ни в один день я так не страдала, как в эти пятницы. При виде своих просыпалась любовь ко всем дорогим, которых оставила и не имела надежды когда-либо увидеть. Я и сейчас без слез и

содрогания не могу вспомнить, как меня вводили с часовым в комнату, где сидела бедная мама. Нам не позволяли подавать руки друг другу: огромный стол разделял нас; она старалась улыбаться, но глаза невольно выражали скорбь и ужас, когда она увидела меня, с распущенными волосами, смертельно бледную и с большой раной на лбу. На вопрос, который она не смела задать мне, указывая на лоб, я ответила, что это ничего: я не смела сказать, что солдат Изотов в припадке злобы толкнул меня на косяк железной двери, и с тех пор рана не заживала. Если бы мы были одни, я все бы сказала, но здесь, кроме караула, присутствовали прокурор и заведующий бастлионом — ужасный Чкани, с часами в руках. На свидание давалось ровно 10 минут, и за две минуты до конца он вскрикивал: «осталось две минуты», чем еще больше расстраивал измученное сердце. И что можно сказать в десять минут в присутствии стольких лиц, враждебно настроенных? Только прокурор после рассказывал, что его нервы не выдерживали моих свиданий с родителями и он несколько ночей не мог спать. В слезах мы встречались и расставались, поручая друг друга милосердию Божью.

Бедные, дорогие мои родители! Сколько вынесли они оскорбления и горя, ожидая иногда по три часа эти десять минут свидания. Папа вспоминал после, что ни разу меня не видал иначе, как заплаканную. Отца я видела три раза в крепости. В начале моего заключения он заболел от пережитого потрясения, позже, чередуясь с мамой, посещал меня. Как хотелось мне выглядеть более похожей на самое себя. Я умолила надзирательницу одолжить мне на несколько минут ее карманное зеркальце и две шпильки; причесалась на пробор и всю неделю промывала рану на лбу. Отец мой, всегда сдержанный, ободрял меня в эти несколько минут, и я трепетала от счастья увидеть его. Отец сказал мне, что мама тоже приехала, что они три часа ждали свиданья, но ее не пустили, и она ожидает рядом в комнате, надеясь услышать мой голос. При этих словах Чкани вскочил с места и, захлопывая со всей силой дверь, закричал: «Это еще что, голос слышать! Я вам запрещаю свиданья за такие проделки!» Отец мой только слегка покраснел, меня же под конвоем увели...

Деньги, которые мои родители посылали мне, никогда до меня не доходили; лишь самые маленькие суммы шли на покупку чая и сахара, остальные же офицеры — Чкани, комендант и их сотоварищи, некий Новацкий и другие, проигрывали. Хуже еще: эти господа во все время моего заключения приставали к родителям и, под угрозой меня убить или изнасиловать, вымогали деньги большими суммами, приезжали иногда вооруженные или же уверяли, что передадут еду или скорее выпустят. Бедные родители отдавали этим мерзавцам все свое последнее, дрожа за мою жизнь. Подобное проделывали они и с родственниками других заключенных. Вот каковы были «начальники» крепости и доверенные Временного правительства!

Повторяю, самое страшное — это были ночи. Три раза ко мне в камеру врывались пьяные солдаты, грозя изнасиловать, и я чудом спаслась от них. Первый раз я встала на колени, прижимая к себе иконку Богоматери, и умоляла во имя моих стариков родителей и их матерей пощадить меня. Они ушли. Второй раз в испуге я кинулась об стену, стучала и кричала. Ек. В. слышала меня и тоже кричала, пока не прибежали солдаты из других коридоров... В третий раз приходил один караульный начальник. Я со слезами упросила его, он плюнул на меня и ушел. Наше положение было тем ужаснее, что мы не смели жаловаться; солдаты могли бы отомстить нам; но после последнего случая я все же решилась сказать надзирательнице. Она говорила со «старшим», и он, кажется, принял меры, чтобы безобразия не повторялись.

Сидела я в камере № 70. Существовали мы не как люди, а как номера, заживо погребенные в душных каменных склепах, и жизнь наша была, как я уже писала, медленная смертная казнь. Сколько раз я просила у Бога смерти и все думала: зачем я должна жить? «Господи, за что Ты смеешься надо мной?» — повторяла я. Нашла те же слова в книге Иова. Я иногда не могла молиться, теряла веру, но Бог невидимо промышлял и о нас, забытых миром.

Прежде всего приближалась весна, стало теплее, вода высохла на стенах и на полу; в нашем садике распустились листочки, зазеленела трава. От слабости я уже не могла ходить, но ложилась на траву, устремляя взор в далекое синее небо. Раз между камнями увидела первый желтый цветочек. У меня забилося сердце, хотелось сорвать, но боялась, что отнимут... Я нагнулась, сорвала и спрятала за пазуху. Солдаты не заметили — они курили и спорили, облокотясь на ружья, а надзирательница сделала вид, будто не видит... Мне удалось этот цветочек, единственное сокровище, передать отцу. Потом я нашла этот цветочек, бережно засушенный, в бумагах, оставшихся после смерти дорогого отца. Это был единственный цветок, который я сорвала в нашем садике. Попробовала еще раз в день Св. Троицы, но тогда солдат ударил меня по руке и отнял веточку. Помню, целый день я плакала от обиды.

В № 71 сидела Сухомлинова, в № 72 генерал Воейков. В № 69 сидел сперва Мануйлов. Говорят, он симулировал параличное состояние, закрывая то один, то другой глаз. Когда его перевели в Кресты, туда посадили писателя Колышко. Он громко плакал первую ночь; надзирательница сказала, что он отец большой семьи.

Часто и на меня нападали минуты отчаяния, и раз я хотела покончить жизнь самоубийством. Это случилось, когда однажды надзирательница прибежала сказать, что среди стрелков возмущение и они грозят со всеми нами покончить. Мною овладел ужас, и я стала придумывать, как бы не попасть им в руки; вспомнила, что можно сразу умереть, воткнув тонкую иголку в мозжечок. Я постучала об этом Сухомлиновой. Она очень испугалась и послала надзирательницу наблюдать за мной. Иголка имелась у меня и была припрятана, не помню, каким образом я ее достала. Благодарю Бога, что Он спас меня от малодушия; на этот раз солдаты успокоились.

Становилось жарко и невыносимо душно в камерах; я иногда буквально задыхалась. Тогда я вскарабкивалась на кровать, оттуда на стол, стараясь уловить хоть маленькое течение воздуха из крошечной форточки. Надзирательница не на шутку беспокоилась, замечая, что я очень изменилась, не стала на себя похожа и все время плакала. Теперь я прижималась уже к холодной стене, часами простаивала босиком. Я стала очень слабеть, ходить не могла и ложилась на травку, когда выпускали, смотря на небо, и на душе становилось спокойнее. Издали доносился городской шум. К концу моего заключения, помню, зацвел куст розового шиповника; были еще два куста сирени и цвела рябина. Часто задумывалась над тем, слышит ли Господь молитвы заключенных?!

Как-то раз меня повели на первый допрос. За большим столом сидела вся Чрезвычайная Комиссия — почти все старые и седые; председательствовал Муравьев. Допрос этот я описала, кажется, в 12-й главе. Слушала я, слушала — и не понимала: или я сошла с ума в крепости, или они все ненормальные. И откуда только их всех набрали? Вся процедура напоминала мне дешевое представление комической оперетки. Вспоминая после в одиночестве этот допрос, я иногда не могла удержаться от улыбки. Из всех них один Руднев оказался честным и беспристрастным. Меня он допрашивал 15 раз, по четыре часа каждый раз. Помню, как он был ошеломлен, когда я благодарила его в конце четвертого допроса, во время которого мне сделалось дурно. «Отчего вы благодарите меня?» — «Поймите, какое счастье четыре часа сидеть в комнате с окном и через окно видеть зелень!..» После моего освобождения он высказал, что из моих слов он ясно понял наше несчастное существование.

Понемногу положение мое стало улучшаться. Многие солдаты из наблюдательной команды стали хорошо ко мне относиться, особенно старослужащие; они искренне жалели меня, защищали от грубых выходок своих товарищей, оставляли пять лишних минут на воздухе. Да и в карауле стрелков не все были звери. Бедные, все им прощаю... Повторяю, не они повели меня на этот крест, не они создали клевету.

В то время как высокие круги еще до сих пор не раскаялись, солдаты, поняв свое заблуждение, всячески старались загладить свою ошибку. Помню одного караульного начальника с добрым и красивым лицом. Рано утром он отпер дверь и, вбежав, положил кусок белой булки и яблоко мне на койку, шепнув, что идиотство держать больную женщину в этих условиях, и скрылся. Видела его еще раз в конце своего заключения. Он тогда прослезился, сказав, что я очень изменилась.

Из караульных начальников еще двое были добрые. Один, придя с несколькими солдатами вечером, открыл форточку и сказал, как бы ему хотелось освободить меня с помощью своих товарищей... Третий был совсем молоденький мальчик, сын купца из Самары. Он два вечера подряд говорил со мной через форточку, целовал мне руки, обливая слезами, всех нас ужасно жалел, будучи не в состоянии выносить жалкий вид заключенных. Непривычная к добру, я долго не могла забыть его ласку и слезы. Добрые солдаты также делились сахаром и хлебом.

Но случилось еще более удивительное. Как-то раз вошел ко мне солдат, заведующий библиотекой бастиона и со странным выражением глаз положил мне на койку каталог книг. Открывая каталог, нахожу письмо: «Милая Аннушка, мне тебя жаль, если дашь мне 5 рублей, схожу к твоей матери, отнесу письмо». Я задрожала от волнения, боялась оглянуться на дверь, воображая, что за мной следят. Долго я передумывала, решиться ли написать... Солдат вложил конверт и бумагу. Не хотел ли он меня подвести. Не начало ли это новых испытаний. Бог знает. Наконец решилась, написала короткое письмо дорогим родителям. Пять рублей у меня остались: когда я отдавала свои деньги, они прорвались в подкладку пальто, и я их бережно хранила. Положила это единственное сокровище в конверт и написала ему, что люди меня вообще часто обманывали, что я так теперь страдаю и во имя этого страдания стараюсь верить, что он меня не подведет. Какая же была неопишуемая радость, когда на другой день в книге нашла дорогое письмо от мамы. Уходя из камеры, он ухитрился бросить мне в угол плитку шоколада.

Так установилась редкая, но бесконечно мне дорогая переписка с родителями. Они ему каждый раз давали деньги, он же, конечно, рисковал жизнью. Находила письма в книгах, в белье (он заведовал и цейхгаузом), в чулках. Нашла письмо от Лили Дэн, с известием, что Их Величества здоровы, и она плачет, глядя на мои любимые цветы. Прислала мне бумажку с наклеенным белым цветком от Государыни и двумя словами: «Храни Господь!» Как я плакала над этой карточкой! Подобным же образом он принес мне в крепость кольцо, которое Государыня мне надела при прощании (золотые вещи из канцелярии бастиона выдали родителям). Сначала я не знала, куда его спрятать; потом оторвала кусочек серой подкладки от пальто, сшила крошечный мешочек и прикалывала его на рубашку под мышкой английской булавкой. Булавку подарила добрая надзирательница. Боялась, чтобы другая надзирательница не заметила кольцо в бане; прятала тогда в подкладку. Но скоро библиотекарь возбудил к себе подозрение, так как стал слишком часто ходить к нам с книгами, и его сменили, назначив ужасного Изотова.

Позже судьба нам помогла через другого человека. Как-то раз я в супе нашла большой кусок мяса, которого два месяца не ела. Я, конечно, жадно его съела, но спросить не смела. На другой день опять кусок мяса. У меня даже сердце забилося. Хотелось узнать: кто этот тайный друг, который подкармливает меня. Надзирательница осторожно разведала и сообщила, что это поваренок, что он вообще готов помогать мне, так как жалеет меня и предлагает носить письма родителям. Но он делал больше. За небольшое вознаграждение этот хороший человек, рискуя жизнью, приносил мне чистое белье, чулки, рубашки и еду и даже уносил грязное. Все предыдущие месяцы я стирала рубашку под краном, из шпильки сделала крючок и вешала в теплом углу. Но, конечно, рубашка вполне не высыхала. Кто может представить себе счастье после двух месяцев надеть чистую, мягкую рубашку?!

Звуки из внешнего мира почти не долетали до нас; далекий благовест в церквях почему-то меня раздражал. Неужели, думала я, Бог слышит молитвы народа, который сверг своего Царя? Доносился бой часов. Без содрогания не могу вспомнить заунывный мотив, который они играли; при себе часов не разрешали иметь. С утра до ночи ворковали голуби. Теперь, где бы я ни услышала их, они напоминают мне сырую камеру в Трубецком бастионе.

«Старший» солдат как-то рассказывал мне, что он сидел за политические дела в крепости и часами кормил голубей у окна. «Разве у вас было низкое окно?» — спрашивала я с завистью. Окно — это то, чего я жаждала все время. Солдаты рассказывали, что вообще при Царе было легче сидеть в крепости: передавали пищу, заключенные все могли себе покупать и гуляли два часа. Я была рада это услышать. «Старший», который вначале меня так мучил, изменился, позволял разговаривать с надзирательницей. Он был развитой и любил пофилософствовать. Солдаты были им недовольны и, как-то придравшись, что будто он купил нам конфет, его сменили. Из молодых было два из Гвардейского экипажа, которые говорили: «Вот нас 35 человек товарищей, а вы наша 36-я».

Заботы обо мне моих раненых не оставляли меня и располагали ко мне сердца солдат. Самым неожиданным образом я получала поклоны и пожелания от них через караул. Раз как-то пришел караульный начальник с известием, что привез мне поклон из Выборга «от вашего раненого Сашки, которому фугасом оторвало обе руки и изуродовало лицо. Он с двумя товарищами чуть не разнес редакцию газеты, требуя поместить письмо, что они возмущены вашим арестом. Если бы вы знали, как Сашка плачет!» Караульный начальник пожал мне руку. Другие солдаты одобрительно слушали, и в этот день никто не оскорблял меня.

Другой раз, во время прогулки, подходит часовой к надзирательнице и спрашивает разрешения поговорить со мной. Я испугалась, когда вспомнила его рябое лицо и как он, в одну из первых прогулок, оскорблял меня, называя всякими гадкими именами. «Я, — говорит, — хочу просить тебя меня простить, что, не зная, смеялся над тобой и ругался. Ездил я в отпуск в Саратовскую губернию. Вхожу в избу своего зятя и вижу — на стене под образами твоя карточка. Я ахнул. Как это у тебя Вырубова, такая-сякая... А он как ударит по столу кулаком: «Молчи, — говорит, — ты не знаешь, что говоришь, она была мне матерью два года», да и стал хвалить и рассказывать, что у вас в лазарете, как в царстве небесном, и сказал, что если увижу, передал бы от него поклон; что он молится и вся семья молится за меня». Надзирательница прослезилась, а я ушла в мрак и холод тюрьмы, переживая каждое словечко с благодарностью Богу.

Позже я узнала, что Царскосельский совет постановил отдать моему учреждению весь Федоровский городок, то есть пять каменных домов. Раненые ездили повсюду хлопотать, подавали прошение в Петроградский центральный совет, служили молебны; ни один из служащих не ушел. Все эти солдаты, которые окружали меня, были как большие дети, которых научили плохим шалостям. Душа же русского солдата чудная. Последнее время моего заключения они иногда запирали двери и час или два заставляли меня рисовать. Я тогда хорошо делала наброски карандашом и рисовала их портреты. Но в это же время происходили постоянные ссоры, драки и восстания, и мы никогда не знали, что может случиться через час.

23 апреля, в день именин Государыни, когда я особенно отчаивалась и грустила, в первый раз обошел наши камеры доктор Манухин, бесконечно добрый и прекрасный человек. С его приходом мы почувствовали, что есть Бог на небе и мы Им не забыты. Благодарность и уважение, которыми полно мое сердце, не могут быть выражены словами.

Уже некоторое время солдаты стали относиться с недоверием к доктору Серебрянникову, находя излишней его жестокость. Они обратились, с просьбой в Следственную Комиссию

сменить его, и так как тогда воля солдат была законом для правительства Керенского, то доктора заменили человеком, который был известен как талантливый врач и в смысле политических убеждений человек им не опасный, разделявший мнение о «темных силах, окружающих Престол». Но одного Керенский, по всей видимости, не знал: что у доктора Манухина было золотое сердце и что он был справедливый и честный человек.

Серебрянников сопровождал доктора Манухина при его первом обходе и стоял с лиловым злым лицом, волнуясь, пока Манухин осматривал мою спину и грудь, покрытую синяками от банок, побоев и падений. Мне показалось странным, что он спросил о здоровье, не оскорбив меня ничем, и, уходя, добавил, что будет ежедневно посещать нас. В первый раз я почувствовала, что со мной говорит «gentlemen». Когда он ушел, то в душе словно что-то растаяло, и, упав на колени, я в первый раз молилась и заснула.

Все мы, заключенные, буквально жили ожиданием его прихода. Обыкновенно вскоре после 12-часовой пушки он начинал свой обход, и каждый из нас, стоя у дверей камеры, прислушивался к его голосу, когда, обходя, он здоровался с заключенными, ласково спрашивая о здоровье. Для него все мы были пациенты, а не заключенные. Он потребовал, чтобы ему показали нашу пищу, и приказал выдавать каждому по бутылке молока и по два яйца в день. Как это ему удалось, не знаю, но воля у него была железная, и, хотя сперва солдаты хотели его несколько раз поднять на штыки, они в конце концов покорялись ему, и он, невзирая на грубости и неприятности, забывая себя, свое здоровье и силы, во имя любви к страждущему человечеству все делал, чтобы спасти нас. Вообще после его прихода к нам, несмотря на ужас тюрьмы, существование стало возможным при мысли, что доктор Манухин придет завтра и защитит нас.

Мое сердце болело и мучило; принимала разные лекарства, склянки стояли в коридорах на окнах. Лекарства нам давали солдаты, так как мы не имели права брать бутылку в руки. За лекарства платили нашими деньгами, которые лежали в канцелярии. Когда комендант их проигрывал, покупал лекарства доктор Манухин на свои деньги. Раз в неделю «старший» обходил нас, и мы давали Записку предметов первой необходимости, как то: мыло, зубной порошок, которые покупались на наши деньги. Бумагу выдавали листами, контролируя каждый, и если портили, то надо было лист бумаги отдать обратно, чтобы заменить другим. И все же я ухитрялась иной раз припрятать клочок, на котором писала письма родителям. Вначале «старший» отнимал от меня и то малое, что полагалось.

Допросы Руднева продолжались все время. Я как-то спросила доктора Манухина: за что мучат меня так долго? Он успокаивал меня, говоря, что разберутся, но предупредил, что меня ожидает еще худший допрос.

Через несколько дней он пришел ко мне один, закрыл дверь, сказав, что Комиссия поручила ему переговорить со мной с глазу на глаз, и потому в этот раз солдаты его не сопровождают. Чрезвычайная Комиссия, говорил он, почти закончила рассмотрение моего дела и пришла к заключению, что обвинения лишены основания, но что мне нужно пройти через этот докторский «допрос», чтобы реабилитировать себя, и что я должна на это согласиться!.. Многих вопросов я не поняла, другие же вопросы открыли мне глаза на бездну греха, который гнездится в думах человеческих. Когда «допрос» кончился, я лежала разбитая и усталая на кровати, закрывая лицо руками. С этой минуты доктор Манухин стал моим другом — он понял глубокое, беспросветное горе незаслуженной клеветы, которую я несла столько лет. Но сознание, что один человек понял меня, дало силу терпеть и бороться. Мне было легко с ним говорить, точно я давно знала его.

К концу мая буквально нечем было дышать. Как-то наши камеры обошел председатель Комиссии Муравьев, важный и, по-видимому, двуличный человек. Войдя ко мне, он сказал, что

преступлений за мной никаких не найдено и, вероятно, меня куда-нибудь переведут. Но все тянули, а я буквально погибала, и, конечно, если бы не заботы дорогого доктора, я бы не вынесла. Вспоминаю, как я обрадовалась первой мухе; потом уже их налетела целая уйма, и я часами следила за ними, завидуя, что они свободно вылетали в форточку. Слышала, что другие заключенные много читают, я же только читала Библию, так как повести и рассказы не могли занять ума и успокоить сердце. Святое же Писание — навеки единственная и непреложная истина — помогало мне нести крест терпения.

В один из жарких июньских дней ко мне ворвались человек 25 солдат и стали рыться в моих убогих вещах, Евангелиях, книжках и т. д. Я вся похолодела от страха, но, увидя высокую фигуру доктора, успокоилась. Он громко сказал: «Анна Александровна, не волнуйтесь, это простая ревизионная комиссия». И встал около меня, следя за ними, объясняя то или иное. Выйдя в коридор, я слышала, как он сказал им: «Ей осталось несколько дней жить; если хотите быть палачами, то берите на себя ответственность, я на себя не беру». Они с ним согласились, что надо меня вывезти, и на следующий день он шепнул мне, что скоро меня вывезут. Надзирательница узнала, что меня хотят перевести в женскую тюрьму. Она побежала сообщить об этом доктору, и он старался приостановить это решение: он ездил и хлопотал за меня и за других, где мог.

Дышать в камерах было нечем, у меня сильно отекали ноги, я все время лежала. Раз в неделю рано утром мыли пол. Проходя мимо меня, солдат-рабочий шепнул мне: «Я всегда за вас молюсь!» — «Кто вы?» — спросила я. — «Конюх из придворной конюшни». Всмотревшись, я узнала его.

12 июня, в понедельник, Манухин сообщил мне, войдя в камеру, что, вероятно, в среду меня переведут в Арестный Дом. Я бесконечно обрадовалась, но все же не верилось. На другой день стали приходить некоторые солдаты наблюдательной команды «прощаться»; говорили, что у них было общее собрание, на котором постановили защитить нас против стрелков и дать возможность вывезти. Я так волновалась, что совсем не спала. Было душно и жарко, и я уже почти не вставала, лежала босая, с распущенными волосами, когда вошел доктор; в ожидании того, что он скажет, отчаянно билось сердце. Он сел на кровать и, видимо, тоже волновался, так как должен был объявить, что по непредвиденным обстоятельствам не может вывезти меня: стрелки взбунтовались и решили меня не выпускать... Я залилась слезами, и в первый раз за все переживания у меня сделалась истерика. Кто не сидел в тюрьме, не поймет отчаяния, когда рушится надежда на освобождение. Манухин был очень недоволен мною и уговаривал меня быть мужественной. Весь день я плакала, к вечеру стихла. Вдруг отворилась дверь, вбежал доктор, измученный и усталый, со словами: «Успокойтесь, надежда есть!» и выбежал. Надзирательница, подойдя к двери, шепнула, что доктор Манухин привез с собою депутатов из Центрального Совета для переговоров со стрелками. Я очень нервничала ночью, так как слышала разговор в коридоре солдата Куликова, который говорил, что надо скорее меня убить, и для этой цели украл два револьвера из караула. Надзирательница передала об этом Манухину и коменданту. Оказалось — правда.

В этот день Манухин явился веселый, объявив, что следующий раз он встретит меня уже в другом месте. Днем пошла на свиданье с мамой; она тоже ободряла меня, уверяя, что скоро все будет хорошо и что это, вероятно, последнее свидание в крепости.

Часов в 6, когда я босая стояла, прижавшись к холодной стене, вдруг распахнулась дверь и вошел Чкани. Сперва он спросил меня, была ли у меня истерика после свиданья с мамой. Потом продолжал, что он должен мне сообщить, что завтра, вероятно, меня выведут. У меня закружилась голова, и я не видала рук, которые протягивали мне солдаты, поздравляя меня. Я почти не соображала, как вдруг услышала голос молодой надзирательницы, которая вбежала в

камеру, говоря: «Скорей, скорей собирайтесь! За вами идет доктор и депутаты Центрального Совета!» У меня ничего не было, кроме рваной серой шерстяной кофточки и убогих пожитков, которые она завязала наскоро в платок. В это время начала стучать в стену бедная Сухомлинова, прося разрешения проститься со мной, но ей отказали. Вошедшие солдаты окружили меня и почти понесли по длинным коридорам. На лестнице кивнул мне белокурый стрелок, который водил на свиданье. Сошли вниз, прошли столовую, — открыли перед нами дверь... и мы вышли... на волю...

Нас ждал автомобиль. Меня посадили. Рядом вскочил Чкани и несколько солдат. В другом автомобиле поместился доктор. Нас окружили солдаты, которые, подбегая, делали громкие замечания. Депутаты торопили ехать, и наконец мы поехали. Летели полным ходом за мотором доктора, который сидел спиной к шоферу и все время следил за нами. Я была как во сне. Вспоминаю, как вылетели из ворот крепости и помчались по Троицкому мосту. Ветер, пыль, голубая Нева, простор, быстрая езда и столько света, что я закрывала лицо руками, ничего не соображая: только сердце разрывалось от счастья.

Через пять минут мы очутились на Фурштадской 40. Солдаты вынесли меня на руках и провели в кабинет коменданта; караул Арестного Дома не пропустил крепостных. Помню, как меня удивило, когда комендант протянул мне руку, — это был офицер небольшого роста, полный. Меня понесли наверх, и я очутилась в большой комнате, оклеенной серыми обоями, с окном на церковь Косьмы и Дамиана и на зеленый сад. Когда меня подвели к окну, я так вскрикнула, увидя опять окно, что солдаты не могли удержаться от смеха. Но с ними был дорогой доктор: он всех выслал, велел сейчас же телефонировать родителям, что я в Арестном Доме, и просил, чтобы прислали девушку меня выкупать и уложить. Доктор осторожно поднял меня на кровать. Я была счастлива возможности в первый раз поблагодарить его за все, что он сделал для меня.

Глава 18

Месяц, который я провела в Арестном Доме, был сравнительно спокойный и счастливый, хотя иногда бывало и жутко, так как в это время была первая попытка большевиков встать во главе правительства. Большая часть членов Временного правительства уже сошла со сцены, но оставался еще Керенский. Караул Арестного Дома не показывался, кроме одного раза в день при смене. Один вооруженный солдат сторожил у моей двери, но при желании я могла выходить в общую столовую, куда, однако же, я никогда не ходила. Из заключенных я была единственная женщина. Кроме меня тут были генерал Беляев и 80 или 90 морских офицеров из Кронштадта, «Кронштадтские мученики», как их называли. Все они, худые и несчастные, помещались человек по 10 в комнате. Некоторые из них помнили меня по плаванию с Их Величествами, и я иногда говорила с ними.

Комендант, узнав, что у меня есть походная церковь в лазарете, обратился ко мне с просьбой, не позволила бы я отслужить обедню для всех заключенных, так как самое большое желание офицеров было причаститься Св. Таин. Обедня эта совпала с днем моего рождения, 16 июля. Трогательная была эта служба: все эти несчастные, замученные в тюрьмах люди простояли всю обедню на коленях; многие неудержимо рыдали, плакала и я, стоя в уголке, слушая после неизъяснимых мучений эту первую обедню. Закрыв глаза, прислушивалась к кроткому голосу священника и стройному пению солдат. Я могла себя вообразить у себя в лазарете — только вместо раненых стояли настрадавшиеся заключенные.

Комендант Наджаров обращался со всеми заключенными предупредительно и любезно, но был большой кутила. Он держал беговых лошадей, на которых по вечерам проезжал мимо наших окон. Навещал он нас ежедневно, ладил с солдатами и умел устранять неприятности. Впрочем, он не стеснялся требовать с меня и с других постоянно большие суммы денег «в долг». К

счастью, эти просьбы удалось мне отклонить. Трудно об этом говорить, когда я видела от него много добра, но таковы были нравы и привычки многих русских людей, и нечего удивляться, что случилось все то, что теперь мы переживаем.

В Арестном Доме я начала поправляться. Весь день я просиживала у открытого окна и не могла налюбоваться на зелень в садике и на маленькую церковь Косьмы и Дамиана. Но больше всего доставляло удовольствие — смотреть на проходивших и проезжающих людей. Цвет лица из земляного превратился в нормальный, но я долго не могла привыкнуть разговаривать, и меня это страшно утомляло. К вечеру я очень нервничала: мне все казалось, что придут за мной стрелки из крепости, и я просила разрешения коменданта, чтобы позволили девушке спать в одной комнате со мной. Учитывая мое нервное состояние, он впоследствии разрешил сестрам милосердия моего лазарета ночевать со мной. Спали они, бедные, на полу на матрасе, чередуясь. Одна из них скрывала это от своих родителей, боясь, чтобы ей не запретили дежурство; с благодарностью вспоминаю их всех.

Свиданья были разрешены по 4 часа в день. Как я могу описать радость свидания с родителями и с некоторыми дорогими друзьями, которые не побоялись меня навещать — словами всего не опишешь. Сидела с родителями без посторонних свидетелей и говорила без умолку; мне привезли одежду, книги и многое множество цветов. Узнала я о полном разгроме нашей армии и о шатком положении пресловутого Временного правительства. Что ожидало бедную Родину, никто не знал. Мои дорогие друзья в Царском были еще живы и здоровы, но терпели ежедневно оскорбления от палачей, которые окружали их. О подробностях июльской революции знаю меньше, чем те, кто был в то время на воле. Но какие ужасные дни пережили и мы, заключенные. У нас в карауле поговаривали, что будет восстание большевиков.

Произошло это ночью 3 июля. Из казарм Саперного полка, находившегося как раз за церковью Косьмы и Дамиана, стали доноситься дикие крики: «Товарищи, к вооруженному восстанию!..» В одну минуту солдаты сбежались со всех сторон с винтовками, кричали, пели какие-то песни, откуда-то слышались выстрелы, загремела музыка. Дрожа от волнения и страха, я стояла у окна с горничной и солдатом из караула с Георгиевской медалью. Последний рассказывал, что у них была получена телеграмма от кронштадтцев, чтобы ожидать их приезда к 2 часам ночи; лично он был против выступления и говорил, что в случае чего спрячет меня у своей сестры, так как я-де единственная женщина здесь.

Никто эту ночь не спал; бедные морские офицеры ходили, как звери в клетке, взад и вперед. Всех нас предупредили не оставаться в наших комнатах, так как опасались, что будут стрелять в наш дом. По нашей улице шествовали все процессии матросов и полки с Красной Горки, направляясь к Таврическому Дворцу. Чувствовалось что-то страшное и стихийное: тысячами шли они, пыльные, усталые, с озверелыми, ужасными лицами, несли огромные красные плакаты с надписями «Долой Временное правительство! Долой войну!» и т. д. Матросы, часто вместе с женщинами, ехали в грузовых автомобилях, с поднятыми на прицел винтовками. Наш караульный начальник объявил, что если они подойдут к Арестному Дому, то караул выйдет к ним навстречу и сдаст оружие, так как все караульные на стороне большевиков.

Комендант показал себя молодцом: караул хотел его арестовать, но он просидел с ними двое суток, уговаривая их, и в конце концов склонил всех на свою сторону. Караул в эти дни, к счастью, не сменяли. Я сама все время сидела в коридорчике с генералом Беляевым. Нервно больной, он трясся как лист, и мне же, которая боялась одной спать в комнате, приходилось все время его успокаивать. Изнемогая от усталости на вторую ночь, я прилегла, пока генерал сторожил у окна. Дорогой доктор Манухин несколько раз посетил меня, но в эти дни он опасался приехать. Руднев приезжал ко мне с допросами, и раз был Петроградский прокурор Коринский, который сказал уходя, что есть надежда на мое скорое полное освобождение.

24 июля пришла телеграмма из прокуратуры, чтобы кто-нибудь из моих родных приехал за получением бумаги на мое освобождение. Родители уехали в Терриоки. Целый день я ожидала дядю Гришу — на него была единственная надежда. Как я волновалась! К счастью, около 6 часов он приехал и тотчас же помчался в прокуратуру, надеясь еще застать прокурора. Я стояла у окна с двумя моими врачами из лазарета, с замиранием сердца ожидая его. Наконец на углу показался извозчик, на котором ехал дядя, издали махая бумагой. Вбежав в комнату, он обнял меня со словами «Ты свободна!». Я заплакала... Прибежали арестованные, солдаты, горничные: жали мне руки, связывали узлы с моими пожитками. Караульный начальник сам свел меня под руку по лестнице, усадили меня на извозчика, и мы поехали мимо церкви Космы и Дамиана в квартиру дяди. Поднялись наверх: маленькая столовая, накрытый стол — точно во сне... После тюрьмы лишь понемногу привыкаешь к свободе: воля как бы убита, даже трудно пройти в соседнюю комнату... все как будто надо у кого-то просить позволения... Но какое необъяснимое счастье — свобода... Какая радость эти первые дни двигаться по комнатам, сидеть на балкончике, смотреть на проходящую и проезжающую публику. А главное — посещать храмы: я объездила все родные церкви. Иногда ездила с родителями или с кем-нибудь из моего лазарета в Удельный лес или на Лахту — не могла надышаться и налюбоваться природой.

В Царское, конечно, не смела ехать. От моего верного Берчика узнала, как обыскивали мой домик, как Временное правительство предлагало ему 10 тысяч рублей, лишь бы он наговорил гадости на меня и на Государыню; но он, прослуживший 45 лет в нашей семье, отказался, и его посадили в тюрьму, где он просидел целый месяц. Во время первого обыска срывали у меня в комнате ковры, поднимали пол, ища «подземный ход во дворец» и секретные телеграфные провода в Берлин. Искали «канцелярию Вырубовой» и, ничего не найдя, ужасно досадовали. Но главное, что они искали, — это винные погреба, и никак не могли поверить, что у меня нет вина. Обыскав все, они потребовали, чтобы моя старушка кухарка приготовила им ужин, и уехали, увезя в карманах все, что могли найти поценней.

Хотя я не могла поехать в Царское навестить тех, о ком я так скучала, но за несколько дней до их отъезда в Сибирь я получила маленькое письмо от Государыни (письмо № 1 — см. Приложение I). С этим письмом Государыня послала мне коробку моих золотых вещей, которую она сохранила во время моего ареста. Горничная рассказывала мне, как они провели лето, как одно время Их Величеств разъединили друг от друга и позволяли только разговаривать во время обеда и завтрака в присутствии офицеров. Революционная власть Временного правительства старалась всеми силами обвинить Государыню в измене и т. д., но им не удалось. Они ненавидели ее гораздо больше Государя. Когда их обвинение не нашло себе подтверждения, они снова дозволили Государю и Государыне быть вместе. После их отъезда в Сибирь маленькая горничная опять пришла ко мне. Она рассказывала, как Керенский устраивал их путешествие и часами проводил время во дворце, как это было тяжело Их Величествам. Он приказал, чтобы в 12 часов ночи все были готовы к отъезду. Дорогие царские узники просидели в круглом зале с 12 часов до 6 часов утра, одетые в дорожное платье. В 5 часов утра один из преданных лакеев не побоялся принести им чаю, что немножко их подбодрило. Алексею Николаевичу становилось дурно. Уехали они из дворца с достоинством, совсем спокойные, точно отправляясь на отдых в Крым или Финляндию. Даже революционные газеты не могли ни к чему придраться.

Я переехала к зятю в его дом на Морской. В верхнем этаже жил некий Манташев, и там каждую ночь происходили кутежи, которые кончались часов в 7 утра. Вино лилось рекой. Бывали там Их Высочества Борис Владимирович, Мария Павловна и другие. Я тяжело заболела разлитием желчи и целыми ночами не могла спать от шума и музыки; больная и нервная, я не могла привыкнуть к этой обстановке после всего пережитого. Зять мой тоже целыми ночами

пропадал у них наверху. Приезжал ко мне Mr. Gibbs, снимал меня для Государыни и уехал в Тобольск. Всевозможные корреспонденты, английские и американские, ломались ко мне, но я видела, кажется, только двух или трех: американца Crozzier-Jong и Mrs. Dorr. Зять мой получил письмо от своей сестры, что она приезжает и не хочет быть со мной под одной крышей, и я переехала снова к дяде.

24 августа вечером, как только я легла спать, в 11 часов явился от Керенского комиссар с двумя «адъютантами», потребовав, чтобы я встала и прочла бумагу. Я накинула халат и вышла к ним. Встретила трех господ, по виду евреев; они сказали, что я, как контрреволюционерка, высылаюсь в 24 часа за границу. Я совладала с собой, хотя рука дрожала, когда подписывала бумагу; они иронически следили за мной. Я обратилась к ним с просьбой отложить отъезд на 24 часа, так как фактически не могла в этот срок собраться: у меня не было ни денег, ни разрешения взять кого-нибудь с собой. Ко мне, как опасной контрреволюционерке, приставили милиционеров. Заведующий моим лазаретом Решетников и сестра милосердия Веселова вызвались ехать со мной. 25-го появилось сообщение во всех газетах, что меня высылают за границу; указан был день и час. Близкие мои волновались, говоря, что это провокация. Последнюю ночь мои родители провели со мной, из нас никто не спал. Утро 26-го было холодное и дождливое, на душе невыразимо тяжело. На станцию поехали в двух автомобилях, причем милиционеры предупредили ехать полным ходом, так как по дороге могли быть неприятности. Мы приехали первыми на вокзал, в зале 1 класса ожидали спутников. Дорогим родителям разрешили проводить меня до Терриок. Вагон наш был первый от паровоза. В 7 часов утра поезд тронулся, — я залилась слезами. Дядя в шутку называл меня эмигранткой. Несмотря на все мученья, которым я подвергалась за последние месяцы, «эмигрантка» убивалась при мысли уезжать с Родины. Казалось бы, все готова терпеть, лишь бы остаться в России. Наша компания контрреволюционеров состояла из следующих лиц: старика редактора Глинки-Янчевского, доктора Бадмаева — пресмешного божка в белом балахоне с двумя дамами и маленькой девочкой с черными киргизскими глазками, Манусевича-Мануйлова и офицера с Георгиевской ленточкой в петлице и в нарядном пальто, некоего Эльвенгрена. Странная была наша компания «контрреволюционеров», не знавшая друг друга. Стража стояла у двери; ехал с нами тот же комиссар-еврей, который приехал ко мне ночью с бумагой от Керенского. Почему-то теперь он был любезнее. В Белоострове публика заметила фигуру доктора Бадмаева в белом балахоне и начала собираться и посмеиваться. Узнали, что это вагон контрреволюционеров; кто-то назвал мою фамилию, стали искать меня. Собралась огромная толпа, свистели и кричали. Бадмаев ничего не нашел умнее, как показать им кулак; началась перебранка — схватили камни с намерением бросить в окна. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы поезд не тронулся. Я стояла в коридорчике с дорогими родителями ни живая, ни мертвая. В Терриоках — раздирающее душу прощанье, и поезд помчался дальше.

Но случилось еще худшее. Подъезжая к Рихимякки, я увидела на платформе толпу в несколько тысяч солдат; все они, видимо, ждали нашего поезда и с дикими криками окружили наш вагон. В одну минуту они отцепили его от паровоза и ворвались, требуя, чтобы нас отдали на растерзание. «Давайте нам Великих Князей. Давайте генерала Гурко...» Их ввалилось полный вагон. Я думала, что все кончено, сидела, держа за руку сестру милосердия «Да вот он, генерал Гурко», — кричали они, вбежав ко мне. Напрасно уверяла сестра, что я больная женщина, — они не верили, требовали, чтобы меня раздели, уверяя, что я — переодетый Гурко. Вероятно, мы все были бы растерзаны на месте, если бы не два матроса-делегата из Гельсингфорса, приехавшие на автомобиле: они влетели в вагон, вытолкали половину солдат, а один из них — высокий, худой, с бледным добрым лицом (Антонов) — обратился с громовой речью к тысячной толпе, убеждая успокоиться и не учинять самосуда, так как это позор. Он сумел на них подействовать, так что солдаты немного поутихли и позволили прицепить вагон к паровозу для дальнейшего следования в Гельсингфорс. Антонов сказал мне, что он социалист,

член Гельсингфорского совета и что их комитет получил телеграмму из Петрограда — они предполагали, что от Керенского — о нашей высылке и приказание нас захватить; рассказал, как они мчались в автомобиле, надеясь захватить также Великих Князей и генерала Гурко, что мы, в сущности, представляем для них малую добычу и что они нас задержат до тех пор, пока не получат разъяснения Правительства о причине высылки контрреволюционеров за границу. Он сел около меня и, видя, что я плачу от нервного потрясения, только что пережитого страха, ласково успокаивал меня, уверяя, что никто меня не обидит и, выяснив дело, отпустят. Мне же лично дело это не представлялось настолько простым: казалось, что все это было подстроено, чтобы толпа разорвала нас. Вероятно, и с генералом Гурко также бы разделались, но он был умнее и уехал в Архангельск к англичанам.

К ночи мы подъехали к Гельсингфорсу. Всех остальных спутников Антонов отправил под конвоем, мне же и сестре он сказал, что проведет нас в лазарет, находившийся на станции. От слабости и волнения я не могла держаться на ногах, санитары на носилках понесли меня на пятый этаж. По всей дороге стояла толпа больных и раненых матросов и солдат в полосатых синих халатах. Особенных замечаний не слыхала; кто-то даже сказал: бедняжка... Сестра финка, очень милая, уложила меня в постель, дала лекарство, но нам недолго пришлось остаться в покое. Через полчаса поднялась суматоха, пришел караул с «Петропавловска», матросы, похожие на разбойников, со штыками на винтовках, какие-то делегаты из комитета, требуя, чтобы меня перевезли на «Полярную Звезду» к остальным заключенным. Антонов с ними сердито спорил, доказывал, но ему пришлось сдаться. Он с бледным, взволнованным лицом прибежал мне объяснить положение дела и торопил скорее одеться.

Испуганная и слабая, я спустилась вниз на костылях среди возбужденной толпы матросов. Антонов шел возле меня, все время их уговаривая. Самое же страшное было, когда мы вышли на площадь перед вокзалом. Тысяч шестнадцать народу — и надо было среди них дойти до автомобиля. Ужасно слышать безумные крики людей, требующих вашей крови... Но Господь чудом спас меня. Я же была уверена, что меня растерзают, и чувствовала себя, как заяц, загнанный собаками... Антонов вел меня под руку, призывая их к спокойствию, умоляя, уговаривая... Все это было делом нескольких минут, но никогда в жизни их не забуду. Антонов бережно посадил меня и сестру в автомобиль, и мы начали медленно двигаться сквозь неистовствующую толпу. «Царская наперсница, дочь Романовых. Пусть идет пешком по камням...» — кричали обезумевшие голоса. Но Антонов, стоя в моторе, жестикулировал, кричал, заставляя их расступить и давать дорогу...

Наконец вырвались и покатались куда-то по городу. На набережной остановились, пришлось лезть по плоту, доскам и, наконец, по отвесному трапу. Антонов почти нес меня на руках. Мы очутились на яхте «Полярная Звезда», с которой связано у меня столько дорогих воспоминаний о плаваниях — по этим же водам с Их Величествами... Яхта перешла, как и все достояние Государя, в руки Временного правительства. Теперь же на ней заседал «Центробалт». Нельзя было узнать в заплеванной, загаженной и накуренной каюте чудную столовую Их Величеств. За теми же столами сидело человек сто «правителей» — грязных, озверелых матросов. Происходило заседание, на котором решались вопросы и судьба разоренного флота и бедной России.

Пять суток, которые я провела под арестом на яхте, я целый день слышала, как происходили эти заседания и говорились «умные» речи. Мне казалось, что сижу в доме сумасшедших... Нас поместили в трюм. Все было переполнено паразитами; день и ночь горела электрическая лампочка, так как все это помещение было под водой. Никогда не забуду первой ночи. У наших дверей поставили караул с «Петропавловска», те же матросы с лезвиями на винтовках, и всю ночь разговор между ними шел о том, каким образом с нами покончить, как меня перерезать вдоль и поперек, чтобы потом выбросить через люк, и с кого начать — с женщин или со

стариков. Всю ночь не спал и наш новый друг Антонов; сидел у стола, разговаривал то с тем, то с другим; когда караул гнал его спать, он отказывался, говоря, что исполняет при нас обязанности комиссара и не имеет права спать. Он напоминал постоянно матросам, что без согласия совета матросы не имеют права нас лишать жизни. Когда караул сменила команда с «Гангута», Антонов ушел, и я больше никогда его не видала. Вернувшись на свой корабль, матросы с «Петропавловска» убили всех своих офицеров...

Так провели мы пять суток. Как мы не сошли с ума, не знаю, но когда нас перевели в крепость, то я заметила, что стала седая. Нас выводили на полчаса на верхнюю палубу; там мы набирались воздуха; я садилась возле рубки, где так часто сидела с Государыней и где каждый уголок был памятен мне. На этом же месте пять лет тому назад я снимала Императрицу-Мать вместе с Государем и ее японскими собачками в день именин Государыни; какая чистота была тогда на яхте... а теперь! Под крики ораторов Центробалта сидели мы, ожидая нашей участи. — Ну что? Есть известия из Петрограда? — то и дело спрашивали мы, но никто не ехал, никто ничего не знал. Кормили нас хорошо. Вылезали из наших нор к столу: нам приносили мясо, суп, много хлеба и чай. Новый ужас пережили мы на второй вечер, когда был митинг на площади около «Полярной Звезды» по поводу нас. Толпа требовала самосуда, ворвались делегаты на яхту, обходили наши конуры и нашли, что мы слишком хорошо содержимся. Мыться не было возможности среди матросов. Набрела на двух земляков из нашего села Рождествена. Они жалели меня и говорили, что если бы знали, что это наша Анна Александровна, то как-нибудь похлопотали бы, но теперь ничего нельзя было сделать. Раз вечером я нашла у себя в каюте безграмотно написанное письмо, которое сообщало, что нас поведут в крепость или тюрьму и что пишущий жалеет меня.

Мысль о новом заключении была ужасна. Наконец, 30 августа вечером пришли к нам. Островский (начальник охраны), молодой человек лет 18-ти со злыми глазами и нахальным выражением, а также несколько членов совета и объявили, что все арестованные отправляются в тюрьму в Свеаборгскую крепость, сопровождающие же их по собственному желанию могут быть свободны. Я кинулась к сестре, умоляя ее не оставлять меня, но она наотрез отказалась. «Я принес Вам манифест — вы свободны», — объявил он сестре, Решетникову и двум женщинам, сопровождавшим доктора Бадмаева. Одна из них, странная стриженная барышня с подведенными глазами, Эрика, называла себя гувернанткой маленькой Аиды. Островский, бритый, в шведской куртке и фуражке защитного цвета, нагло насмехался: «Конечно, я понимаю, ходить за больными, — говорил он, — но не за такой женщиной, как Вырубова». Вокруг поднялся наглый хохот. «Да кроме того их, вероятно, скоро убьют...» Но стриженная барышня, оставляя маленькую Аиду, объявила: «Я еду с доктором Бадмаевым». Потом, подойдя ко мне, она шепнула: «Хотя я вас не знаю, я буду за вами ходить». Нас торопили. Я передала сестре несколько золотых вещей и просила ее передать последний привет родителям. Спустились по скользкому трапу и помчались в большой моторной лодке в неизвестность...

Глава 19

Крепость Свеаборг расположена на нескольких маленьких островах в заливе, недалеко от Гельсингфорса. Залив этот зимой совсем замерзает, летом же острова эти покрыты зеленью и служат местом прогулки для обывателей Гельсингфорса.

Минут через 20 мы причалили к острову, где находится крепость, и пошли пешком в гору. Налево, на фоне темного неба, окруженный зеленью, высился белый собор, направо за гауптвахтой — одноэтажное каменное здание, куда нас повели. Принял нас какой-то молоденький офицер, окружили грязные солдаты — повели по узкому вонючему коридорчику, по обе стороны которого были двери в крошечные грязные камеры. Меня и Эрику втолкнули в

одну из них и заперли.

Двое нар, деревянный столик, высокое окно с решеткой и непролазная грязь повсюду. Эрика и я улеглись на доски, свернув пальто под голову. Утром проснулись от невыносимой боли в спине, затекла голова, и мы чихали от пыли, которой наглотались за ночь. Но Эрика смеялась, уверяя, что все будет хорошо. Нельзя себе вообразить уборную, куда мы ходили в сопровождении часового: для караула и заключенных была одна и та же уборная. Пищу нам приносили из офицерского собрания: все было вкусно. Платили за обед и ужин по 10 рублей в день. Бедный Глинка-Янчевский уверял, что он никогда так хорошо не ел, как в крепости. Еду нам приносил сторож Степан; на вид он был невероятно грязный, носил полотенце вокруг шеи и этим полотенцем вытирал тарелки. Он вымыл нашу ужасную камеру. Мы влезли на стол и увидели из окна двор; напротив была какая-то постройка; рабочие, финны и финки, проходили по дворику. Из форточки, которую мы ухитрились открыть, дул прохладный морской ветерок.

Напротив нас была камера Мануйлова — через форточку в дверях мы увидели его. Он стал нам показывать три пальца и написал: «Три дня». — «Нет, не три дня, наверно, мы просидим здесь месяц», — сказала я и написала крупным шрифтом: «Месяц». Столько времени мы и просидели здесь.

Большой опасности мы подвергались при смене караула, пока не назначили комиссара наблюдать за солдатами. По ночам они напивались пьяными и галдели так, что никто из нас не мог спать. Узкий коридорчик выходил в караульное помещение; приходило их человек 20 или 30. Играли в карты, пили, курили, спали, но больше всего спорили между собой. Караульным начальником был офицер, а также его помощник. Эти юные офицеры боялись солдат больше нас, так как солдаты грозили покончить с ними самосудом. Один из них, посмелей, раза два спас нам жизнь, уговорив солдат, когда они решили с нами покончить. В конце заключения мы по вечерам ходили к ним в дежурную комнату пить чай. В комнате этой стояли два зеленых кожаных дивана. С этих диванов, после десяти дней заключения, вынули сидения, принесли Эрике и мне и положили на нары. Но эти сидения оказались неудобные, скользкие и покатые. Когда мы засыпали, они из под нас выскальзывали. Позже эти сидения заменили матрацами, набитыми морской травой.

Нас не запирали, так как замки от камер были потеряны. На воздух нас выводили по полчаса и позволяли гулять по гауптвахте. Прогулки эти, в сущности, были опасные, так мимо гауптвахты проходила проезжая дорога; солдаты артиллеристы и из крепостного гарнизона проходили мимо, идя на пароход или с парохода. Собиралась толпа любопытных, так что нас стали выводить рано утром. Особенное внимание привлекал доктор Бадмаев в его белой чесучовой рубашке, белой шляпе и белых нитяных перчатках; главное же — он всегда заговаривал с толпой. Смотрели на нас, как на зверей в клетке, но после надоело, и редко кто останавливался.

Эрика все просилась к доктору Бадмаеву, и ее стали пускать к нему на целый день. Он диктовал ей разные врачебные сочинения и романы. По вечерам он надевал бледно-голубой халат, сидел в полутьме, так как лампу ставил на пол и жег какие-то ароматные травы. Солдаты насмехались над ним из-за его нежного отношения к Эрике, но в конце нашего заключения к нему целый день приходили лечиться матросы и говорили, что если других отпустят, то товарища Бадмаева они не отпустят, так как он им очень помогает. Меня же Бадмаев не любил, так как я отказалась принимать его порошки и пользоваться массажем, хотя он уверял, что я буду ходить без костылей.

Но зато к бедному Глинке-Янчевскому все, начиная со сторожа Степана, относились с полным презрением, так как у него совсем не было денег. Нельзя себе вообразить, какими рисунками

были вымазаны стены его камеры; голые женщины и т. д. в натуральную величину. Солдаты вначале даже не позволяли к нему входить, пока не смыли часть рисунков. Бедный старичок все время спал на голых досках, покрываясь старым пальто. Когда вечером всем давали лампы, его обносили. Я приносила ему молоко и читала вслух газеты; чая у него не было, и каждый вечер он приходил со стаканом кипятка, прося уделить ему немного чая. Каждый день он обращался к нам с одним и тем же вопросом: «Ну что, сегодня мы уезжаем?» — «Нет», — отвечали ему, и старичок побредет к себе в камеру с ужасными рисунками и смирно сидит весь день. Мы часто шутили, говоря, что если нас освободят, то его, наверное, забудут в крепости.

Если Гельсингфорский совет не сразу нас уничтожил, то, думаю, из-за того, что мы числились арестованными Керенского, которого они ненавидели. Офицеры приносили мне поклоны и выражали много сочувствия от себя и от разных лиц. Особенно же хорошо относился к нам некий матрос-комиссар К. Назначили его к нам после того, как раз, проснувшись ночью, Эрика и я увидели у нас в камере несколько пьяных солдат из караула, пришедших с самыми худшими намерениями. Мы стали кричать о помощи; вбежали другие солдаты, которые спасли нас. Тогда я обратилась к одному из членов Центробалта, некоему матросу Попову, которого называли министром юстиции, так как он заведовал арестованными, с просьбой назначить кого-нибудь из матросов комиссаром при нас на случай опасности от караула. Назначили матроса К.; худой, бритый, с кудрявыми волосами, он был очень сердечный человек. Водил меня три раза в собор к обедне в будний день: народу ни души; два солдата у выручки ласково встречали. Водил он меня гулять в маленький садик, принадлежавший какому-то казенному зданию. У окна стоял офицер: он сразу выпрыгнул в сад, поцеловал мне руку и нарвал мне последние осенние цветы. Матрос К. помнил меня по плаванию с Их Величествами, когда он служил в охране.

Газеты были полны решениями полковых и судовых комитетов, и все приговаривали меня к смертной казни. Караул приходил от шести рот поочередно. Вначале настроение было очень возбужденное. Когда же поговорят, то смягчались, но при смене, как я уже писала, до самого конца были такие, которые хотели покончить с нами самосудом. Но не было того одиночества, как в Петропавловской крепости. Хотя иногда все же было трудно успокаивать всех моих спутников, которые нервничали, и все приходили ко мне за успокоением и уверяли меня, что если бы не я, то никому не сдобровать.

Раз как-то пришла самая буйная шестая рота и во главе ее ужасный рыжий солдат. Слышала, как он сказал, что в эту ночь со всеми покончат. Как мы дрожали, когда он с винтовкой пришел и сел к нам на нары и стал нагло браниться. Эрика и я угостили его папиросами; он стал разговаривать, а в конце заключения стал первым моим защитником. Очевидцы офицеры рассказывали, как мимо гауптвахты проходили два артиллериста и кричали: «Не зевай, Анна Вырубова одна гуляет по дворику, еще сбежит!» — «Анна Вырубова сбежит!» — ответил он. — Я вас самих за Анну Вырубову заколю, если вы сейчас не уйдете!» Еще случай: гуляя по дворику, я срывала все убогие цветочки, которые росли между камнями. И вот однажды, во время прогулки по гауптвахте, подходит ко мне высокий солдат артиллерист с большим белым свертком. «Вот вам цветы, — сказал он, — я видел, как вы все собираете, ездил в город и вам привез!» Так и ушел. Солдаты вокруг только ахнули. Развернула — розы, марок на 50...

С нами сидело восемь солдат, арестованных за кражи, убийства и т. д. «Наши товарищи по несчастью», — называли они себя. Огромный рябой Калинин всегда ворчал и спал; Цыганков, который жаловался на нас караулу, из-за чего мы могли поплатиться жизнью, и другие. Позже я им читала вслух, и мы покупали папиросы.

О судьбе же нашей никто ничего не знал. Через неделю после заключения приехал Шейман, председатель областного комитета, со своей свитой матросов и солдат и сказал, что на другой

день постарается вывезти нас миноносцем в Кронштадт, приказал нам быть готовыми к 9 часам вечера. Но он не приехал и дал знать, что из-за настроения толпы вывезти нас невозможно. Говорили, что пришла телеграмма в Гельсингфорс от Керенского и от Чхеидзе с требованием о нашем освобождении, но приказания Керенского на собраниях в полках и на судах решили не исполнять. Матросы и солдаты рассказывали, что они ненавидят Временное правительство; имя Керенского они не могли равнодушно слышать. От Временного правительства и из Центрального Совета приезжал к нам некий Каплан, который на словах выражал нам сочувствие, но находил положение наше безвыходным. Н. Соколов (автор приказа № 1), очень сердечный, понял весь ужас нашего положения, обратился к караулу с речью как их «старший товарищ», прося не учинять безобразий, но они продолжали играть в карты, курили, а после над ним смеялись. Приезжал также Иоффе, уверяя, что принимает все меры.

Приходили к нам посетители, и через две недели Островский возвестил нам, что мы более не считаемся арестованными, а лишь задержанными. Гулять разрешали два раза в день по одному часу. Когда я сидела на дворике, часто приходили рабочие женщины разговаривать со мной. Они приносили мне цветы, конфеты и молоко, успокаивали, говоря, что в их газетах пишут, что меня скоро выпустят. Старший рабочий был москвич. В конце моего заключения он умолил меня прийти в его домик недалеко от нас. Комиссар разрешил. Я пила у них чай, причем ни он, ни жена его при мне не садились. Угощали меня чаем и пряниками. Странно было видеть столько добра среди окружающих.

Когда Эльвенгрена перевели в лазарет, Эрика и я перешли в его камеру; солдаты помогли нам вымыть стены с ужасными рисунками. Вскоре меня посетила моя дорогая мама. Всего она была у меня три раза: 8, 16 и 20 сентября. Свиданье разрешили на весь день, так что она сидела со мной с 12 до 7 часов вечера. Заказывали для нее лишний обед. Она рассказывала, что только на третий день узнали о постигшем меня бедствии, сейчас же поехали в Гельсингфорс, но генерал-губернатор Стахович уговорил их уехать обратно. Родители передали ему деньги, которые Стахович передал для меня члену Исполнительного Комитета, но последний с этими деньгами скрылся. Я услышала от матери, что, слава Богу, доктор Манухин вернулся и тоже хлопочет за меня. Узнала также о Корниловской истории, которая немного отвлекла от нас внимание матросских масс: они ненавидели всех, и Корнилова и Керенского, не доверяли Чхеидзе, а рассказывали о выдающихся качествах Ленина и что он теперь скрывается в Петрограде.

Как-то приезжал из Кронштадта курчавый матрос, делегат-большевик. Матрос Попов привел его ко мне. Он расспрашивал о царской семье и моем заключении, а уходя, сказал: «Ну, мы вас совсем иной представляли!» Ужасно было то, что всякий мог войти к нам помимо караула. Вскоре после пришли человек 10 матросов-большевиков, и насколько первый был учтивый, настолько эти ввалились с громкими криками: «Показать нам Вырубову!» Я вся похолодела. «Лучше выходить», — сказал мне кто-то. Я открыла дверь камеры, и они все сразу окружили меня. Все были очень возбуждены, я же была спокойна. Стали расспрашивать, и чем больше говорили, тем более становились приветливее. «Так вот вы какая», — говорили они уходя, протянули руки, желали скорее освободиться, говоря, что в подобной обстановке легко заболеть.

Но я не болела. Иногда даже после ужина позволяли выходить подышать воздухом: звездное небо, белый величественный собор через дорогу как бы охранял нас от зла; сколько я молилась, глядя на него! Становилось рано темно, было сыро и холодно, и мы грелись у печей в коридоре, читали солдатам вслух рассказы Чехова; приходили и солдаты из караула слушать. Вокруг гауптвахты росли огромные деревья рябины: солдаты влезали на них и приносили рябину, которую мы поджаривали на огне за неимением других лакомств. Кроме матроса К. у нас было еще два комиссара: первый — маленький, толстый солдат артиллерист; он неохотно

дежурил, так как был против нашего заключения; он тоже водил меня в церковь и гулять, но не хотел назвать своей фамилии; второй — солдат Дукальский, огромный, энергичный, много говорил, жестикулировал и решал мировые вопросы; впоследствии он стал помощником Шеймана. Его боялись. Он несколько раз спасал нас от караула, произнося им речи.

В Петрограде был какой-то «Съезд Советов», и ожидалась перемена правительства. В случае ухода Керенского матросы решили нас отпустить. 27-го сентября Шейман вернулся из Петрограда, зашел к нам и, придя в мою камеру сказал, что Луначарский и Троцкий приказали, чтобы освободили заключенных Временного правительства. С Шейманом также говорил доктор Манухин, что сегодня вечером, во-первых, будет закрытое заседание президиума Областного Комитета и они предложат вопрос о нашем освобождении; если пройдет, то на днях этот вопрос он предложит на общем собрании, где будут участвовать человек 800 из судовых команд, но что он решил лично меня перевести завтра в лазарет. Вечером мы пили чай в дежурной комнате офицеров; позвонил телефон, позвали меня, сказали, что президиум постановил нас отпустить.

День 28-го сентября прошел, как обыкновенно: грязный Степан приносил обед. В 6 часов сидела с сестрой милосердия, которая ежедневно навещала меня, когда вошли Шейман и Островский. Первый предложил мне одеться и идти за ними, сестре же велел уложить мои вещи и идти на пароход. Все это было делом минуты. Повыскакивали из камер мои спутники, он что-то им объяснил, подписал бумагу, которую принесли офицеры, и мы прошли на двор, где стояли два солдата, приехавшие с ним. Мы быстро пошли по дороге, ведущей мимо стройки по направлению к берегу; пока караул успел опомниться, нас уже не было. У берега между камней была запрятана небольшая моторная лодка. Шейман и один из солдат подняли меня в лодку, вскочили, у машины я увидела матроса — одного из членов Областного Комитета. Он завел мотор, Островский стал к рулю, Шейман же стоял на носу. Я же мало что соображала, сидя между двумя солдатами. «Лягте все», — скомандовал Шейман: мы проезжали под пешеходным мостом. Затем они стали ловить багром флаг, который потеряли, подъезжая к Свеаборгу. Наконец мотор застучал, и мы полетели.

Неслись, как ветер, по зеркальной поверхности огромного залива. Чудный закат солнца, белый собор уходил все дальше и дальше, на небе зажигались первые звезды. Я же все думала, какими только путями Богу угодно вести меня этот год, и через кого только не спасал меня от гибели. Уже стемнело, когда пришли к военной пристани в Гельсингфорсе, прошли так близко мимо эскадры, что невольно содрогнулась, смотря на грозные разбойничьи корабли. Шейман помог мне идти по длинной деревянной дамбе, солдатам же приказал уйти. На берегу стоял мотор, шофер даже не обернулся. Он плохо знал улицы, Шейман тоже, так что мы долго искали дорогу. У меня кружилась голова от волнения. Везде гуляла масса публики, горели электрические фонари. Наконец мы очутились у ворот небольшого каменного дома в переулке. Пожав руку шоферу «товарищу Николаю», Шейман отправил Островского за сестрой и вещами. Мы же прошли через двор. Прелестная сестра милосердия финка открыла нам дверь. Он передал меня ей, приказав никого не впускать. Она повела меня в санаторий, и я легла спать в большой голубой угловой комнате.

После месяца, что я спала на досках, какой счастье была эта мягкая, чистая кровать и уход прелестной сестры. Я провела два дня в этой сказочной обстановке: какой отдых было не видеть и не слышать ужасных солдат и матросов. Приезжал ко мне врач, финский профессор. 3-го неожиданно приехала моя тетя. Шейман разрешил ей остаться со мной. В 5 часов приехал он сам сказать, что вопрос о нас решен Областным Комитетом положительно, что нас отпускают, так как во главе Петроградского Совета встал Троцкий, которому они нас препровождают. Островского он послал за остальными заключенными, меня же Шейман сам привез на вокзал, и человек 6 солдат «народной охраны» провели до вагона. Поезд тронулся,

все были очень веселые, Островский же совсем пьян, все время пел песни. Я сидела между моей тетей и сестрой милосердия, страшно волнуясь, молясь — чтобы ночь скорее прошла.

В 9 часов утра мы приехали в Петроград. Шейман провел меня и сестру к извозчикам, и мы поехали в Смольный. Очутились в огромном коридоре, по которому бродили солдаты. Мы вошли в большую просторную комнату с надписью «дортуар», где теперь стояли грязные столы. Я была счастлива обнять дорогую маму, которая вбежала с другим родственниками. Вскоре пришел Каменев и его жена; поздоровавшись со всеми нами, сказал, что, вероятно, мы голодные, приказали всем принести обед. Они решили вызвать кого-нибудь из следственной комиссии по телефону, но никого не могли найти, так как было воскресенье и праздник Покрова (я все время надеялась, что в этот день Божия Матерь защитит нас). Каменев же сказал, что лично он отпускает нас на все четыре стороны. Наконец приехал сенатор Соколов в своей черной шапочке, совещался с ними и сказал, чтобы мы теперь ехали по домам, но завтра в 2 часа утра приехали в Следственную Комиссию. Подписал бумагу, что принял нас, и мы были свободны. Поблагодарили Каменевых за их сердечное отношение после всех наших мытарств.

На следующий день все газеты были полны нами, писали скорее сочувственно о наших переживаниях. Обед же, которым нас угостили в Смольном, был описан во всевозможных вариантах. Целые статьи были посвящены мне и Каменевой: пошли легенды, которые окончились рассказами, что я заседаю в Смольном, что меня там видели «своими» глазами, что я катаюсь с Коллонтай и скрываю Троцкого и т. д. Варианты на эту тему, как прежде о Распутине, слыхала повсюду. Так кончилось мое второе заключение: сперва «германская шпионка», потом «контрреволюционерка», а через месяц «большевичка», и вместо Распутина повторялось имя Троцкого. Не зная, какие новые обвинения меня ожидают, я сперва поехала в Следственную Комиссию, где сказали, что дело мое окончено, и велели ехать в Министерство Внутренних Дел. Вошла в кабинет, где какой-то бритый мужчина начал длинную речь о том, что правительство пока высылку за границу отменяет, но что мы будем под надзором милиционеров. Первую неделю нам все же угрожали высылкой в Архангельск, но дорогой доктор Манухин хлопотал за нас, доказывая, что они нас посылают на верную смерть, так как большевики послали своих комиссаров на все дороги, чтобы следить за отъезжающими.

Около 20 октября стали ожидать беспорядков, и я переехала к скромному, добрейшему морскому врачу и его жене. В это время происходил большевистский переворот, стреляли пушки, арестовывали Временное правительство, посадили министров в ту же крепость, где они нас так долго мучили. Самый же главный из них — Керенский — бежал. В городе было жутко, на улицах стреляли, убивали, резали. Доктор приходил по вечерам из своего госпиталя, рассказывал, как приносили им раненых и убитых. Госпожа Сухомлинова скрывалась со мной, но 28-го октября я переехала еще в более скромную квартиру к одной бедной знакомой массажистке. Верный Берчик переехал ко мне. В середине ноября мы нашли маленькую квартиру на шестом этаже Фурштадской улицы, и я переехала с сестрой милосердия и Берчиком. Жила как отшельница, ходила только иногда в храм. Вид из комнаты был на небо, крыши домов и дальние церкви, и мне казалось, что на время приключения мои окончились.

Вот рассказ моей матери о том, как она хлопотала, чтобы облегчить мою участь после того, как меня заключили в Петропавловскую крепость.

— Узнав о заключении дочери, я сейчас же начала хлопотать и через присяжного поверенного Гальперна обратилась к Керенскому. Пошла к нему с мужем; он заставил нас ждать около часа, если не больше. Принял нас чрезвычайно грубо, наговорил массу гадостей, сказал, что Александре Феодоровне, Распутину и Вырубовой нужно поставить памятник, так как благодаря им настала революция, говорил, что у моей дочери масса бриллиантов от митрополита

Питирима и тому подобный вздор, и окончил тем, что заявил, что сделать для нее ничего нельзя. Когда же увидел мужа, он немного смягчился и сказал, что дело разберут.

Второе посещение было у Переверзева, который заместил Керенского в министерстве. В первый раз мы его ждали два часа, потом нам сказали, что он пошел завтракать и больше не принимает. В следующий раз он был корректен. Я принесла два письма дочери (к сожалению, они у него остались). Он обещал старательно рассмотреть дело. Тем временем ко мне обращались офицеры, несшие охранную службу в крепости и видевшие меня во время посещения дочери. Они выманивали у мужа и у меня по 4 тысячи рублей и более, говоря, что за это передадут еду дочери, или что могут хлопотать об ее освобождении, или предотвратить бунты караула; но все это было обманом. Один из них пришел вооруженный, обещался передать образок и письмо, но ничего не передал; деньги они пропивали и напаивали солдат, часто стимулируя бунты, чтобы тащить еще больше денег.

В то время я обращалась тоже к известному присяжному поверенному Николаю Платоновичу Карабчевскому, жившему еще тогда в своем особняке на Знаменской. Карабчевский принял меня очень сердечно и сочувственно, возмущался моим рассказом о постоянном выманивании денег якобы для облегчения судьбы бедной дочери. Он сейчас же хотел начать дело об этом, но по моей просьбе и по совету прокурора Карпинского оставил это на время, так как последний и я опасались, что оглашение этого факта только повредит дочери. Карпинский однако же сказал, что он этого не забудет и что это «большой козырь в его руках». Прощаясь со мной, Н. П. Карабчевский сказал мне: «Если когда-нибудь представится мне случай, я сочту это за честь громогласно защищать вашу дочь от всего этого ложного обвинения и этой клеветы».

Тут я стала обращаться в Следственную Комиссию и просила, чтобы меня и мужа вызвали на допрос. Меня допрашивал следователь Руднев четыре часа, а мужа, кажется, около двух с половиной. Председателю Муравьеву я принесла письмо дочери, написанное незадолго до революции после убийства Распутина, когда ее убеждали покинуть Государыню и тем себя спасти. Она в этом письме писала: «Я удивляюсь, что меня учат побегу; моя совесть чиста перед Богом и людьми, и я останусь там, где Господь меня поставил». Это письмо вызвало целый переворот у Муравьева, вначале наговорившего мне кучу неприятностей. Он мне сказал, что это письмо настолько важно, что я должна вернуться с ним к их заседанию. Я вернулась в пленум и перед всеми членами дала свои показания.

Была и у сенатора Завадского. Гальперн держал меня в курсе. Тут уже мне стал помогать доктор Манухин и управляющий делами Следственной Комиссии Косолапов. Ни князь Львов, ни Родзянко, к которым я тоже обращалась, ничего мне не ответили. Не отвечал и Керенский на мои письма. Участливо к моим хлопотам отнесся Чхеидзе. Благодаря Косолапову я получила после освобождения дочери бумагу из Следственной Комиссии о том, что дочь никакому обвинению не подлежит (см. приложение).

Во время Свеаборгского заключения я прежде всего обратилась через Гальперна к Керенскому, который послал в Гельсингфорс телеграмму без значения. Потом обратилась к Верховскому, военному министру, который меня не принял, к морскому министру Вердеревскому, обещавшему хлопотать, но ничего не сделавшему. Министр Внутренних Дел Салтыков участливо отнесся, но после разных хлопот сказал, что ничего не смог сделать. Тогда по совету доктора Манухина я обратилась к большевикам, так как дочь находилась в их руках.

Сперва пошла в Смольный к Каменевой: она внимательно выслушала, обещала сообщиться с Гельсингфорсом. Приехав туда, я обратилась в совет солдатских депутатов, к председателю Шейману. Последний, а также его помощник Кузнецов отнеслись сочувственно, сказав, что дочь только задержана, а не заключена, обещались охранять, дали постоянный пропуск к ней.

Губернатор Стахович сказал, что ничего не может сделать. Вернувшись из Гельсингфорса, я опять была у Салтыкова, уклончиво мне ответившего, и в Смольном у Каменевой. Тогда доктор Манухин посоветовал обратиться к Луначарскому и Троцкому. Первого не застала, а у второго была рано утром в десятом часу на маленькой квартире на Тверской. Он сам отворил дверь, извинился за беспорядок, сказав: «Наши все ушли на работу», положил перед собой часы, сказав, что может дать мне двадцать минут. Я была очень взволнована, говорила о прошлом заключении, клевете и грязи и о всех страданиях, вынесенных дочерью. Он меня внимательно выслушал. О муже сказал: «Ведь вашего мужа никто не трогал». Окончил разговор словами, что «дает слово, что все, что может, он сделает, и что если телеграмма его поможет, сегодня же ее пошлет». — Через два дня всех заключенных из Свеаборга перевезли в Петроград. Вероятно, Троцкий сделал это, чтобы доказать безвластие Временного правительства и свое возрастающее влияние.

Обращалась я и к Чернову, который участливо выслушал и обещал действовать через моряков. Во время заключения дочери при большевиках я обращалась по совету разных лиц к членам ЧК. Приходилось мне вносить им огромные суммы денег, и получала самые дерзкие и неутешительные ответы. Хлопотала я в Смольном и у разных комиссаров и следователей. Последний, к которому я обращалась, был А. М. Горький, который со своей стороны старался, как и доктор Манухин, обращаться к председателю ЧК и другим разным лицам, убеждая их прекратить гонение на доказанно невинного человека. Горький вызвался также освободить ее на поруки. Но моя дочь спасена чудом и милостью Божиею!

Н. Танеева

Глава 20

Как ни странно, но зима 1917-1918 гг. и лето 1918 г., когда я скрывалась в своей маленькой квартире на шестом этаже в Петрограде, были сравнительно спокойными, хотя столица и находилась в руках большевиков, и я знала, что ни одна жизнь не находится в безопасности. Пища была скудная, цены огромные, и общее положение становилось все хуже и хуже. Армия больше не существовала, но я должна сознаться, что относилась хладнокровно к судьбе России: я была убеждена, что все несчастья, постигшие Родину, были вполне заслуженными после той участи, которая постигла Государя.

Кто не сидел в тюрьме, тот не поймет счастья свободы. На время я была свободна, виделась ежедневно с дорогими родителями; двое старых верных слуг жили со мной в крошечной квартире, разделяя с нами лишения и не получая жалованья, — лишь ограждали от врагов. Любимые друзья посещали нас и помогали нам.

Я верила, надеялась и молилась, что ужасное положение России временное и что скоро наступит реакция, и русские люди поймут свою ошибку и грех по отношению к дорогим узникам в Тобольске. Такого же мнения, казалось мне, был даже революционер Бурцев, которого я встретила у родственников, и писатель Горький, который, вероятно, ради любопытства хотел меня увидеть. Я же, надеясь спасти Их Величества или хоть улучшить их положение, кидалась ко всем. Я сама поехала к нему, чтобы мое местопребывание не стало известным. Я говорила более двух часов с этим странным человеком, который как будто стоял за большевиков и в то же время выражал отвращение и открыто осуждал их политику, террор и их тиранство. Он высказывал свое глубокое разочарование в революции и в том, как себя показали русские рабочие, получившие давно желанную свободу. Ко мне Горький отнесся ласково и сочувственно, и то, что он говорил о Государе и Государыне, наполнило мое сердце радостной надеждой. По его словам, они были жертвой революции и фанатизма этого времени, и после тщательного осмотра помещений царской семьи во Дворце они казались ему даже не

аристократами, а простой буржуазной семьей безупречной жизни. Он говорил мне, что на мне лежит ответственная задача — написать правду о Их Величествах «для примирения царя с народом». Мне же советовал жить тише, о себе не напоминая. Я видела его еще два раза и показывала ему несколько страниц своих воспоминаний, но писать в России было невозможно. Конечно, о том, что я видела Горького, стали говорить и кричать те, кому еще не надоело меня клеймить, но впоследствии все несчастные за помощью обращались к нему. Несмотря на то, что и он, и жена его занимали видные места в большевистском правительстве, они хлопотали о всех заключенных, скрывали их даже у себя и делали все возможное чтобы спасти Великих Князей Павла Александровича, Николая и Георгия Михайловичей, прося Ленина подписать ордер об их освобождении; последний опоздал, и их расстреляли.

На Рождество у меня была крошечная елка, которую мы зажгли с дорогими родителями, возвратясь от всенощной. Я получила от дорогой Государыни посылку с мукой, макаронами и колбасой, что было роскошью в это время. В посылку были вложены также шарф, теплые чулки, которые мне связала Государыня, и нарисованные ею кустики.

Как-то раз я пошла по обедне в одно из подворий — я ходила часто в эту церковь. После обедни ко мне подошел монах, прося меня зайти в трапезную. Войдя туда, я испугалась: в трапезной собралось до двухсот простых фабричных женщин. Одна из них на полотенце поднесла мне небольшую серебряную икону Божьей Матери «Нечаянной Радости»; она сказала мне, что женщины эти узнали, кто я, и просили меня принять эту икону в память всего того, что я перестрадала в крепости за Их Величества. При этом она добавила, что если меня будут продолжать преследовать — все их дома открыты для меня. Я была глубоко тронута, но в то же время испугалась и, должна сознаться, расплакалась, обняв ее и других, которые были ближе ко мне. Все они обступили меня, прося получить что-нибудь на память из моих рук. К счастью, в монастыре нашлись иконки, которые я могла раздать некоторым из моих новых друзей. Нет слов выразить, как глубоко я была тронута этим поднесением бедных работниц: ведь они из своих скудных средств собрали деньги, чтобы купить эту небольшую икону в дар мне, совсем для них чужой женщине, и только потому, что я, по их словам, «невинно страдала».

Вскоре после меня постигло самое большое горе, которое я когда-либо испытала. 25-го января 1918 г. скоропостижно скончался мой возлюбленный, дорогой отец, благороднейший, бесконечно добрый и честный человек. Как глубоко уважали и любили его Государь и Государыня, свидетельствуют письма ко мне Государыни после его смерти. Невзирая на всю долговременную свою службу — всей душой преданный Их Величествам — он умер, не оставив после себя ничего, кроме светлой памяти бескорыстного человека и глубокой благодарности в сердцах тех многочисленных бедных, которым он помогал.

Я говорила, что отец мой был композитором и музыкантом, и часто, когда его спрашивали о его звании, он отвечал: я прежде всего «свободный художник» Петербургской консерватории, а потом уже все остальное. На его похоронах хор Архангельского вызвался петь литургию его сочинения, отличавшуюся кристально чистой музыкой, — как кристально чиста была и его душа. После его смерти моя мать переехала ко мне, и мы разделяли вместе тяжелое существование.

Единственными светлыми минутами последующих дней была довольно правильная переписка, которая установилась с моими возлюбленными друзьями в Сибири. И теперь, даже вдалеке от России, я не могу назвать имена тех храбрых и преданных лиц, которые проносили письма в Тобольск и отправляли их на почту, или привозили в Петроград и обратно. Двое из них были из прислуги Их Величеств. Они рисковали жизнью и свободой, чтобы только доставить Помазанникам Божиим радость переписки со своими друзьями. Их Величествам разрешали писать, но каждое слово прочитывалось комиссарами, подвергаясь строгой цензуре. Но и те

письма, которые тайно доставлялись из Тобольска, читались; увидим, с какой осторожностью они написаны. Все письма, полученные мною, помещены здесь полностью, только пропущены некоторые фразы и личные переживания Государыни, которые слишком для меня святы, чтобы предавать их огласке. Большая часть писем от Государыни, одно от Государя и несколько от детей. Письма эти бесконечно дороги, не только лично для меня, но и всем русским, которые лишний раз убедятся в непоколебимой вере и мужестве царских мучеников: письма полны безграничной любовью к Родине, и нет в них ни слова упрека или жалобы на тех, кто предал и преследовал их. Я уверена, что, прочитав эти письма, никто не сможет больше осуждать характеры и жизнь Государыни и Государя; каждое слово Государыни показывает ее таковой, каковой ее знали и любили и пред которой преклонялись все ее близкие друзья.

Глава 21

В конце лета 1918 года жизнь в России приняла хаотический характер: несмотря на то что лавки были закрыты, можно было покупать кое-какую провизию на рынках. Цены были уже тогда непомерно высокие. Фунт хлеба стоил несколько сот рублей, и масло несколько тысяч. Ни чая, ни кофе нельзя было достать, сушили брусничные и другие листья, а вместо кофе жарили овес или рожь. Большевики запретили ввоз провизии в Петроград, солдаты караулили на всех железнодорожных станциях и отнимали все, что привозили. Рынки подвергались разгромам и обыскам; арестовывали продающих и покупающих, но тайная продажа продуктов все же продолжалась, и за деньги и на обмен вещей можно было не голодать. Многие жили тем, что продавали оставшиеся драгоценности, меха, картины разным скупщикам — евреям, аферистам, которые пользовались случаем, приобретая драгоценные вещи за незначительные суммы. Вспоминаю тяжелый день, когда у меня осталось в кармане всего 5 копеек; я сидела в Таврическом саду на скамейке и плакала. Когда вернулась домой, моя мать, которая все лето лежала больная в постели, сказала мне, что только что был один знакомый и принес нам 20 тысяч рублей, узнав о нашей бедности. После этого он исчез, и мы никогда не узнали, что с ним стало. Благодаря его помощи мне удалось послать царской семье необходимые вещи и одежду. Большевики закрыли мой лазарет, но мне приходилось платить жалование конторщику, старшей сестре и т. д., а также оставался инвентарь, хотя большую часть раскрали служащие; осталась корова и две лошади. Когда заведующий лазаретом отказался приехать из Москвы помочь мне ликвидировать, я обратилась к присяжному поверенному с просьбой помочь мне окончательно развязаться с этим делом. Последний открыл мне глаза на всевозможные злоупотребления писаря и старшей сестры. Когда же мы призвали его для объяснения, он сказал, что никаких объяснений он давать не намерен, что оставшееся имущество и корова принадлежат ему. Когда я стала возражать, прося его отдать корову, так как моя мать, будучи тяжело больной, нуждалась в молоке, он только смеялся и затем написал на меня донос в ЧК. 7-го октября ночью мать и я были разбужены сильными звонками и стуком в дверь, и к нам ввалились человек 8 вооруженных солдат с Гороховой, чтобы произвести обыск, а также арестовать меня и сестру милосердия. Все, что им бросалось в глаза, они взяли у нас, между прочим два письма Государя к моему отцу, одно из них, где он пишет о причинах, побудивших его стать во главе армии. Бедная мать стояла перед ними, обливаясь слезами, умоляя меня не увозить, но они грубо потребовали, чтобы я скорее простилась. Господь знает, легко ли было это прощание, но Он не оставлял нас, давая силу и спокойствие. Нас повели вниз, где стоял грузовой автомобиль; я села с шофером, было страшно холодно, небо ясное, усеянное звездами; ехали мы быстро по пустым улицам и минут через десять приехали на Гороховую, прошли мимо сонного караула и очутились в канцелярии. Заспанный грубый комендант записал нас и велел провести в женскую камеру. В двух грязных комнатах на кроватях, столах и на полу — по две и по три вповалку лежали грязные женщины: тут были дамы, бабы в платках и даже дети. Воздух спертый, ужасный; солдат сидел у двери; сестра милосердия и я сели на единственную свободную кровать и кое-как дожили до утра. Когда

стало рассветать, арестованные стали подыматься; солдат с ружьем водил партиями в грязную уборную. Тут же под краном умывали лицо. Старостой арестованных женщин была выбрана та, которая дольше всех находилась в ЧК: такова была рыженькая барышня Шульгина (впоследствии ее расстреляли). Подойдя ко мне, она советовала мне написать прошение об ускорении моего дела и допроса старшему комиссару. Господин этот, на вид еврей с огромной шевелюрой, вызвал меня и сказал, чтобы я успокоилась, что он уверен, что скоро нас выпустят. Солдаты из караула с нами разговаривали, некоторые предлагали за вознаграждение сходить к матери. Тогда я писала коротенькие письма на клочке бумаги и по дороге в уборную передавала им. Мама ответила, что делает все возможное для освобождения, что доктор Манухин тоже везде хлопочет. Большевики ценили его знание и доверяли ему быть врачом в тюрьмах. На Гороховой состоял врачом молодой фельдшер, который также относился хорошо к нам, заключенным, и из всех окружавших имел самый добродушный вид. От него я узнала о хлопотах Манухина. Мы провели пять дней в этой ужасной обстановке, где нас кормили, как зверей. Два раза в день приносили большую общую миску с супом (вода с зеленью) и по маленькому кусочку хлеба. Некоторые арестованные получали пищу из дома и тогда делились. Вспоминаю одну красивую женщину полусвета — она одевалась в тюрьме в сквозные платья, душилась, красилась, но была очень добрая и щедро делилась всем, что ей присылали. Была она арестована за то, что помогла бежать своему другу «белому» офицеру и была в «восторге», что страдает за него.

Не зная, в чем меня обвиняют, жила с часу на час в постоянном страхе, как и все, впрочем. Грязь и духота. Солдаты при смене караула приходили считать арестованных, выкрикивая фамилии. Если кого вызывали на допрос — или уводили куда-то и те исчезали, или освобождались. Приходили новые арестованные, на которых все набрасывались с вопросами. Кто лежал, кто разговаривал, но больше всего плакали, ожидая своей участи. Окна выходили на грязный двор, где ночь и день шумели автомобили. Ночью в особенности «кипела деятельность», то и дело привозили арестованных и с автомобилями выгружали сундуки и ящики с отобранными вещами во время обысков: тут были одежда, белье, серебро, драгоценности — казалось, мы находились в стане разбойников! Как-то раз нас всех послали на работу связывать пачками бумаги и книги из архива бывшего градоначальства; под наблюдением вооруженных солдат мы связывали пыльные бумаги на полу и были рады этому развлечению. Часто ночью, когда усталые мы засыпали, нас будил электрический свет, и солдаты вызывали кого-нибудь из женщин: испуганная, она вставала, собирая свой скарб, — одни возвращались, другие исчезали... и никто не знал, что каждого ожидает. Сестру милосердия вызвали на допрос: вернулась она радостная и сказала, что ее выпускают и меня тоже вскоре после нее. Но я недоверчиво отнеслась к этому известию. Часа через два вошли два солдата и, выкрикнув мою фамилию, добавили: «В Выборгскую тюрьму». Я была огорошена, просила солдата показать ордер, но он грубо велел торопиться. Арестованные участливо меня окружили; бедная Шульгина, помню, крестила. Меня повели вниз на улицу. У меня было еще немного денег, и я попросила солдата взять извозчика и по дороге разрешить мне повидать мою мать. Уже был вечер, трамваи не ходили, шел дождь. Мы наняли извозчика за 60 рублей в Выборгскую тюрьму; отдала все оставшиеся деньги солдату, и он согласился остановиться около нашего дома, но требовал, чтобы я отдала ему кольцо, которое мне все же удалось сохранить. Темнело, верх коляски был поднят. Подъехав к дому, мы зашли на двор, и я послала дворника вверх. Бедная мама спустилась бегом все шесть этажей, за ней бежал верный Берчик. Солдат волновался и торопил, мы обнялись и расстались, сказав друг другу несколько слов. Она уверяла, что в Выборгской тюрьме мне безопаснее, чем на Гороховой, и что она и доктор хлопочут. В канцелярии Выборгской тюрьмы нас встретила хорошенькая белокурая барышня; она обещала помочь мне устроить в тюремную больницу, так как хорошо знала начальника тюрьмы и видела мое болезненное состояние. В первые дни февральской революции, когда народ открыл двери тюрем и выпустил всех заключенных, каторжанки

защищали своих надзирательниц от побоев и насилий и, поселившись первое время недалеко от тюрьмы, наделяли их щедро всем, что имели, отблагодарив их за справедливое и сердечное отношение. Такими и остались надзирательницы, прослужившие многие годы там, где было больше всего страдания и слез. Вспоминаю их с благодарностью и уважением. Старушка-надзирательница, которая запирала меня эту ночь в холодную одиночную камеру (стекло в форточке было разбито), видя, как я дрожала от слез и ужаса тюрьмы, показала мне на крошечный образок Спасителя в углу, сказав: «Вспомните, что вы не одни!»

Выборгская одиночная тюрьма построена в три этажа; коридоры по бокам здания соединены железными лестницами; железные лестницы посреди, свет сверху, камеры как клетки, одна над другой, везде железные двери, в дверях форточки. После Гороховой здесь царила тишина, хотя все было полно, редкие переговоры заключенных, стук в двери при каких-нибудь надобностях и шум вентиляторов. Когда замок щелкнул за мной, я пережила то же состояние, как в крепости — беспросветное одиночество, но старушка не забыла меня, и добрая рука просунула мне кусок хлеба... А через некоторое время заключенная женщина, назвавшая себя княгиней Кекуатовой, подошла к моей двери, сказав, что она имеет привилегию — может ходить по тюрьме и даже телефонировать. Я просила ее позвонить друзьям, чтобы помогли, — если не мне, то моей матери. Она принесла мне также кусочек рыбы, который я жадно скушала. Самая ужасная минута — это просыпаться в тюрьме. С 7 часов началась возня, пришла смена надзирательниц, кричали, хлопали дверями, стали разносить кипяток. У всех почти форточки в дверях были открыты и заключенные переговаривались, но я была «политическая» и «под строгим надзором», и меня запирали. После того, как у меня сделался обморок, меня перевели из «одиночки» в больницу. Я была рада увидеть окна, хотя и с решеткой, и чистые коридоры. К камерам были приставлены сиделки из заключенных, которые крали все, что попадалось им под руку, и половину убогой пищи, которую нам приносили. Сорвали с меня платье, надели арестантскую рубашку и синий ситцевый халат, распустили волосы, отобрав все шпильки, и поместили с шестью больными женщинами. Палата эта называлась сортировочной. Я так устала и ослабела от всех переживаний, что сразу заснула. Меня разбудили женщины, которые ссорились между собой из-за еды; кто-то что-то украл, а одна ужасная женщина около меня с провалившимся носом просила у всех слизывать их тарелки. Другие две занимались тем, что искали вшей друг у друга в волосах. К счастью, я недолго оставалась в этой камере, и благодаря женщине-врачу и арестованной баронессе Розен меня перевели в другую, где было получше. В 8 часов утра приходила старушка-надзирательница, на вид сердитая-пресердитая; она раздавала по чайной ложке сахар, и под ее наблюдением обносили обед, но в коридорах сиделки обыкновенно съедали полпорции. Рядом с больницей помещалась советская пекарня; надзирательницы и сиделки ходили туда, кто получал, а кто просто крал хлеб. Кроме баронессы Розен и хорошенькой госпожи Сенани, у нас в палате были две беременные женщины, Варя — налетчица и Стеша из «гулящих». Сенани была тоже беременна на седьмом месяце и четыре месяца в тюрьме; потом еще какая-то женщина, которая убила и сварила своего мужа. Трудно было привыкнуть к вечной ругани, часто доходившей до драки, — и все больше из-за еды. Меняли все, что было: рубашки, кольца и т. д. на хлеб, и крали все, что могли, друг у друга. По ночам душили друг друга подушками, и на крик прибегали надзирательницы. С кем только не встретишься в тюрьме! Были женщины, забытые там всеми, которые скорее походили на животных, чем на людей, покрытые паразитами, отупевшие от нищеты и несчастий, из которых тюремная жизнь создала неисправимых преступников. Но ко всем им, ворам, проституткам и убийцам, начальство относилось менее строго, чем к «политическим», каковой была я, и во время «амнистии» их выпускали целыми партиями. Была раньше в Выборгской тюрьме церковь, которую закрыли и во время большевистского праздника в ней устроили бал и кинематограф. Священник тайно приходил причастить меня.

Были между надзирательницами и такие, которые, рискуя жизнью, носили письма моей матери и отдавали свой хлеб. Дни шли за днями; однообразие, какое бывает только в тюрьмах. Иногда меня выводили на двор перед больницей, сперва в общей гурьбе с «заразными» девчонками, больными ужасной болезнью, которые с папиросами в зубах и руганью крали все по дороге, что только могли, за что их били по рукам, но впоследствии, так как я была «политическая», гулять с другими мне не разрешали.

В верхний этаж перевели больных заключенных мужчин из Петропавловской крепости. Так как все тюрьмы были переполнены, то часто, чтобы отделяться от них, расстреливали их целыми партиями без суда и следствия: судить невиновных было излишним трудом.

Сколько допрашивали и мучили меня, выдумывая всевозможные обвинения! К 25 октябрю, большевистскому празднику, многих у нас освободили: из нашей палаты ушла Варя Налетчица и другие. Но амнистия не касалась «политических». Чего только ни навидалась и сколько наслышалась горя: о переживаниях каторжанок в этих стенах, о их терпении и о песнях, которыми они заглушали свое горе. И мы, госпожа Сенани и я, пели сквозь слезы, забираясь в ванную комнату, когда дежурила добрая надзирательница. 10-го ноября вечером меня вызвал помощник надзирателя, сказав, что с Гороховой пришел приказ меня немедленно препроводить туда. Приказ этот вызвал среди тюремного начальства некоторое волнение: не знали — расстрел или освобождение! Я, конечно, не спала всю ночь, даже не ложилась — сидела на койке, думала и молилась. Рано утром надзирательница велела снять халат и принесла мне мою одежду и белье. Затем в канцелярии меня передали конвойному солдату, и в трамвае мы поехали на Гороховую.

Меня обступили все арестованные женщины; помню между ними графиню Мордвинову. Почти сейчас же вызвали на допрос. Допрашивали двое, один из них на вид еврей, назвался он Владимировым. Около часу кричали они на меня с ужасной злобой, уверяя, что я состою в немецкой организации, что у меня какие-то замыслы против ЧК, что я опасная контрреволюционерка и что меня непременно расстреляют, как и всех «буржуев», так как политика их, большевиков, — «уничтожение» интеллигенции и т. д. Я старалась не терять самообладания, видя, что предо мной душевно больные. Но вдруг, после того как они в течение часа вдоволь накричались, они стали мягче и начали допрос о царе, Распутине и т. д. Я сказала им, что настолько измучена, что не в состоянии больше говорить. Тут они стали извиняться, «что долго держали», и приказали идти обратно в камеру. Вернувшись, я упала на грязную кровать; допрос продолжался три часа. Кто-то из арестованных принес мне немного воды и хлеба. Прошел мучительный час. Снова показался солдат и крикнул: «Танеева! С вещами на свободу!» Не помня себя, вскочила, взяла свой узел на спину и стала спускаться по лестнице. Вышла на улицу, но от слабости и голода не могла идти. Остановилась, опираясь об стену дома. Какая-то добрая женщина взяла меня под руку и довела до извозчика. За 50 рублей довез он меня на фурштадскую. Сколько радости и слез!

Дома меня ожидала неприятность: сестра милосердия, которую я знала с 1905 года, которая служила у меня в лазарете и после моих заключений поселилась со мной и моей матерью, украла все мои оставшиеся золотые вещи. Жаловаться на нее нельзя было: я уже побывала в тюрьме после подобного случая со служащим в моем лазарете. Вероятно, все это ею было учтено, так как она почти не скрывала, что обобрала меня. Придя в гостиную, потребовала, чтобы Берчик при ней снял наш ковер, так как он «ей был нужен». Мать пробовала сопротивляться, сказав ей: «Екатерина Васильевна, что вы делаете? Ведь мы замерзнем зимой!» — «Мне тоже холодно», — ответила она и приказала двум типам, пришедшим с ней, не только увезти ковер, но и мебель «по ее выбору». Все это нагроутила на воз и отбыла. Но это последнее случилось позже; несколько месяцев она жила у нас, обирая ежедневно наше последнее имущество. Таковы стали нравы на нашей бедной Родине.

Зиму 1919 года провели тихо. Но я очень нервничала: успокоение находила только в храмах. Ходила часто в Лавру, на могилу отца: постоянно бывала на Карповке у о. Иоанна. Изредка видалась с некоторыми друзьями; многие добрые люди не оставляли меня и мою мать, приносили нам хлеба и продукты. Имена их Ты веши, Господи! Как могу я отблагодарить всех тех бедных и скромных людей, которые, иногда голодая сами, отдавали нам последнее. Если порок привился к русскому народу, то все же нигде в мире нет того безгранично доброго сердца и отсутствия эгоизма, как у русского человека.

Наступило лето, жаркое, как и в предыдущем году. У матери сделалась сильнейшая дизентерия. Спасал ее, как и прошлым году, дорогой доктор Манухин. По городу начались во всех районах повальные обыски. Целые ночи разъезжали автомобили с солдатами и женщинами, и арестовывали целыми компаниями. Обыкновенно это лето электричество тушилось в 7 часов вечера, но когда оно снова вечером зажигалось, то обыватели знали, что ожидается обыск, и тряслись. У нас эти господа побывали семь раз, но держали себя прилично. В конце июля меня снова арестовали. В 4 часа подкатил автомобиль, и прежде чем мы успели вскочить с наших стульев, у наших дверей стояли вооруженные солдаты. Обыск — так как у них было получено письмо, что я скрываю «оружье». Было велено меня взять. Все перерыли, но ничего не нашли. Рыжий латыш офицер обратился к товарищам: «Господа, ведь мы ничего не нашли, ни бомб, ни склада оружия! Что делать? Ведь у нас ордер всех увезти, кроме сестры!» Тут взмолились все домашние и уполномоченная дома, доказывая, как тяжело больна мать. Офицер сказал, что позвонит в штаб по телефону. Оказалось, что обыск был от штаба Петерса. Вернулся он серьезный, сказав, что приказали привезти меня одну. Опять душу раздирающее прощание с матерью, и меня увезли в закрытом моторе. Два вооруженных солдата сели против меня.

Приехав в штаб Петроградской Обороны на Малой Морской, посадили в кабинете на кожаный диван, пока у них шло «совещанье» по поводу меня. Никогда мне не забыть этих двух часов. Рыжий офицер входил несколько раз, подбадривал, говоря, что мое дело затребовано с Гороховой, но что заседание идет хорошо. «Долго ли меня здесь продержат?» — спросила я. «Здесь никого не держат, — расстреливают или отпускают!..» — ответил он. Затем вошел другой офицер и начался допрос. Вместо вопроса об оружии и бомбах, они принесли альбом моих снимков, снятых в Могилеве и отобранных у меня. Позвав еще каких-то барышень, требовали от меня объяснения каждой фотографии, а также ставили вопросы все те же о царской семье. Офицер, который допрашивал меня, сказал, что жил недалеко от моих родителей в Терриоках и видел меня с ними. «Посмотри, посмотри, какие они миленькие», — говорили они, смотря на фотографии Великих Княжон. Затем объявили мне, что отпускают домой. «Я вас довезу и, кстати, еще раз осмотрю квартиру!» — сказал офицер. Мы поехали. Вбежав к маме, мы не верили счастью, что я снова дома. Офицер же еще раз сделал тщательный обыск и уехал, сказав, что они получили в штаб письмо обо мне. Мать и я подозревали известную уже сестру.

Через месяц началось наступление белой армии на Петроград. Город был объявлен на военном положении, удвоились обыски и аресты. Нервничала власть. Везде учились солдаты, летали аэропланы. С лета также ввели карточки, по которым несчастное население получало все меньше и меньше продуктов. Стали свирепствовать эпидемии. Больше всего голодала интеллигенция, получая в общественных столовых две ложки воды с картофелем, вместо супа, и ложку каши. Кто мог, тот провозил продукты тайно; крестьяне привозили молоко и масло, но денег не брали, а меняли на последнее достояние. Мы отдали понемногу все, платья, гардины, шторы из всех комнат. Часто, за неимением дров, распиливали и сжигали сперва ящики, потом мебель, стулья и столы покойного отца.

Мать не вставала после дизентерии. Жили со дня на день, стараясь не терять бодрости духа и

упования на милосердие Божие. Приходилось иногда ходить просить хлеба у соседей, но добрые люди не оставляли нас.

Глава 22

Накануне Воздвижения я была на ночном молении в Лавре: началось в 11 час. вечера. Всенощная, полунощница, общее соборование и ранняя обедня. Собор был так переполнен, что, как говорят, яблоку некуда было упасть. До обеда шла общая исповедь, которую провел священник Введенский. Митрополит Вениамин читал разрешительную молитву. Более часа проходили к Св. Тайнам: пришлось двигаться сдавленной среди толпы, так что даже нельзя было поднять руку, чтобы перекреститься. Яркое светило солнце, когда в 8 часов утра выходила радостная толпа из ворот Лавры, никто даже не чувствовал особенной усталости. В храмах народ искал успокоения от горьких переживаний и потерь этого страшного времени.

22-го сентября вечером я пошла на лекцию в одну из отдаленных церквей и осталась; ночевать у друзей, так как идти пешком домой вечером было и далеко, и опасно. Все последнее время тоска и вечный страх не покидали меня; в эту ночь я видела о. Иоанна Кронштадтского во сне. Он сказал мне: «Не бойся, я все время с тобой!» Я решила поехать прямо от друзей к ранней обедне на Карповку и, причастившись Св. Таин, вернулась домой. Удивилась, найдя дверь черного хода запертой. Когда я позвонила, мне открыла мать, вся в слезах, и с ней два солдата, приехавшие меня взять на Гороховую. Оказывается, они приехали ночью и оставили в квартире засаду. Мать уже уложила пакетик с бельем и хлебом, и нам еще раз пришлось проститься с матерью, полагая, что это наше последнее прощанье на земле, так как они говорили, что берут меня как заложницу за наступление белой армии.

Приехали на Гороховую. Опять та же процедура, канцелярия, пропуск и заключение в темной камере. Проходя мимо солдат, слышала их насмешки:

«Ах, вот поймали птицу, которая не ночует дома!» В женской камере меня поместили у окна. Над крышей виднелся золотой купол Исаакиевского собора. День и ночь окруженная адом, я смотрела и молилась на этот купол. Комната наша была полна; около меня помещалась белокурая барышня финка, которую арестовали за попытку уехать в Финляндию. Она служила теперь машинисткой в чрезвычайке и по ночам работала: составляла списки арестованных и потому заранее знала об участии многих. Кроме того, за этой барышней ухаживал главный комиссар — эстонец. Возвращаясь ночью со своей службы, она вполголоса передавала своей подруге, высокой рыжей грузинке Менабде, кого именно уведут в Кронштадт на расстрел. Помню, как с замиранием сердца прислушивалась к этим рассказам. Менабде же целыми днями рассказывала о своих похождениях и кутежах. Она получала богатые передачи пищи, покрывалась мехами и по ночам босая в белой рубашке танцевала между кроватями.

Староста, девушка с обстриженными волосами, находилась четыре месяца на Гороховой; она храбрилась, пела, курила, важничала, что ходит разговаривать с членами «комиссии», но нервничала накануне тех дней, когда отправлялся пароход в Кронштадт увозить несчастных жертв на расстрел. Тогда исчезали группами арестованные с вечера на утро. Слышала, как комендант Гороховой, огромный молодой эстонец Бозе кричал своей жене по телефону: «Сегодня я везу рябчиков в Кронштадт, вернусь завтра!»

Когда нас гнали вниз за кипятком или в уборную, мы проходили около сырых, темных одиночных камер, где показывались измученные лица молодых людей, с виду офицеров. Камеры эти пустели чаще других, и вспоминались со страхом слова следователя: «Наша политика — уничтожение». Шли мы каждый раз через большую кухню, где толстые коммунистки приготавливали обед: они иногда насмехались, иногда же бросали кочерыжки от

капусты и шелуху от картофеля, что мы с благодарностью принимали, так как пища состояла из супа-воды с картофелем и к ужину по одной сухой вобле, которая часто бывала червивая. Вскоре меня вызвали на допрос. Следователь оказался интеллигентный молодой человек, эстонец Отто. Первое обвинение — он мне предъявил письмо, наколоченное на машинке, очень большого формата, сказав мне, что письмо это не дошло ко мне, так как было перехвачено по почте Чрезвычайной Комиссией. На конверте большими буквами было написано: «Фрейлине Вырубовой». Письмо было приблизительно такого содержания: «Многоуважаемая Анна Александровна, Вы единственная женщина в России, которая может спасти нас от большевизма — Вашими организациями, складами оружия и т. д.» Письмо было без подписи, видимо, провокация, но кто сделал? Видно, в глазах врагов своих я все еще не довольно страдала... Подозревала некоторых, но имена их не хотела повторить. Видя недоумение и слезы в моих глазах, Отто задал мне еще какие-то два вопроса, вроде того, принадлежу ли я к партии «беспартийных»; он кончил допрос словами, что, наверно, это — недоразумение, и еще больше удивил меня, когда дал мне кусок черного хлеба, сказав, что я, наверно, голодна, но прибавил, что меня снова вызовут на допрос. На этот второй допрос меня вызвали в 2 часа ночи и продержали до 3-х часов утра. Было их двое: Отто и Викман. Все те же вопросы о прошлом, те же обвинения. Если бы не стакан чая, который они поставили передо мной, то я бы не выдержала. Нервная и измученная вернулась в камеру, где на столах, полу и кроватях храпели арестованные женщины. Оба следователя полагали, что дня через два-три меня выпустят.

Ночью начиналась жизнь на Гороховой — ежеминутно приводили новых арестованных, которые не знали куда им приткнуться. Среди спящих были разные: артистка Александрийского театра и толстая жена комиссара, добрая ласковая старушка 75 лет, взятая за то, что она «бабушка» белого офицера, и худая как тень, болезненная женщина «староверка», просидевшая на Гороховой четыре месяца, так как дело ее «затеряли». Родных у этой последней не было и потому не было передачи, и она была голодна как волк. Целыми часами простаивала она ночью, кладя сотнями земные поклоны с лестовочкой в руках. Служила всем, в особенности грузинке Менабде, за что та ей давала объедки. Была еще какая-то грязная старуха, которая прикинулась, что с ней паралич — упала на пол, застонав. Сам комендант сводил ее под руку по лестнице, сразу освобождая «пролетариатку». Оставшись одна со мной на минуту, она, подмигнув мне, рассказала, как обманула их, ухмыляясь беззубым ртом.

Белые войска подходили все ближе, — говорили, что они уже в Гатчине. Была слышна бомбардировка. Высшие члены чрезвычайки нервничали. Разные слухи приносили к нам в камеру: то что всех заключенных расстреляют, то что увезут в Вологду. Внизу в кухне коммунары обучались строю и уходили «на фронт», так что стражу заменили солдатами и рабочими из Кронштадта. В воздухе чувствовалось приближение чего-то ужасного. Раз как-то ночью вернулась финка с работы, и я слышала, как она шепнула мою фамилию своей подруге, но видя, что я не сплю, замолчала. Я поняла, что меня ожидает самое ужасное, и вся похолодела, но молилась всю эту ночь Богу еще раз спасти меня.

Накануне, когда меня погнали за кипятком с другими заключенными, я стояла, ожидая свою очередь. Огромный куб в темной комнате у лестницы день и ночь нагревался сторожихой, которая с малыми ребятами помещалась за перегородкой этого же помещения. Помню бледные лица этих ребятшек, которые выглядывали на заключенных, и среди них мальчик лет 12-ти, худенький, болезненный, который укачивал сестренку. «Идиот», — говорили коммунары. Помню, как я в порыве душевной муки и ожидания подошла к нему, приласкала, спросив: «Выпустят ли меня?», веря, что Бог близок к детям и особенно к таким, которые по Его воле «нищие духом». Он поднял на меня ясные глазки, сказав: «Если Бог простит — выпустят, если нет, то не выпустят», и стал напевать. Слова эти среди холода тюрьмы меня глубоко поразили:

каждое слово в тюрьме переживаешь вообще очень глубоко. Но в эту минуту слова эти научили меня во всех случаях испытания и горя прежде всего просить прощения у Бога, и я все повторяла: «Господи, прости меня!», стоя на коленях, когда все спали.

«Менабде на волю, Вырубова в Москву», — так крикнул начальник комиссаров, входя к нам в камеру утром 7-го октября. Ночью у меня сделалось сильное кровотечение; староста и доктор пробовали протестовать против распоряжения, но он повторил: «Если не идет, берите ее силой». Вошли два солдата, схватили меня. Но я просила их оставить меня и, связав свой узелок, открыла свое маленькое Евангелие. Взгляд упал на 6 стих 3 главы от Луки: «И узрит всякая плоть спасение Божие». Луч надежды сверкнул в измученном сердце. Меня торопили, говорили, что сперва поведут на Шпалерную, потом в Вологду... Но я знала, куда меня веди. «Не можем же мы с ней возиться», — сказал комиссар старосте. В камере шумели, некоторые женщины кинулись прощаться, особенно же вопила староверка. В дверях столкнулась с княгиней Белосельской (Базилевская), которая отвернулась от меня. Мы прошли все посты. Внизу маленький солдат сказал большому: «Не стоит тебе идти, я один отведу; видишь, она еле ходит, да и вообще все скоро будет покончено». И правда, я еле держалась на ногах, истекая кровью. Молодой солдат с радостью убежал.

Мы вышли на Невский; сияло солнце, было 2 часа дня. Сели в трамвай. Публика сочувственно осматривала меня. Кто-то сказал: «Арестованная, куда везут?» — «В Москву», — ответил солдат. «Не может быть — поезда туда не ходят с вчерашнего дня». Около меня я узнала знакомую барышню. Я сказала ей, что, вероятно, меня ведут на расстрел, передала ей один браслет, прося отдать матери. Мы вышли на Михайловской площади, чтобы переменить трамвай, и здесь случилось то, что читатель может назвать, как хочет, но что я называю чудом.

Трамвай, на который мы должны были пересест, где-то задержался, не то мосты были разведены или по какой-либо другой причине, но трамвай задержался, и большая толпа народа ожидала. Стояла и я со своим солдатом, но через несколько минут ему надоело ждать и, сказав подождать одну минуточку, пока он посмотрит, где же наш трамвай, он отбежал направо. В эту минуту ко мне сперва подошел офицер Саперного полка, которому я когда-то помогла, спросил, узнаю ли его и, вынув 500 рублей, сунул мне в руку, говоря, что деньги мне могут пригодиться. Я сняла второй браслет и передала ему, сказав то же, что сказала барышне. В это время ко мне подошла быстрыми шагами одна из женщин, с которой я часто вместе молилась на Карповке: она была одна из домашних о. Иоанна Кронштадтского. «Не давайте в руки врагам, — сказала она, — идите, я молюсь. Батюшка Отец Иоанн спасет Вас». Меня точно кто-то толкнул; ковыляя со своей палочкой, я пошла по Михайловской улице (узелок мой остался у солдата), напрягая последние силы и громко взывая: «Господи, спаси меня! Батюшка отец Иоанн, спаси меня!» Дошла до Невского — трамваев нет. Вбежать ли в часовню? Не смею. Перешла улицу и пошла по Перинной линии, оглядываясь. Вижу — солдат бежит за мной. Ну, думаю, кончено. Я прислонилась к дому, ожидая. Солдат, добежав, свернул на Екатерининский канал. Был ли этот или другой, не знаю. Я же пошла по Чернышеву переулку. Силы стали слабеть, мне казалось, что еще немножко, и я упаду. Шляпка с головы свалилась, волосы упали, прохожие оглядывались на меня, вероятно, принимая за безумную. Я дошла до Загородного. На углу стоял извозчик. Я подбежала к нему, но он закачал головой. «Занят». Тогда я показала ему 500-рублевую бумажку, которую держала в левой руке. «Садись», — крикнул он. Я дала адрес друзей за Петроградом. Умоляла ехать скорей, так как у меня умирает мать, а сама я из больницы. После некоторого времени, которое казалось мне вечностью, мы подъехали к калитке их дома. Я позвонила и свалилась в глубоком обмороке... Когда я пришла в себя, вся милая семья была около меня; я рассказала в двух словах, что со мной случилось, умоляя дать знать матери. Дворник их вызвался свезти от меня записку, что я жива и здорова и спасена, но чтобы она не искала меня, так как за ней будут следить.

Между тем к ней сразу приехала засада с Гороховой, арестовали бедную мою мать, которая лежала больная, арестовали ее верную горничную и всех, кто приходил навещать ее. Засаду держали три недели. Стоял военный мотор, день и ночь ожидали меня, надеясь, что я приду. Наш старый Берчик, который 45 лет служил нам, заболел от горя, когда последний раз меня взяли, и умер. Более недели тело его лежало в квартире матери, так как невозможно было достать разрешения его похоронить. Это было ужасное время для моей бедной матери. С минуты на минуту она думала получить известие, что меня нашли. Но в Чрезвычайке предположили, что я постараюсь пройти к белой армии, и разослали мою фотографию на все вокзалы. Мои добрые друзья боялись оставить меня на ночь у себя, и когда стемнело, я вышла на улицу, не зная, примут ли те, к кому шла. Шел дождь, редкие прохожие не обращали внимания. Помню, не сразу нашла дом, блуждала по улице и темным лестницам, ища квартиру, где жили несколько молодых девушек-курсисток, учительниц и два студента. Христа ради они приняли меня, и я оставалась у них пять суток. Одна из них ушла проведать мою мать и так и не вернулась, что доказало мне, что у нас не благополучно.

Как мне описать мои странствования в последующие месяцы. Как загнанный зверь, я пряталась, то в одном темном углу, то в другом. Четыре дня провела в монастыре у старицы, которую раньше знала. Затворив дверь в коридор, помню, как она наклонилась, тронув рукой пол, говоря, что она кланяется не мне, а Богу, который сотворил такое чудо, потом раскрыла мне свои объятия. В кельи было жарко, мирно горели лампы перед большим киотом, вкусно пахло щами, яблоками и стариной, и среди этой мирной обстановки суежилась добрая матушка. Затем в черном платке, с мешком в руках, пошла к знакомым, которые жили недалеко от Александро-Невской Лавры.

На занятые деньги наняла за 200 рублей извозчика. Вдруг раздались свистки, и подскочили две милиционерки с ружьями. «Разве ты не знаешь, — кричали они, — что сегодня вышел декрет, что извозчики не смеют возить граждан!» — «Слезай, гражданка, а то тебя арестуем», — кричали они. Холодная от страха, я шла пешком по Литовке, боясь каждого взгляда прохожих... Вдруг слышу голос за мной: «Анна Александровна». Я обернулась и вижу — идет бывший офицер, знакомый. «Уходите, — сказала я убедительно, — со мной опасно ходить». Было темно, шел снег, и мои тонкие полуботинки насквозь промокли. Промокла я вся и замерзла. Постучав у двери, спросила, как и каждый раз: «Я ушла из тюрьмы — примете ли меня?»

«Входите, — ответила мне ласково моя знакомая скромная женщина, — здесь еще две скрываются!» Рискую ежеминутно жизнью и зная, что я никогда и ничем не могу отблагодарить ее, она служила нам всем своим скромным именем, мне и двум женщинам-врачам, только чтобы спасти нас. Вот какие есть русские люди, — и заверяю, что только в России есть таковые. Я оставалась у нее десять дней. Другая прекрасная душа, которая служила в советской столовой, не только ежедневно приносила мне обед и ужин, но отдавала все свое жалование, которое получила за службу, несмотря на то, что у нее было трое детей, и она работала, чтобы пропитать их.

Так я жила одним днем, скрываясь у доброй портнихи, муж которой служил в красной армии, у доброй бывшей гувернантки, которая отдала мне свои теплые вещи, деньги и белье. Вернулась и к милым курсисткам, которые кормили меня разными продуктами, которые одна из них привезла из деревни. Узнала я там и о матери, так как та, которую арестовали, вернулась. На Гороховой ей сказали, что меня сразу убьют, если найдут; другие же говорили, что я убежала к белым. Затем я жила у одного из музыкантов оркестра: жена его согласилась взять меня за большую сумму денег. У меня и у матери уже ничего не было, но одна из моих бывших учительниц хранила золотую вещь, подаренную мне Их Величествами на свадьбу: аквамарин, окруженный бриллиантами. Она его продала за 50 тысяч рублей, и я почти все деньги отдала

за несколько дней сохранности. Комнату, где я жила, не топили, и в ней был 1 градус мороза. Было очень тяжело, но кормили недурно, и я два раза возвращалась к ним. Мне пришлось сбрить все волосы — из-за массы вшей, которые в них завелись.

6-го ноября я свиделась с матерью. Когда мы кинулись к друг другу в объятья, мои добрые хозяева заплакали. Туда же пришла моя тетя, сказав, что она нашла мне хороший приют — но совсем в другой стороне. Мне пришлось около десяти верст идти пешком и часть проехать в трамвае. Боже, сколько надо было веры и присутствия духа! Как я уставала во время этих путешествий, как болели ноги, и как я мерзла, не имея ничего теплого!.. Кто-то мне подарил старые галоши, которые были моим спасением все это время.

Новая моя хозяйка была премилая, интеллигентная женщина. Она раньше много работала в «армии спасения». У нее я отдохнула, но она боялась оставить меня у себя более десяти дней и обратилась к местному священнику. Последний принял во мне участие и рассказал некоторым из своих прихожан мою грустную историю, и они по очереди брали меня в свои дома.

Раз ко мне пришла знакомая эстонка, предлагая бежать в Финляндию, сказав, что одна женщина финка за большие деньги переводит через границу. Какое-то внутреннее чувство тогда предсказало мне им не доверяться, и оказалось, правда. Взяв деньги, женщина эта завела барышню в лес и затем, сказав, что дальше идти нельзя, скрылась. Эстонка эта вернулась в Петроград пешком, без денег и под страхом ежеминутного ареста. Хороша бы я была с ней вместе!

Боюсь надоест рассказами о своих похождениях. Скажу только, что в конце концов очутилась в квартире одного инженера, где нанимала комнатку. Домик стоял в лесу далеко за городом. Кроме других благодетелей этот человек позаботился первым сделать мое положение легальным. Он взял у знакомого священника паспорт девушки, которая вышла замуж, потом заявил, что будто потерял его, и таким образом получил для меня новый паспорт, благодаря которому я получила карточки и право на обед в столовой. Насколько я могла и умела по хозяйству, я помогала ему. Целый день он проводил на службе; возвращался поздно, колол дрова, топил печки и приносил из колодца воду. Я же согревала суп, который готовился из овощей на целую неделю. По субботам приезжала его невеста. Конечно, я часто была совсем голодная. Мать и старичок, ее духовник, приносили мне что могли, равно как и мой друг, которая служила в столовой.

Расскажу один случай, который, может быть, покажется моим читателям странным и который сама я не могу объяснить. Как-то раз я сидела в комнатке, голодная и одинокая. Нервничала как всегда, прислушиваясь к каждому звуку; вокруг бушевала буря и снежные хлопья со свистом кружились у окна. Вдруг я слышу сильный стук внизу у двери. Я сбегала вниз и с замиранием сердца спросила: кто идет? Но ответа не было, а стук повторился. Тогда с молитвой и страхом я отперла дверь. У дверей — никого. Навстречу неслись в вихре и падали снежинки... Но вот вижу, что кто-то вдали пробирается по тропинке между елок к нашему дому. Узнаю маленькую дочку моего друга, одиннадцатилетнюю Олю: в своих замерзших ручках несет она тяжелую посуду с супом и кашей и смотрит под ноги, чтобы не поскользнуться. Увидя меня в дверях, она вскрикнула от радости: «Анна Александровна! А я все искала домик, где вы живете, и не могла найти...» — «Ты ведь стучала», — возразила я. «Нет, я иду с большой дороги. Мама посылает вам супу и кашу. Как я рада, что я нашла вас...» Кто же стучал? Был ли то ветер? Ни раньше, ни потом этот стук не повторялся. Кто верует в Промысел Божий, который нас ограждает во все минуты нашей жизни, тот поймет, может быть, как и я, что Ангел-хранитель этой маленькой доброй девочки помог ей найти меня, а меня Господь не оставил голодной. Повторяю, пусть каждый объяснит, как хочет, я описываю только факт.

В январе 1920 года инженер женился, и я перешла к другим добрым людям, которые не побоялись приютить меня. Самое мое большое желание было поступить в монастырь. К сожалению, я не могла исполнить его; монастыри, уже без того гонимые, опасались принять меня: у них бывали постоянные обыски, и молодых монахинь брали на общественные работы. Теперь другой добрый священник и его жена постоянно заботились обо мне. Они не только ограждали меня от всех неприятностей, одиночества и холода, делясь со мной последним, отчего сами иногда голодали, но нашли мне и занятие: уроки по соседству. Я готовила детей в школу, давала уроки по всем языкам и даже уроки музыки, получая за это где тарелку супа, где хлеб. Обувь у меня уже давно не было, и я в последнем месяце ходила босиком, что не трудно, если привыкнешь, и даже, может быть, с моими больными ногами легче, особенно когда мне приходилось таскать тяжелые ведра воды из колодца или ходить за сучьями в лес. Жила я в крохотной комнатке, и если бы не уйма клопов, то мне было бы хорошо. Вокруг — поля и огороды. В тяжелом труде, спасительном во всех скорбных переживаниях, я забывала и свое горе, и свое одиночество, и нищету. Иногда даже ходила к ранней обедне к отцу Иоанну.

Так шел 1920 год. Господь через добрых людей не оставлял меня. Сколько я видела добра и участия от бедных и окружающих, и я ничем не могла отблагодарить их. Но я верю, что за меня их отблагодарит Бог Своими неизреченными и богатыми милостями. Осенью стало трудно, и я перешла жить к трамвайной кондукторше: нанимала у нее угол в ее теплой комнате. Но я оставалась без обуви. Весь день до ночи таскалась по улице... Одна из моих благодетельниц, правда, подарила мне туфли, сшитые из ковра, но по воде и снегу приходилось их снимать, и тогда я мерзла, но ни разу не болела, хотя стала похожа на тень.

Начали приходить письма из-за границы от сестры моей матери, которая убеждала нас согласиться уехать к ней. Зная, сколько риска сопряжено с подобными отъездами, мы сначала отказались, после же близкие мои убеждали согласиться. Говорили, что я чрезвычайно переутомлена и изменилась, а главное — все еще нахожусь в ежеминутной опасности. И это правда: ведь я каждую ночь ложилась, думая, что эта ночь моя последняя на земле. Столько было критических моментов: и обыски, и встречи, но Бог все время чудесно хранил меня по молитвам моих родителей и многих дорогих и близких.

В декабре пришло письмо от сестры, настаивавшей на нашем отъезде: она заплатила большие деньги, чтобы спасти нас, и мы должны были решиться. Но как покинуть Родину? Я знала, что Бог так велик, что если Ему угодно сохранить, то всегда и везде рука Его над нами. И почему же за границей больше сохранности? Боже, чего стоил мне этот шаг!..

Отправились: я босиком, в драном пальтишке. Встретились мы с матерью на вокзале железной дороги и, проехав несколько станций, вышли... Темнота. Нам было приказано следовать за мальчиком с мешком картофеля, но в темноте мы потеряли его. Стоим мы посреди деревенской улицы: мать с единственным мешком, я со своей палкой. Не ехать ли обратно? Вдруг из темноты вынырнула девушка в платке, объяснила, что сестра этого мальчика, и велела идти за ней в избушку. Чистенькая комната, на столе богатый ужин, а в углу на кровати в темноте две фигуры финнов в кожаных куртках. «За вами приехали», — пояснила хозяйка. Поужинали. Один из финнов, заметив, что я босиком, отдал мне свои шерстяные носки. Мы сидели и ждали; ввалилась толстая дама с ребенком, объяснила, что тоже едет с нами. Финны медлили, не решаясь ехать, так как рядом происходила танцулька. В 2 часа ночи нам шепнули: собираться. Вышли без шума на крыльцо. На дворе были спрятаны большие финские сани; Также бесшумно отъехали. Хозяин избы бежал перед нами, показывая спуск к морю. Лошадь проваливалась в глубокий снег. Мы съехали... Крестьянин остался на берегу. Почти все время шли шагом по заливу: была оттепель, и огромные трещины во льду. Один из финнов шел впереди, измеряя железной палкой. То и дело они останавливались, прислушиваясь. Слева близко, казалось, мерцали огни Кронштадта. Услыхав ровный стук, они обернулись со словами

«погоня», но после мы узнали, что звук этот производил ледокол «Ермак», который шел, прорезывая лед, за нами. Мы проехали последними... Раз сани перевернулись, вылетели бедная мама и ребенок, кстати сказать, пренесносный, все время просивший: «Поедем назад». И финны уверяли, что из-за него как раз мы все попадемся... Было почти светло, когда мы с разбегу поднялись на финский берег и понеслись окольными дорогами к домику финнов, боясь здесь попасться в руки финской полиции. Окоченелые, усталые, мало что соображая, мать и я пришли в карантин, где содержали всех русских беженцев. Финны радушно и справедливо относятся к ним, но, конечно, не пускают всех, опасаясь перехода через границу разных нежелательных типов. Нас вымыли, накормили и понемногу одели. Какое странное чувство было — надеть сапоги...

И у меня, и у матери душа была полна неизъяснимого страдания: если было тяжело на дорогой Родине, то и теперь подчас одиноко и трудно без дома, без денег... Но мы со всеми изгнанными и оставшимися страдальцами в умилении сердец наших взывали к милосердному Богу о спасении дорогой Отчизны.

«Господь мне Помощник и не убоюсь, что мне сотворит человек».

Приложение

Письмо от Государя Императора

(Написано по-английски)

1 декабря 1917 года

Очень благодарю за пожелания к моим именинам. Мысли и молитва всегда с Вами, бедный, страдающий человек. Ее Величество читала нам все письма. Ужасно подумать, через что Вы прошли. Нам здесь хорошо — очень тихо. Жаль, что Вы не с нами. Целую и благословляю без конца. Ваш любящий друг
Н.

Мой сердечный привет родителям.

Письма от Государыни Императрицы

№ 1. (Написано по-английски)

Август 1917 года. Царское Село

...Дорогая моя мученица, я не могу писать, сердце слишком полно, я люблю тебя, мы любим тебя, благодарим тебя и благословляем и преклоняемся перед тобой, — целуем рану на лбу и глаза, полные страдания. Я не могу найти слова, но ты все знаешь, и я знаю все, расстояние не меняет нашу любовь — души наши всегда вместе, и через страдание мы понимаем еще больше друг друга. Мои все здоровы, целуют тебя, благословляют, и молимся за тебя без конца.

Я знаю твое новое мучение — огромное расстояние между нами, нам не говорят, куда мы едем (узнаем только в поезде) и на какой срок, но мы думаем, это туда, куда ты недавно ездила — святой зовет нас туда и наш друг.

Не правда ли странно, и ты знаешь это место. Дорогая, какое страданье наш отъезд, все уложено, пустые комнаты — так больно, наш очаг в продолжении 23 лет. Но ты, мой Ангел,

страдала гораздо больше! Прощай. Как-нибудь дай мне знать, что ты это получила. Мы молились перед иконой Знаменья, и я вспоминала, как во время кори она стояла на твоей кровати. Всегда с тобой; душа и сердце разрываются уезжать так далеко от дома и от тебя и опять месяцами ничего не знать, но Бог милостив и милосерд, Он не оставит тебя и соединит нас опять. Я верю в это — и в будущие хорошие времена. Спасибо за икону для Беби.

№ 2. (Написано по-русски. Открытка)

14 октября 1917 года

Милая, дорогая моя, — все время тебя вспоминаем и все тяжелое, которое ты испытала, помоги тебе Бог и вперед. Как больное сердце и ноги? Надеемся говеть, как всегда, если позволят. Занятия опять начались, и с Gibb's так рады наконец! Все здоровы. Чудное солнце; все время сижу! на дворе за этим забором и работаю. Кланяюсь батюшке Досифею, докторам и Жуку. Горячо целую тебя. Храни Бог.

№ 3. (Написано по-русски)

21 октября 1917 года

Милая моя Аня.

Несказанно обрадована дорогими известиями, нежно целую за всю любовь вашу. Да, любовь родных душ не имеет преград, расстояние для нее не существует, но сердце человеческое все-таки жаждет вещественного знака этой любви. Это как раз то, что я усердно желала, чтобы Вы Зину видали. Да, глаза Ваши оставили на меня глубокое впечатление. Так рыдала, когда их увидела — Боже мой! Но Бог милостив и долготерпелив и Своих не забудет. Мзда ваша многа на небесех. Чем больше здесь страдания, тем ярче будет там на том светлом берегу, где так много дорогих нас ждут. Все мысленно все вместе переживаем. Родная моя, нежно Вас ласкаю и целую, вы всегда в моем сердце, в наших сердцах, как за вас молимся, о вас говорим — но все в Божьих руках. Вдали ужасно трудно, невозможность помочь утешить, согреть страдающего любимого человека — большое испытание. И мы надеемся завтра приобщаться Святых Таин — сегодня и вчера не позволили быть в церкви — но служба дома — вчера заупокойная всенощная, сегодня обедница всенощная и исповедь. Вы будете как всегда с нами, родная моя душка. Так много хотелось бы сказать, спросить. О Лили давно ничего не слыхала. Мы здоровы — я очень страдала зубами и невр. в лице. Теперь приехал Костр(ицкий). Нас лечит. Много о вас говорим. В Кр(ыму) ужасно жить теперь. Ольга А. страшно счастливая со своим маленьким Тихоном, сама его кормит. Няни у них нет, так что она и Н. А. все сами делают. Живут все в Ай. Т. Дровязгин умер от рака. Где бедная, бедная Е. В., как за них страдаешь и молишься. Это единственное, что всегда и везде можно. Погода не особенная; последнее время не выхожу, так как сердце себя нехорошо ведет. Сколько утешений в чтении Библии. Я теперь много с детьми читаю и думаю, что Ты, дорогая, тоже. Нежно целую и благословляю родное любимое дитя. Мы все вас целуем, пишите. Господь Бог сохранит и подкрепит. Сердце полно, но слова слабые.

Всем сердцем Ваша
М.

Мад. и Аннушка еще в Петрограде. Привет родителям. Кофточка греет и радует. Окружена дорогими подарками: голуб. халат, кр. туфли, серебряное блюдечко, ложка, палка, на груди образа. Не помню Твоих хозяев. Видела ли Ты отца Иоанна из Петергофа? Христос с Тобой.

№ 4. (Написано по-английски)

24 ноября 1917 года

Дорогая, вчера я получила твое письмо от 6 ноября и благодарю от всего сердца. Такая радость слышать о тебе, Бог очень милостив, дав нам это утешение. Жизнь в городе должна быть ужасной, в душных комнатах, огромная крутая лестница, никаких прогулок и только ужасы вокруг. Бедное дитя! Но ты знаешь, что душой и сердцем я с тобой, разделяю все твои страдания и молюсь за тебя горячо.

Каждое утро я читаю книгу, которую ты мне подарила семь лет тому назад: «День за днем», и очень ее люблю, нахожу много слов и утешения. Погода переменчивая: мороз и солнце, потом тает и темно. Ужасно скучно для тех, кто любит длинные прогулки и кто их лишен. Уроки продолжаются, как раньше. Мать и дочери работают и много вяжут, готовя рождественские подарки. Как время летит, скоро будет 9 месяцев, что я с многими простилась... и ты одна в страдании и одиночестве. Но ты знаешь, где искать успокоение и силу, и Бог тебя никогда не оставит — Его любовь выше всего. Все, в общем, здоровы, исключая мелкие простуды, иногда колено и ручка пухнут, но, слава Богу, без особых страданий. Сердце болело последнее время. Читаю много, живу в прошлом, которое так полно богатых и дорогих воспоминаний. Надеюсь на лучшее будущее. Бог не оставляет тех, кто Его любит и верит в Его безграничное милосердие, и когда мы меньше всего ожидаем, Он нам поможет и спасет эту несчастную страну. Терпенье, вера и правда.

Как тебе понравились две карточки, которые я нарисовала? Три месяца ничего не слыхала о Лили. Тяжело быть отрезанной от всех дорогих. Я так рада, что твой верный Берчик и Настя с тобой, а где Зина и Маня? Отец Макарий, значит, тоже ушел в лучший мир? Но там он ближе к нам, чем на земле. Наши мысли будут встречаться в будущем месяце. Помнишь наше последнее путешествие и все, что случилось после. После этой годовщины, может быть, Господь смилуется над нами. Лиза и девушки еще не приехали. Поцелуй от меня Прасковью и детей. Все целуют «Большого Беби» и благословляют. Храни Бог. Не падай духом. Хотела бы тебе послать что-нибудь съедобное.

№ 5. (Написано по-русски)

8 декабря 1917 года

Милая родная моя.

Мысленно молитвенно всегда вместе — в любви расстояния нет. Тяжело все-таки не видеть друг друга. Сердце полно, так много хотелось бы знать, поделиться, но будем надеяться, что время придет, когда опять увидимся — все старые друзья. Ужасно мне грустно, что с Твоей подругой что-то неладно было, надеюсь, что все прошло и что друзья по-прежнему. Не время судить о своих друзьях — все нервные стали. Мы далеко от всех поселились: тихо живем, читаем о всех ужасах, но не будем об этом говорить. — Вы во всем этом ужасе живете, достаточно этого. И бывают маленькие тучи, которые других тревожат, оттого моих троих не пустили — уже 4 дня, что благополучно доехали. Стыд и срам, что их не пустят — вечная боязнь — обещали сколько раз — некрасиво это очень, и, наверное, опять с Изой начнут. Ты видишь, никого не пускают, но надеюсь, что поймут, что глупо, грубо и нечестно их оставить ждать.

Вот холод 23 гр., и в комнатах мерзнем, дует, красивая кофта пригодится, будет греть снаружи и внутри. У нас всех «chilblajns» [24] на пальцах (помнишь, как ты от них страдала). Пишу, отдыхая до обеда, камин горит, маленькая собачка Jimmy твоя лежит рядом, пока ее хозяйка на рояле играет. 6-го Алексей, Мария и Жилик играли маленькую пьесу, очень мило — другие все

учат разные французские сценки, развлечение и хорошо для памяти. Вечера проводим со всеми вместе, в карты играют, иногда Он нам читает вслух, и я вышиваю. Очень занята весь день заготовкой к Рождеству, вышиваю и ленточки по-прежнему рисую и карточки, и уроки с детьми, так как священника к нам не пустят для уроков, но я эти уроки очень люблю — вспоминаю много. Буду теперь с удовольствием Творение Григория Нисского читать, их раньше не имела. Последнее время читала Тихона Задонского. Все-таки привезла из моих любимых книг с собой. Ты Библию читаешь? Которую я тебе дала, но знаешь, есть гораздо полнее, и я всем детям подарила и для себя теперь большую достала, там чудные вещи — Иисуса Сираха, Премудрости Соломона и т. д. Я ищу все другие подходящие места — живешь в этом, — и псалмы так утешают. Родная, понимаем друг друга, спасибо за все, за все. Все переживаю.

Наш бывший раненый князь Эристов опять лежит в нашем лазарете (не знаю причину). Если увидишь, кланяйся ему сердечно от нас всех, трогательный мальчик. Знаешь, он помог мост перед Зимним Дворцом строить. Привет и спасибо большое милой Ек. В., что нас вспомнила, — ей и мужу душевный привет — храни и утеши его Господь Бог, Который Своих никогда не оставляет. Где Сережа с женой? От милой Зины получила письмо — дорогая ясная душа. И О. В. благодарю — грустно ни о ком ничего не знать... Да, прошлое кончено, благодарю Бога за все, что было, что получила, и буду жить воспоминаниями, которые от меня никто не отнимет. Молодость прошла... Тоскую сильно. И о тебе тоже, моей нежно любимой и далекой. Эмме привет и английской сестре, родителям привет, очень рада, что ты их имя опять носишь.

6-го был молебен, не позволили идти в церковь (боялись чего-то). Я уже 2 недели не была. Не выхожу при таком морозе из-за сердца, но все-таки тянет сильно в церковь. Наша спальня темная комната в коридоре около красной гостиной. Тогда только Жилику и Вале твои снимки показала, дамам очень не хотелось, слишком твое лицо мне дорого и свято... Настенька мне слишком далекая, она очень милая, но мне не близкий человек — мои близкие все далеко, далеко. Окружена их фотографиями, вещами, кофточками, халат, туфли, серебряное блюдечко, ложка, образа и т. д. Так хотелось бы что-нибудь послать, но, боюсь, пропадет. Господь милостив. Долготерпелив, помни это. Горячо и нежно целую, перекрещу, люблю. Мы все крепко целуем, любим, тронуты поздравлениями, всегда молимся, вспоминаем не без слез.

Твоя.

9-го. Сегодня праздник образа «Нечаянной Радости», стала теперь всегда читать, и ты, душка, то же самое делай. Годовщина нашего последнего путешествия, помнишь, как уютно было. Старица добрая тоже ушла, ее образ всегда со мной. Раз получила письмо от Демидовой из Сибири. Очень бедна. Так хочется Аннушку повидать, о многом мне расскажет. Вчера 9 месяцев, что заперты. Больше 4, что здесь живем. Это английская сестра мне писала? Или что? Удивляюсь, что Нини и семья не получили образа, который им до нашего отъезда посылала... Жалко, что добрая Федосья не с Вами. Привет и спасибо моему верному, старому Берчику и Насе. Этот год ничего им давать не могу под елкой, как грустно. Родная моя, молодец дорогой, Христос с тобой. Надеюсь, что письмо 17 получишь, соединимся в молитвах. Спасибо отцу Досифею и отцу Иоанну, что не забыли.

Я утром в постели пишу и Jimmy спит у меня прямо под носом и мешает писать. Ортипо на ногах, теплее им так. Подумай, добрый Макаров (комиссар) послал мне 2 месяца назад святого Симеона Верхотурского, Благовещение, из «Mande» комнаты и из спальни над умывальником Мадонна; 4 маленькие гравюры над «Mande» кушеткой, 5 пастель Каульбаха из большой гостиной, сам все собрал и взял мою голову (Каульбаха). Твой увеличенный снимок из Ливадии, Татьяна и я, Алексей около будки с часовым, акварели Александра III, Николая I. Маленький коврик из спальни — моя соломенная кушетка (она стоит в спальне теперь и между

другими подушками, та из роз от Сайде Муфти-Заде, которая всю дорогу с нами сделала). Последнюю минуту ночью ее взяла из Царского Села и спала на ней в поезде и на пароходе — чудный запах меня порадовал. Ты имеешь известие от Гахама? Напиши ему и поклонись. Сыробоярский был у него летом, помнишь его? Он теперь во Владивостоке.

22 градуса сегодня, ясное солнце. Хочется фотографию посылать, но не решаюсь по почте. Помнишь Клавдию М. Битнер, сестра милосердия в Лианозовском лазарете, она дает детям уроки, счастье такое. Дни летят, опять суббота, всенощная в 9 час. Устроились уютно с нашими образами и лампадками в углу залы, но это не церковь. Привыкли эти 3,5 года быть почти ежедневно до лазарета у Знаменья — очень не достает. Советую Жилику написать. Вот перо опять наполнили! Посылаю макароны, колбасы, кофе — хотя пост теперь. Я всегда из супа вытаскиваю зелень, чтобы бульон не есть, и не курю. Все мне так легко и быть без воздуха, и часто почти не сплю, тело мне не мешает, сердце лучше, так как я очень спокойно живу и без движений, была страшно худая, теперь менее заметно, хотя платья как мешки и без корсета еще более худая. Волосы тоже быстро седеют. Дух у всех семи бодр. Господь так близок, чувствуешь Его поддержку, удивляешься часто, что переносишь вещи и разлуки, которые раньше убили бы. Мирно на душе, хотя страдаешь сильно, сильно за Родину и за Тебя, но знаешь, что в конце концов все к лучшему, но ничего больше решительно не понимаешь — все с ума сошли. Бесконечно тебя люблю и горюю за свою «маленькую дочку» — но знаю, что она стала большая, опытная, настоящий воин Христов. Помнишь карточку Христовой Невесты? знаю, что тебя тянет в монастырь (несмотря на твоего нового друга)! Да, Господь все ведет, все хочется верить, что увидим еще храм, Покров с приделами на своем месте — с большим и маленьким монастырем. Где сестра Мария и Татьяна. Мать генерала Орлова писала. Знаешь, Иван был убит на войне, и невеста убилась из отчаяния, лежат они с их отцом. Алексей на Юге, не знаю где. Привет моим дорогим уланам и отцу Иоанну, всегда о них всех молюсь.

После годовщины, по-моему, Господь умиласердится над Родиной. Могла бы часами еще писать, но нельзя. Радость моя, сожги письма всегда, в наши тревожные времена это лучше, у меня тоже ничего не осталось прошлого, дорогого. Мы все тебя нежно целуем и благословляем. Господь велик и не оставит Своей всеобъемлющей любви... бодрствуй... Буду особенно вспоминать в Праздник, молиться и надеяться, что увидимся, когда, где и как, одному Ему известно, и будем все Ему предавать, Который лучше нас все знает.

№ 6. (Карточка в мой лазарет. Написано по-русски)

9 декабря 1917 года

Сердечный привет вам всем и отцу Кибардину, другим служащим и отцу Досифею, Берчику, хозяйке милой. Часто всех вспоминаем. Живем хорошо. Очень холодно — 23 градуса. Но яркое солнце — все здоровы. Как Бобков и его жена? Живут ли они еще в домике с матушкой? Думаю о постройке церкви, как катались в маленьких санях. Грустно, но Бог милостив.

Дети кланяются.

№ 7. (Написано по-русски)

15 декабря 1917 года

Родная, милая, дорогая моя, опять пишу тебе не как обыкновенно, так что благодари Аннушку за вещи и пиши мне осторожно. Моих все еще ко мне не пустили, они уже 11 дней здесь, и не знаю, как дальше будет. Иза опять коликой заболела, говорят, ее впустят (когда придет), так как у нее дозволение есть, но сомневаюсь. Странно, что она у тебя не была. Знает ли она твой

адрес, но слишком, верно, боится и совесть нечиста все-таки. Помнит, наверное, мои слова зимой — что, может быть, будет время, когда ее тоже от меня отнимут и не допустят опять. Она живет на Гороховой у племянницы Miss Mathers, которая тоже с ней. Madame Zizi на Сергиевской 54. Отец Александр, говорят, еще очень болен, он отслужил напутственный молебен у Спасителя для моих трех. Надеюсь, что наши вещи получишь к празднику, отослали их только вчера; это Аннушка мне все готовит с Волковым вместе. Другим посылаю через Маделен, так что пользуюсь этим образом и другим могу писать. Только пиши, когда получаешь. Я в книге отмечаю, когда посылаю, так что писала 10, а послала 14-го и до этого 9-го. Рисованные карточки ты все получила? Посылаю еще муки на днях.

Чудные дни — яркое солнце, все розовое блестит — инеем покрыто, светлые лунные ночи. Наверно, идеально на горе, а они бродят по двору... Так хотелось бы приобщиться Св. Тайн, но так неудобно все теперь — на все надо просить позволение. Ты прочти Премудрость Соломона и Иисуса Сираха. Иова я не успела все отметить — каждый раз находишь новое. Вот Премудрости Иисуса Сираха я читала летом, лежа около пруда, окруженная солдатами. Как я рада, что ничего из твоих вещей не потеряли — альбомы все оставила в сундуке с моими. Грустно без них, но лучше так, а то очень больно смотреть, вспоминать. Есть вещи, которые отгоняю от себя, убивают они, слишком свежи еще в памяти — все прошлое. Что впереди, не догадываюсь. Господь знает и по-своему творит. Ему все передала.

Помолись за нас и за тех, кого мы любим, и за дорогую Родину, когда бываешь у «Скоропослушницы»; ужасно люблю ее чудный лик. Что пишут про чудотворную икону в Покровском? Попрошу через Чемодурова особенно в воскресенье вынимать частицу за тебя и всех наших, наверное, ты будешь говеть с ними. Надеюсь, что мы будем у обедни.

Где твоя бедная бабушка — часто ее вспоминаю в ее одиночестве и твои рассказы, помнишь. Кто тебе «happy Christmas» скажет по телефону? Прошлый год Ты у нас жила. А где Сережа с женой? Ты их никогда не вспоминаешь в письмах. Ты знаешь, Линевиц женился и Гротен тоже прямо из крепости. Ты не видела Маню Ребиндер, они летом были еще в Павловске, с нашего отъезда о них больше ничего не знаю. А где епископ Исидор и Мелхисидек? А про Протопопова не знаешь — говорят, у него прогрессивный паралич? Понимаю, что ты ничего писать не сумеешь пока. Слишком все свежо, раны болят, странная наша жизнь вообще. Не правда ли? Целые тома описывала бы. Зиночка Толстая с мужем и детьми давно в Одессе, в собственном доме живут — очень часто пишут, трогательные люди. Рита гостит у них, очень редко она нам пишет. Ждали они в октябре Лили, о ней уже ничего 4 мес. не знаю. Маленький Седов (помнишь его) тоже вдруг очутился в Одессе, прощался с полком. Про Маламу ты ничего не слыхала. Эрнстов тебе передал Татьянино письмо? Байба и вся семья в Ялте, кроме мужа, который в Москве в церковном соборе. Федоров в Москве, учитель Петров и Конрад в Царском, там Мари Рюдигер. Муж мадам Комстадиус умер. Стараюсь тебе о всех давать известия. Хотя ты, наверное, больше знаешь, чем я. Где Горяинов, остался ли он при своем хозяине?

Дети носят брошки Ек. Вик., а я твою фотографию вставила в рамку и повесила на стене так, что лежа в кровати всех своих вижу. Ты не увидишь мать генерала Орлова? Я знаю, что ты ее не так любишь, но она такая одинокая. Иван убит, Алексей далеко, она одна и могила в Царском, жаль старушку. Вяжу маленькому теперь чулки, он попросил пару, его в дырах, а мои толстые и теплые. Как зимой прежде вязала, помнишь? Я своим людям тоже делаю, все теперь нужно. У Папы брюки страшно заштопаны тоже, рубашки у дочек в дырах... У Мамы масса седых волос. Ольга худая, Татьяна тоже, волосы чудно растут, так что без шали бывают (как Рита зимой). Подумай, газеты пишут, что князь Трубецкой (Володя) соединился с Калединым, молодец. Вдруг писала по-английски. Не знаю, хорошо ли это или нет, ведь пока Анушка не с нами, пишу иначе, а ты сожги мои письма — вдруг опять придут и осмотр сделают.

17-го все молитвы и мысли вместе, переживаем опять все. Были утром у обедни, такое утешение. Наших не пускают, так как у них нет позволения из Петрограда, но надеются, когда соберется Учредительное собрание. Солдаты и Панкратов (комиссар наш) не пустят, ищут другие комнаты, которые подешевле, но страшно трудно найти. Очень они обижены и подозревают, что слуги в нашем доме против них интригуют, что неправда, так что если Анушка глупости напишет, знай, что неправда. Чемодуров насплетничал из болтливости — это его слабая сторона, а то он чудный. Вам его жена взяла мою записку в собор на горе, архиерейская служба шла, тогда не принято поминать за здравие, но когда диакон узнал, что это от меня, громко прочитал все имена, так рада. Диакон даже оставил у себя записочку. Е. Гермоген страшно за Father и всех. За упокой дала записку в нашей церкви (и чувствовала таким образом — соединяюсь со всеми, крест его был у нас и во время всенощной лежал на столе).

Надо кончать письмо, уж очень длинное. До свиданья, родная моя, буду особенно за тебя молиться, когда Праздники. Помнишь, начали новый год вместе. (Ник. П. тоже). В эти 11 лет никогда не случилось так долго с тобой расставаться. Храни тебя Христос. Крепко, крепко. Всем милым, добрым, которые нас вспоминают, привет. Мои тебя нежно целуют. Родителям привет.

М.

№ 8. (Написано по-английски)

10 декабря 1917 года

Кажется мне странным писать по-английски по 9 тяжелых месяцев. Конечно, мы рискуем посылать этот пакет, но пользуюсь Анушкой. Только обещайся мне сжечь все мои письма, так как это могло бы тебе бесконечно повредить, если узнают, что ты с нами в переписке. Люди ведь еще совсем сумасшедшие. Оттого не суди тех, которые боятся видать тебя. Пускай люди придут в себя. — Ты не можешь себе представить радость получить твое письмо. Читала и перечитывала его сама и другим. Мы все вместе радовались ему, какое счастье и благодарность знать тебя на свободе наконец! Я не буду говорить о твоих страданиях. Забудь их, с твоей фамилией, брось это все и живи снова. О стольком хочу сказать и сказать ничего не могу. Я не привыкла писать по-английски, так как писала карточки без всякого значенья. Твои духи так напомнили тебя — передавали их друг другу вокруг чайного стола, и мы все ясно представляли себе тебя. Моих духов «белой розы» у меня нет, чтобы тебе послать, надушила шаль, которую послала тебе, «verveine». Благодарю тебя за лиловый флакон и духи, чудную синюю кофточку и вкусную пастилу. Дети и Он так тронуты, что ты послала им свои собственные вещи, которые мы помнили и видели в Царском. У меня ничего такого нет, чтобы тебе послать. Надеюсь, ты получила немного съедобного, которое я послала через Лоткаревых и г-жу Краруп. (Послала тебе по крайней мере 5 нарисованных карточек, которые ты всегда можешь узнать по моим знакам выдумываю всегда новое.) Да, Господь удивительно милосерд, послав тебе доброго друга во время испытаний, благословляю его за все, что он сделал, и посылаю образок. Как всем, кто добр к тебе. Прости, что так плохо пишу, но ужасное перо, и пальцы замерзли от холода.

Были в церкви в 8 час. утра. Не всегда нам позволяют. Горничных еще не пустили, так как у них нет бумаг; наш ужасный комиссар не позволяет, и комендант ничего не может сделать. Солдаты находят, что у нас слишком много прислуги, но благодаря всему этому я могу тебе писать, и это хорошая сторона всего. Надеюсь, что это письмо и пакет дойдут до тебя благополучно. Напиши Анушке, что ты все получила, — они не должны догадываться, что мы их обманываем, а то это повредит хорошему коменданту, и они его уберут.

Занята целый день, уроки начинаются в 9 час. (еще в постели), встаю в 12 часов. Закон Божий с Татьяной, Марией, Анастасией и Алексеем. Немецкий 3 раза с Татьяной и 1 раз с Мари и чтение с Татьяной. Потом шью, вышиваю, рисую целый день с очками, глаза ослабели, читаю «хорошие книги», люблю очень Библию и время от времени романы. Грущу, что они не могут гулять, только на дворе за досками, но по крайней мере не без воздуха, благодарны и за это.

Он прямо поразителен — такая крепость духа, хотя бесконечно страдает за страну, но поражаюсь, глядя на него. Все остальные члены семьи такие храбрые и хорошие и никогда не жалуются — такие, как бы Господь и наш друг хотели бы. Маленький — ангел. Я обедаю с ними, завтракаю тоже, только иногда схожу вниз. Священника до уроков не допускают. Во время служб офицер, комендант и комиссар стоят возле нас, чтобы мы не посмели говорить. Священник очень хороший, преданный. Странно, что Гермоген здесь епископом, но сейчас он в Москве. Никаких известий из моей бывшей родины и Англии? В Крыму все здоровы. М. Ф. была больна и, говорят, постарела. Сердцу лучше, так как веду тихую жизнь. Полная надежда и вера, что все будет хорошо, что это худшее и вскоре воссияет солнце. Но сколько еще крови и невинных жертв!? Мы боимся, что Алексея маленький товарищ из Могилева был убит, так как имя его среди маленьких кадетов, убитых в Москве. О Боже, спаси Россию! Это крик души и днем и ночью — и все в этом для меня — только не этот постыдный ужасный мир... Я чувствую, что письмо мое глупо, но я не привыкла писать, хочу столько сказать и не могу. Я надеюсь, ты получила мое вчерашнее письмо через Марию Феод. — дочку. Как хорошо, что ее муж занимается твоим лазаретом. Вспоминаю Новгород и ужасное 17 число, и за это тоже страдает Россия. Все должны страдать за все, что сделали, но никто этого не понимает...

Я только два раза видела тебя во сне, но душой и сердцем мы вместе и будем вместе опять — но когда? Я не спрашиваю, Бог Один знает. Благодарю Бога каждый день, который благополучно прошел. Я надеюсь, что не найдут эти письма, так как малейшая неосторожность заставляет их быть с нами еще строже, т. е. не пускают в церковь. Свита может выходить только в сопровождении солдата, так что они, конечно, не выходят. Некоторые солдаты хорошие, другие ужасные. Прости почерк, но очень торопилась и на столе мои краски и т. д. Я так рада, что тебе нравится моя синяя книга, в которую я переписывала...

Ни одного твоего письма не оставляю, все сожжено — прошедшее, как сон! только слезы и благодарность. Мирское все проходит: дома и вещи отняты и испорчены, друзья в разлуке, живешь изо дня в день. В Боге все, и природа никогда не изменяется. Вокруг вижу много церквей (тянет их посетить) и горы. Волков везет меня в кресле в церковь — только через улицу — из сада прохожу пешком. Некоторые люди — кланяются и нас благословляют, другие не смеют. Каждое письмо читается, пакет просматривается... Поблагодари добрую Ек. Вик. от нас, очень тронуты. «Father» и Алексей грустят, что им нечего тебе послать. Очень много грустного... и тогда мы тебя вспоминаем. Сердце разрывается по временам, к счастью, здесь ничего нет, что напоминает тебя — это лучше — дома же каждый уголок напоминал тебя. А дитя мое, я горжусь тобой. Да, трудный урок, тяжелая школа страдания, но ты прекрасно прошла через экзамен. Благодарим тебя за все, что ты за нас говорила, что защищала нас и что все за нас и за Россию перенесла и перестрадала. Господь один, может, воздаст... Наши души еще ближе теперь, я чувствую твою близость, когда мы читаем Библию, Иисуса Сираха и т. д... Дети тоже всегда находят подходящие места — я так довольна их думами. Надеюсь, Господь благословит мои уроки с Беби — почва богатая — стараюсь как умею — вся жизнь моя в нем. Ты всегда со мной, никогда не снимаю твое кольцо, ночью надеваю на браслет, так как оно мне велико — и ношу всегда твой браслет...

Тяжело быть отрезанной от дорогих после того, что привыкла знать каждую мысль. Благодарю за всю твою любовь, как хотела бы быть вместе, но Бог лучше знает. Учиться теперь не иметь никаких личных желаний. Господь милосерд и не оставит тех, кто на Него уповает...

Какая я стала старая, но чувствую себя матерью страны и страдаю, как за своего ребенка, и люблю мою Родину, несмотря на все ужасы теперь и все согрешения. Ты знаешь, что нельзя вырвать любовь из моего сердца и Россию тоже, несмотря на черную неблагодарность к Государю, которая разрывает мое сердце, — ведь это не вся страна. Болезнь, после которой она окрепнет. Господь, смилуйся и спаси Россию!.. Страдание со всех сторон. Сколько времени никаких известий от моих родных. А здесь разлука с дорогими, с тобой. Но удивительный душевный мир, бесконечная вера, данная Господом, и потому всегда надеюсь. И мы тоже свидимся — с нашей любовью, которая ломает стены. Рождество без меня, в шестом этаже!.. не могу об этом думать...

Дорогое мое дитя, мы никогда не расстались, все простили друг другу и только любим. Я временами нетерпеливая, но сержусь, когда люди нечестны и обижают и оскорбляют тех, кого люблю. Не думай, что я не смирилась (внутренне совсем смирилась, знаю, что все это ненадолго). Целую, благословляю, молюсь без конца. Всегда твоя

М.
Посылаю тебе письмо от Fhaser. Поблагодари тех, кто написали по-английски. Но лучше не говори, что мы пишем друг другу; чем меньше знают, тем лучше. Еще одна карточка тебе.

№ 9. (Написано по-русски)

9 января 1918 года

Милая, родная, мое Дитя, спасибо тебе, Душка, за разные письма, которые глубоко нас обрадовали. Накануне Рождества получила письмо и духи, тобой уже в октябре посланные. Потом еще раз духи через маленькую Н., жалею, что ее не видала. Но мы все видели одного, который мог бы быть брат нашего друга. Папа его издали заметил: высокий, без шапки, с красными валенками, как тут носят. Крестился, сделал земной поклон, бросил шапку на воздух и прыгнул от радости.

Скажи, получила ли ты разные посылки через знакомых с колбасой, мукой, кофе, чаем и лапшой и подарки, письма и снимки через М. Е. Г. Волнуюсь, так как говорят, открывают посылки со съестными продуктами. Также говорят, лучше не посылать «заказные», они больше на них обращают внимания, и оттого теряются. Начинаю сегодня номера ставить, и ты следи за ними. Твои карточки, серебряное блюдечко и Лили колокольчик, тот пакет еще не могли передать. Мы все тебя горячо поздравляем с именинами — да благословит тебя Господь, утешит и подкрепит, обрадует. Нежно тебя обнимаю и целую страдальческий лоб.

Верь, дорогая, Господь Бог и теперь тебя не оставит. Он милостив, спасет дорогую, любимую нашу Родину и до конца не прогневается. Вспомни Ветхий Завет, все страдания израильтян за их прегрешения. А разве Господа Бога не забыли, оттого они счастья и благополучия не могут принести — разума нет у них. О, как молилась 6-го, чтобы Господь ниспослал бы духа разума, духа страха Божия. Все головы потеряли, царство зла не прошло еще, но страдание невинных убивает. Чем живут теперь: и дома, и пенсии, и деньги — все отнимают. Ведь очень согрешили мы все, что так Отец Небесный наказывает Своих детей. Но я твердо, непоколебимо верю, что Он все спасет, Он один это может.

Странность в русском характере — человек скоро делается гадким, плохим, жестким, безрассудным, но и одинаково быстро он может стать другим; это называется — бесхарактерность. В сущности — большие, темные дети. Известно, что во время длинных войн больше разыгрываются все страсти. Ужас, что творится, как убивают, лгут, крадут, сажают в тюрьмы — но надо перенести, очиститься, переродиться.

Прости, душка, что я тебе скучно пишу. Часто очень ношу твои кофты, лиловую и голубую, так как холодно в комнатах. Но морозы небольшие, изредка доходит до 15-20 гр., иногда выхожу, даже сижу на балконе. Дети только что выздоровели от краснухи (кроме Анастасии). Получили ее от Коли Деревенки. Обе старшие начали новый год в кровати, у Марии, конечно, температура поднялась до 39,5. Волосы у них хорошо растут. Теперь уроки опять начались, и я давала вчера утром три урока, сегодня же я свободна, оттого и пишу. 2-го я очень много о себе думала, послала свечку поставить перед образом св. Серафима. Даю в нашу церковь и в собор, где мощи, записки за всех вас, дорогих. Подумай, тот странник был здесь осенью, ходил со своим посохом, передал мне просфору через других. Начала читать твои книги, немного слог иной, чем обыкновенно написано. Здесь достала себе тоже хорошие книги, но времени мало читать, так как вышиваю, вяжу, рисую, уроки даю, и глаза слабеют, так что без очков уже не могу заниматься. Ты увидишь старушку.

Знаешь ли, у. Николай Дм. аппендицит, он лежит в Одессе в госпитале. А у Сыробоярского месяц тому назад была операция. Скучает с его матерью, и в переписке такая милая, нежная, горячо верующая душа. Лили должна была с ней познакомиться. Надеюсь, что ты все карточки получила: в пакете с колбасой тоже была одна вложена, они не всегда удачны. Если письмо получишь, то просто пиши, спасибо за № 1. Моих трех, Изу все не пускают к нам, не желают, и они глубоко огорчены, сидят так зря, но и Анушка таким образом более полезна. Образки для всех ты в посылке получила. Но где Сережа и Тина, ничего о них не знаю. Бедная Аля, надеюсь, не слишком грустит, и Беби стал ли плохим вдали от нее, милые детки. Miss Ida с ней, я надеюсь. Знаешь, сестра Грекова должна была выйти замуж за барона Таубе на днях. Как я рада, что он про брата говорил...

Все прошло. Новую жизнь надо начинать и о себе позабыть. Надо кончить, душка моя. Христос с тобой. Всем твоим привет. Маму целую. Еще раз нежно поздравляю. Скорей хочу рисунок кончить и вложить. Боюсь, что ужасные дни у вас. Слухи долетают и про убийство офицеров в Севастополе. Боюсь за Радионова, он там с братом. Твоя старая М.

№ 10. (Написано по-русски)

9 января 1918 года

Милая и дорогая моя, очень я вам благодарна, что мне писали, получила сегодня от 30-го и еще телеграмму. Вот я счастлива, что посылки дошли, должно быть их 4. Спасибо большое за открытки. Да, хорошо, что могли праздник в церкви провести, — да и я под елкой очень усердно за мою маленькую молилась, вспоминала прошлые года. Помнишь, встречали в первый раз Новый Год вместе...

Мне не легко, но я так благодарна за все, что имела, — я теперь старая и далеко от всего. Ты все, родная, понимаешь. Как твои все маленькие питомцы, наверное, они тебя радуют, но Мишу не надо баловать. Наконец Беби будет со своими после разлуки. Теперь я все иначе понимаю и чувствую — душа так мирна, все переносу, всех своих дорогих Богу отдала и Святой Божьей Матери. Она всех покрывает Своим омофором. Живем, как живется. Привет старому Берчику. Господь Бог видит и слышит все. Дорогой О. В. привет. Ты теперь большая, и Бог к тебе близок. Милому Эристову привет. Получил ли он письмо от тебя, что он про свадьбу говорил? Где молодые живут? Носишь ли ты серый шарф, с горячей любовью вязала его. Прощай, моя милая маленькая подруга. Господь с вами всеми дорогими. Дяде и Марии Алекс. привет. Очень тронута была красивой кофтой, которую давно получила. Доктору Кореневу мой привет. Говорят, ужас что творится в городе. Храни вас Бог от всякого зла. О. Досифею поклон. Ваш раненый Денисов так красиво работает, но стал очень пить, что жалко, жена его

симпатичная и ребенок в кудрях — душка. Сын Путятина с женой живут в доме ее брата, который он продал.

№ 11. (Написано церковно-славянским шрифтом)

16 января 1918 года

Милая, дорогая, возлюбленная сестрица Серафима.

От нежно любящего сердца поздравляю Вас, многолюбимая страдальница моя, с праздником Вашим. Да ниспошлет Вам Господь Бог всяких благ, доброго здоровья, крепость духа, кротость, терпение, силы перенести все обиды и гонение, душевную радость. Да осветит луч солнца ярко и ясно путь ваш жизненный. Сами погрейте всех любовью вашей. Да светит свет ваш в эти темные неясные дни. Не унывай, родимая, скорбящая сестра. Господь услышит твои молитвы. Все в свое время. Молимся и мы за Вас, богоизбранную сестру, вспоминаем вас, убогий далек от нас. Все, любящие вас в этом месте, приветствуют вас, многолюбимая сестра.

Не судите плохим шрифтом написанное, ведь сестрица ваша малограмотная, болящая труженица, изучаю я писание молитв, но слабость зрения мешает моему рвению. Читаю творения святого отца нашего Григория Нисского, но туго идет: очень уж много о сотворении мира.

И получила я от сестры нашей Зинаиды добрейшее послание, столько любви в каждом слове, все дышит душевным миром. Семья вами любимая в добром здравьи: дети были больны детскими болезнями, — поправились, но младшая теперь слегла, но весела и не страдает. Господь благословил погодой, она у нас чудная, мягкая, так что сестрица ваша птичка гуляет и греется на солнце. Но когда большой мороз, тогда она прячется в свою келью, берет чулок свой и очки надевает. Сестра София, которая недавно пришла, не оставлена, начальство не благоволило ее оставить там, — приютилась она у попадьи со своей старушкой... другие сестры тоже в разных местах.

Многолюбимая, не устала ты чтением этого письма? Пора кончить — все пошли в трапезную, я останусь дежурить у болящей рабы Божьей Анастасии. Рядом в келии сестра Екатерина дает урок. Вышиваем мы покрывала, воздухи, на аналой покрывала — сестры Татьяна и Мария особенно искусно вышивают, но рисунок нет больше. Отец наш, батюшка Николай, собирает нас по вечерам вокруг себя и читает нам вслух, а мы занимаемся рукоделием. Со своею кротостью и при телесном здравии он не пренебрегает в это тяжелое время колоть и пилить дрова для наших нужд, чистит дорожки со своими детьми. Матушка наша Александра приветствует вас, многолюбимая сестра, и шлет вам свое материнское благословение и надеется, что вы, сестрица, хорошо поживаете в духе Христа. Тяжело вам живется, но дух тверд. 2 градуса мороза, тихо на улице. Добрая сестра Серафима. Будьте Богом хранимы, прошу ваших молитв. Христос с Вами.

Грешная сестра Феодора

Господь Помощник мой и защита моя. На Него уповает сердце мое, и поможет мне.

Боже ущедри ны, просвети лице Твое на ны и спаси нас.

Отцу Досифею земной поклон.

№ 12. (Написано по-английски)

17 января 1917 года

Мой дорогой друг, посылаю тебе мои самые нежные пожелания и благословения к твоим дорогим именинам. Надеюсь, что ты здорова, несмотря на переживаемое ужасное время. Все здоровы, кроме младшей, у которой краснуха; остальные все поправились. У нас была недавно очень мягкая погода, вчера 2 гр. мороза, сегодня уже 15 гр. и сильный ветер. Вся семья посылает сердечные пожелания и приветы. Благослови тебя Господь, душка моя, будь здорова и бодра. Я получила доброе письмо от Зины. Акилина в Киеве. Нежный поцелуй издалека.

№ 13. (Написано по-русски)

22 января 1918 года

Милая моя душка. Так неожиданно сегодня получила дорогое письмо от 1-го и открытку от 10-го и тороплюсь ответить. Нежно благодарим, несказанно тронуты Яр., правда, ужасно трогательно и мило, что и теперь нас не забывал. Дай Бог, чтобы его имяние не трогали бы, и благослови его Господь. Посылаем немного еды, не знаю, как может доставить.

Родное мое дитя, много и часто о тебе вспоминаю. Писала тебе через Жука 16-го, и 17-го через мистера Гиббса, и 9-го через А. 2 письма... Вот, уронила любимое перо и сломала его, скука такая. Ужасно холодно, 29 градусов в зале и дует отовсюду такой ветер, но они все гуляют. Надеемся офицера увидеть завтра хоть издали. Так рада, что ты все получила. Надеюсь, что носишь серый платок и что он «вервеном» пахнет. Понюхай это письмо — знакомый старый запах. Добрая Зиночка мне нашла и послала из Одессы. Что ты познакомилась с Горьким, меня так удивило — ужасный он был раньше, не моральный, ужасные, противные книги и пьесы писал — неужели это тот. Как он против Папы и России все восставал, когда он в Италии жил. Будь осторожна, дорогая.

Хорошо, что можно в церковь идти, — нам это опять запретили, так что дома служба и другой священник. Как я рада, что с Сережей все хорошо, — но бедной Тине будет трудно теперь, помоги ей Бог... Маня. Р. мне образ умиления через Изу теперь посылала, он еще в П., хотели его убить. Трудно людей теперь понять, иногда на вид большевики, в душе напротив. Как же отдашь — не знаю как. Висел над койками детей, теперь и мне стало лучше — носила на новый год — лежал на молитв. столе 31-го и во время службы. Как же мне это сделать — совсем не знаю.

Гермоген каждый день служит молебен у себя для Папы и Мамы, очень за них. Много удивительного, странного. Полным ходом надо писать, ждут письмо. Скорее нарисовала (очень плохо) молитву на кусочек березов., кот. он пилил. Мало теперь рисую из-за глаз, пишу в очках — холодно, пальцы совсем окоченели. Хотелось бы послать что-нибудь, но нет ничего. Посылаю тебе образ Абал. Б. Матери, молись у нее, она привезена была в нашу церковь. Офицер тоже в монастырь поедет, замерзнет, боюсь, по дороге. Спасибо за чудную молитву. Страшный ветер, дует в комнаты. Часто очень благодарю тебя за твою синюю кофточку и лиловую тоже. Любовь горячую шлю, молитвы, душу. Крепко верю, на душе мирно. Все мы Твои и Тебя горячо, нежно целуем. Привет всем.

№ 14. (Написано по-русски)

23 января 1918 года

Душка моя родная, маленькая, — есть еще возможность тебе написать, так как уедет только 26 обратно... Кто мог подумать, что он сюда приедет; надеюсь, что его не обокрадут по дороге, везет тебе 2 фунта макарон, 3 фунта рису и 1 фунт колбасы; так удобно вышло, что Анушка не с нами живет. Связала чулки и посылаю тебе пару. Они для мужчины сделаны, но, думаю, тебе

пригодятся. Под валенками носишь, и когда холодно в комнатах. 29 гр. опять, 6 гр. в зале — дует невероятно. Страшно тронуты, что X деньги привез, но, правда, не надо больше — все пока у нас есть. Бывали минуты, когда не знали, откуда взять, так как из Петрограда не высылали, теперь опять пока есть. Чем ты живешь. Твои деньги я тебе тогда положила вниз в шкатулку с твоими золотыми вещами. Скажи, X принадлежит ли к друзьям Лили или Келлера. Нет ли у него имения на юге около Киева... почти не могу держать пера. Как я рада, что твоя комната уютная и светлая, но страшно утомительно так высоко подниматься. Как бедная спина и нога. И сердце золотое. С тех пор ничего о Лили не знаю, кажется, юг от севера отрезан; оттого я тоже больше не получаю письма от матери Сырбоярского. Он учится английскому языку. От Седова не имею известий; Лили писала давно, что он должен был бы быть недалеко отсюда. От двух сестер моих и брата уж год ничего не знаю. Летом только раз от сестры. О.А. пишет детям длинные письма — все про своего мальчика, которого обожает, кормит его, ухаживает за ним (у них нет няни). Бабушка, кажется, постарела очень, — больная у себя в комнате сидит и грустит. У Тутельс 4 гр. в комнате. Сломала перо опять, и это жесткое. Говорят, что «Столпу семейства» хорошо живется в Кисловодске: оба сына у нее, она много принимает, там весь «beau monde»; Рубинштейн и Манташев царствуют и все устраивают. Говорят, и румыны туда приглашены. Мерица ждет там ребенка. Мариана Р. Рожнова купила себе дом и принимают по вечерам... Очень про тебя спрашивала Тутельс и моя хорошая большая Нюта Демидова с таким участием. Jimmy лежит у меня на коленях и греет меня. Солнце светит, они все пошли на улицу. Невероятно холодно из-за ветра, но у вас, должно быть, ад просто — темнота, холод и голод. Помогите Вам Бог перенести все это тяжелое. Какие испытания. Чем хуже здесь, тем лучше и светлее будет там. Больно думать, сколько еще будет кровопролитий, пока настанут лучшие дни. Я слышала, что Малама и Эллис еще в полку. Видаете ли вы доброго отца Иоанна.

Душка, посылаю тебе всю мою любовь; грустно, что ничего здесь нельзя достать. Вышиваю покрывала на аналои и воздухи, когда глаза позволяют, а то вяжу чулки, но скоро конец шерсти, которую привезла. Здесь нельзя достать, только грубая и дорогая. Шура Петровская выучилась сапоги шить и продает их теперь; она с детьми брата теперь (он оставил полк, как почти все остальные), но их выгоняют из дома. Сандру она видела раз, впечатление больной женщины. В. Чеботарева оставила лазарет. Вильчковские в Ессентуках. Дети получили от их няни письмо из Англии — с октября месяца первое письмо оттуда. Ну, какие глупости во всех газетах о Татьяне стали писать. Где епископ Исидор. Как здоровье доктора — твоего спасителя, выдаешь ли ты его. Сердечный привет добрым родителям, храни их Бог. Так хотелось бы тебе что-нибудь интересное написать, но ничего не знаю.

Маленький носит фуфайку в комнатах; девочки валенки; я знаю, как ты бы грустила, смотря на нас: мы это говорим и тебя вспоминаем... Татьяна получила письмо от Раптопуло из Москвы. Вообще письма часто не доходят. Если ты уже читала «Притчи Соломона», то теперь надо читать «Премудрости Соломона», найдешь много хорошего там. Люблю уроки Закона Божьего с детьми, читаем Библию, говорим, читаем описание жизни Святых, объяснение Евангелия, изречения, объяснения молитв, службы и т. д. Добрый Седнев только что мне принес чашку какао, чтобы согреться, и Jimmy просит. Родная, когда с четками молишься, какую молитву читаешь ты на 10-е? Я разные, *Отче наш*, *Богородице*, *Царю Небесный* и т. д., но не знаю, верно ли так или нужно одну особенную повторять. Искала в книгах и нигде не нашла. Знаю только, что *Г.И.Хр. С.Б. помяни мя грешную*. Так тянет в церковь, позволили в двенадесятый праздник, так что надеюсь 2-го февраля. А 3-го попрошу за тебя у Раки молиться. За здоровье болящей Анны. Чемодуров мне это устроил. Потом буду дальше писать.

Ты лучше сожги мои письма, вдруг придут к тебе и будут рыть в твоих вещах. Что бедный г. Сух... Как муж Нини. А Сашка где... — священник этот энергичный, преданный, борется за

правду, очень милое лицо, хорошая улыбка, худой с серой бородой и умными глазами. Исповедовались у него в октябре, но говорили больше об общем положении. Он известен среди хороших людей, потому его от нас убрали, но, может быть, и лучше, так как он может больше делать теперь. Епископ за нас и Патриарх в Москве тоже, и большая часть духовенства.

Будь осторожна со всеми, кто приходит к тебе. Я очень беспокоюсь о «Bitter», [25] — он издает ужасную газету и писал столько гадких пьес — грязных и книг. Ничего серьезного при нем не говори. Люди будут стараться как прежде окружать тебя, — я не говорю о твоих настоящих друзьях, честных людях, но из-за своих личных выгод будут пользоваться тобою и опять прятаться за твою спину. Тогда услышат о твоём имени и начнут снова тебя преследовать. «Bitter» настоящий большевик. Ломаю себе голову, что тебе послать, так как здесь ничего нет. Масса наших рождественских подарков были все нашей собственной работы, и теперь глаза должны отдохнуть. Сегодня 24-го — 19 градусов и теплее, говорят. Как я тронута, что кн. Эристова так мило говорила про образок. Шлю ей и сыну сердечный привет, пускай она нам напишет, что он теперь делает. Одна попадья видела во сне, что Иртыш был совсем черный, потом стал светлее, из середины показался человек — в сиянии; все в Тобольске говорят об этом сне и видят в нем будущее России. Люди милые, здесь все больше киргизы. Сажу у окна и киваю им, и они отвечают, и другие тоже, когда солдаты не смотрят. Оказывается, много разграбили в большой церкви Зимнего Дворца. Из Ризницы, там богатые, ценные старинные образа были (и масса наших в маленькой комнате около ризницы), и в Гатчинской церкви тоже. Это ужасно. Знаешь, портреты моих родителей, «Father» совершенно уничтожены, кажется, русский шлейф (несколько) и 12 платьев тоже. Это ужасно, что церковь не пощадили; думают, что санитары лазарета Зимнего Дворца показали им все.

24-го. Спасибо, милая, родная, за открытку от 12-го. Сегодня получила. Рада, что получила весточку через Эристову. Так радостно иметь известия. Ужасно хочу тебе сегодня стихи срисовать на березовой коре, если глаза позволят. Был только что урок с Татьяной, теперь надо вставать, и урок с Мари. Говорят, что поганцы в Смольном запаслись многим, так что не будут голодать, и им все равно, что в Петрограде умирают с голода. Зачем Х деньги дал, лучше бы было их бедным раздать. Буду их прятать на «черный день». Были минуты —...люди ждали уплаты в магазинах, и наши люди 4 месяца не получали жалование, потом прислали. Но и солдаты не получали то, что полагается; тогда пришлось из наших денег взять, чтобы их успокоить. Это все мелочь, но большая неприятность для коменданта, он имеет наши деньги. Не говори другим об этом. Пока не упразднили гофмаршальскую часть, но хотели теперь, тогда не знаем, как будет; но ничего, Господь поможет, и нам здесь хорошо, и все есть, что нужно.

Не знаю, что с бедной Ливадией делают, много политических арестованных, которых освободили, живут там. Не знаешь, где дорогой Штандарт. Боюсь спросить. Боже, как я за тебя страдала, что ты жила на Полярной звезде. Какой ужас ее так увидеть. Можешь ли мой мелкий почерк читать. Не могу о яхте вспоминать, невыносимо больно... Вот нашли «paperknife» [26] из мамонтовой кости, не очень хороший, но все-таки здесь сделанный, и, может быть, тебе пригодится. Скорей нарисовала тебе карточку — и на березе тоже, очень торопилась, так что прости, что они не лучше вышли. Вот, кажется, уберут нашего комиссара (our jailor an ex forsa [27]), и мы этому очень рады, его помощник уедет с ним, ужасный тип, они вместе в Сибири сидели, комиссар 15 лет. Солдаты это решили, а, слава Богу, оставляют нам нашего коменданта. Все от солдат зависит. Могла бы больше писать, но все-таки боюсь. Надеюсь, он тебе благополучно доставит. Сейчас маленький придет на урок, я лежу, так как 6 часов, дрова трещат в камине — очень уютно, но мало греют. Говорят, что теплее на улице и что ветер затих. Прохожу с Алексеем объяснение литургии, дай мне Бог умение учить, чтобы на всю жизнь осталось у них в памяти, чтобы им было в пользу и для развития души. Все-таки везде невежественность большая. Жалею, что письмо мало интересное. Вчера пили чай в их

маленькой уборной. Уютно, что все так близко живем и что все слышно. Мне надо письмо кончить, тогда он завтра утром получит — надеемся его увидеть из окна.

Милая, родная моя душка, Господь с тобою, благословляю тебя, нежно целую, все мои тебя целуют и посылают «much love». [28] Господь поможет. Помнишь, что я тебе в 1914 году сказала про Германию. Вот теперь там начинается то же, что у нас. Чем хуже там, тем лучше и светлее будет у нас, это мое чувство, этим спасемся. Но ты понимаешь тоже, что переживаю, не имея известий от брата, и что впереди... он тоже про нас ничего не знает. Если я думаю, что маленький «home» будет тоже так страдать, как мы, то ужас (а потом Англия), хотя наш друг сказал, что нам ничего не будет, так как я оттуда, но здесь еще так страшно плохо. Стараюсь мысли отгонять, чтобы от отчаяния покой душевный не потерять. Боюсь за моих там, что будет. И ты, родная, помолись за мою маленькую старую родину, — и знаешь, за эти годы, все, что мне в жизни дорого, заставляет меня страдать — «home, new home», [29] ты отрезана от всех. Доверяю всех в Ее святые руки, да покроет она всех Своим омофором. Благодарю день и ночь за то, что не разлучена со своими родственными душками, за много надо благодарить, за то, что ты можешь писать, что не больна, храни и спаси тебя Господь, всем существом за тебя молюсь, а главное, что мы еще в России (это главное), что здесь тихо, не далеко от раки св. Иоанна. Не удивительно, что мы именно здесь. Прощай, до свиданья, моя дочка любимая, горячо целую, как люблю.

Лучше было, если Тина поехала в Одессу, чтобы быть недалеко от Сережи и добрая Зиночка могла бы за ней ходить. Но так как румыны взяли уже Кишинев, Сережа уже, вероятно, уехал, но я рада, что они были вместе, хорошо, что разделяют трудности жизни — любовь их только окрепнет. Как здоровье Али, какой Дерфельден убит на Кавказе, муж ли Марианны. Мать ее с семьей живут в доме Бориса. Вижу изредка Изу на улице и наших девушек; живут они в разных местах. Надя Коцебу живет в Ялте со своей belle vtrt. [30] Сестра Татьяна Андр. теперь в Петербурге, устроит сестру, потом вернется к М. Ф. Привет о. Кибардину, о. Афанасию, нашему о. Александру и Лиомилову старику сердечный привет, часто его вспоминаю. Он пишет иногда нашим, про Кондратьева ничего не знаю. Имеешь ли известие от Лили. Где твоя Зина с ребенком, где наши шоферы. Где Коньков. Разорви письмо лучше. Имеешь ли от Гахама письма. Жив ли генерал Шведов. Святая Богородица, береги мою дочку...

Если «Bitter» автор, берегись, так как нехороший человек, настоящий большевик...

№ 15. (Написано по-русски)

5 февраля 1918 года

Милая душка, родная моя маленькая. Боже, как мне тебя жаль. Сегодня одновременно получила твои открытки от 26 января и телеграмму о смерти дорогого Папа. И я не с тобой, не могу тебя прижать к груди и утешить тебя в твоём большом горе. Дитя мое, ты знаешь, что я с тобой, молюсь с тобой и разделаю твоё горе. Спаситель и Матерь Божия утешь дочку мою... Упокой душу дорогого отца. Завтра утром Аннушка пойдет и закажет в Соборе сорокоуст у раки святого и помолится за нас всех, — мы только можем у себя молиться всем сердцем. В нем мы обе потеряли верного, милого долголетнего друга. Папа и дети скорбят с тобой, целуют и передают все, все. Ты чутким своим сердцем все понимаешь, так как телеграмма почтой шла, не знаю, когда Бог его к Себе взял, неужели в тот день, что ты мне писала. Как я рада, что ты его ежедневно видела, но как все это случилось. Бедный маленький папа. Какая большая потеря. Знаю, как вы друг друга любили, понимаю и разделаю твоё горе, сама все это испытала и знаю эту страшную боль. Но за него надо Бога благодарить, слишком много тяжелых переживаний, без дома и вообще... помню, наш друг сказал, что после женитьбы Сережи он умрет. И вы две женщины одни, или Беби с вами, чтобы помог и добрый дядя. Я через него как

следует напишу тебе и маме бедной. Целую ее крепко, и скажи, как мы обе его любили и ценили — он редкий был человек... Ужасно только сегодня это знать, быть так далеко. Боже мой! Как ты во всем этом. Один ужас, помоги и подкрепи тебя Господь Бог. Какое счастье, что вы так много вместе были и дружно жили, упрекать себя не в чем. Ты дала ему всю любовь, и Бог тебя за это вознаградит. Не плачь, он счастлив теперь, отдыхает и молится за вас всех у Престола Божьего. Ужасно не иметь возможности побывать в церкви, помолиться за всех вас, у себя все-таки не то.

Мы оба нежно благодарим за образчики от дорогого образа. Я счастлива, что ты мои два письма получила, теперь скоро опять два через Х... что он расскажет тебе о твоих дорогих, только для тебя... Какие ужасы в Ялте и Массандре; Боже, куда, куда. Где спасенье офицерам и всем? И церкви грабят, и ничего больше святого нет, кончится землетрясением или чем-нибудь ужасным — кара Божья страшна. Умилосердись над Родиной многострадальной, Боже! Как молюсь за ее спасение.

Ты не видала Иоаннчика в Иоан. монастыре, он служил там диаконом и скоро будет священником. Бедная его жена. Я очень счастлива, что маленькие мои карточки тебе понравились. Как мне тебя жаль... и Аля бедная, и брат, Боже мой, сколько страдания. 3-го нам передали твои милые вещи: духи, серебряное блюдо, пташки, кожаную книжку; за все горячо благодарим. Мило, что именно в этот дорогой день получили.

Милая, не надо белья, достаточно совершенно у всех, все имеем. Говорят, что скоро привезут японский товар. Японцы в Томске порядок держат. Надеюсь, ты съедобные вещи получила к празднику? Скоро опять пошлем муку и что можно достать. Не позволено больше 12 фунтов, так как у вас сахара нет — неочищенный вкусный мед — во время поста. Мы живем еще по старому календарю, но придется, вероятно, переменить, только как с постом и разными службами. Думаю, что народ страшно рассердится, что таким образом две недели выключают, оттого раньше не было сделано.

Вышиваем много для церкви, только что кончили белый венок из роз с зелеными листьями и серебряным крестом, чтобы под образ Б.Матери Абалацкой повесить. Солнышко блестит, греет днем, и чувствуешь, что все-таки Господь не оставит, но спасет, да спасет, когда все мрачно и темно кругом и только слезы льются. Вера крепка, дух бодр, чувствую близость Бога. Ангел мой, не скорби — это все должно сбыться. Только, Боже, как мне этих невинных жаль, которые гибнут тысячами. Письмо слишком толстое, нельзя больше писать. Пускай Мама простит, что ошибки делаю, когда пишу по-русски. До свидания, Господь с тобой — прижимаю дорогую головку к груди и в молитвах всегда с тобой.

Твоя.

Посылаю письма от Father и детей.

№ 16. (Написано по-русски)

2/15 марта 1918 года

Милое, родное мое дитя! Как тебя за все благодарить, спасибо большое, нежное от Папы, Мамы и деток. Балуеть ужасно всеми гостинцами и дорогими письмами. Волновалась, что долго ничего не получала, слухи были, что ты уехала. Не могу писать, как хотелось бы... боюсь писать, как ты, по-английски, если попадут в другие руки — ничего плохого не пишу. Спасибо за мои чудные духи, образки, книги! Все дорого. Ек. Вик. большое спасибо, еще не видали, что прислала, все понемногу. В шутку называю: контрабандой. Радость моя, только берегись...

спасибо, что известье дала... скользко ходить, иногда хочешь другу дорогу прочистить в снегу и не замечаешь, что стало более скользко без снега. Твоим дорогим хорошо живется, она стала хозяйкой, с Жиликом сидят над счетами, все ладно, новая работа, практичная. Спасибо за работы, шоколад — все еще увидим. Погода чудная, весенняя, они даже загорели, теперь 20 гр. (17 на солнце). Два раза сидела на балконе, а то на дворе (когда небольшой мороз). Здоровье хорошо было все время, неделя, что опять сердце беспокоит и болит. Я очень мучаюсь...

Боже, как Родина страдает! Знаешь, я гораздо сильнее и нежнее тебя ее люблю... Бедная Родина, измучили изнутри, а немцы искалечили снаружи, отняли громадный кусок, как во времена Алексея Михайловича, и без боя, во времена революции. Если они будут делать порядок в нашей стране, что может быть обиднее и унижительнее, чем быть обязанным врагу — Боже спаси. Только они не смели бы разговаривать с Папой и Мамой.

Надеемся говеть на будущей неделе, если позволят в церковь идти. Не были с 6 января, может быть, теперь удастся — так сильно в церковь тянет. Буду с четками так молиться, как ты пишешь... Бедную маму твою целую...

Хорошо, что ты вещи из лазарета взяла. Много доброго Г. С. Боже, какие у вас там переживания, и нам тут хорошо живется. Получила чудное письмо от Зины. Полным ходом нарисовала тебе 2 молитвы, очень торопилась, извиняюсь, что неважно. Только что узнали, что «Mischa» уехал! Николай Михайлович — еврей: это он сказал, что ты знакома с большевиками! Не могу больше писать: сердцем, душой молитвенно всегда с тобою. Господь тебя хранит. Всем вообще спасибо... Скоро весна на дворе и в сердцах ликование. Крестный путь, а потом Христос воскрес! Год скоро, как расстались с тобой, но что время? Ничего, жизнь — суета, все готовимся в Царство Небесное. Тогда ничего страшного нет. Все можно у человека отнять, но душу никто не может, хотя диавол ловит человека на каждом шагу, хитрый он, но мы должны крепко бороться против него: он лучше нас знает наши слабости и пользуется этим. Но наше дело быть настороже и не спать, а воевать. Вся жизнь — борьба, а то не было бы подвига и награды. Ведь все испытания, Им посланные, попущенья — все к лучшему; везде видишь Его руку. Делают люди тебе зло? А ты принимай без ропота: Он и пошлет Ангела-хранителя, утешителя Своего. Никогда мы не одни, Он Вездесущий — Всезнающий — Сам любовь. Как же Ему не верить? Солнце ярко светит. Хотя мир грешит, тьма и зло царствуют, но солнце правды воссияет; только глаза открывать, двери души держать отпертыми, чтобы лучи того солнца в себя принимать. Ведь мы Его любим, дитя мое, и мы знаем, что «так и надо». Только потерпи еще, душка, и эти страдания пройдут, и мы забудем о муках, будет потом только за все благодарность. Школа великая. Господи, помоги тем, кто не вмещает любви Божией в ожесточенных сердцах, которые видят только все плохое и не стараются понять, что пройдет все это: не может быть иначе: Спаситель пришел, показал нам пример. Кто по Его пути, следом любви и страданья идет, понимает все величие Царства Небесного. — Не могу писать, не умею в словах высказать то, что душу наполняет, но ты, моя маленькая мученица, лучше меня все это понимаешь: ты уже дальше и выше по той лестнице ходишь... Живешь как будто тут и не тут, видишь другими глазами многое, и иногда трудно с людьми, хотя религиозными, но чего-то не хватает, — не то, что мы лучше, напротив, мы должны были бы быть более снисходительными к ним... Раздражаюсь все-таки еще. Это мой большой грех, невероятная глупость.

Тудельс меня иногда безумно раздражает, а это плохо и гадко: она не виновата, что такая. Мне стыдно перед Богом, но когда она не совсем правду говорит, а потом опять как пастырь проповедует. О! Я тоже слишком тебе знакомая, вспыльчивая. Нетрудно спокойно большие вещи переносить, но такие маленькие комары несносны. Хочу исправиться, стараюсь; и бывает долго хорошо, потом вдруг опять. Будем опять с другим батюшкой исповедоваться, второй в эти 7 месяцев. Прошу и у тебя прощения, моя радость; завтра прощальное воскресенье: прости за

прошлое и молись за грешную твою старушку! Господь с тобой. Да утешить и подкрепит Он тебя и бедную маму. Вчера у нас была панихида 1-го марта, я молилась крепко за твоего отца. Был день смерти моего отца 26 лет, и сегодня милого раненого — лежал в Большом Дворце, светлый герой. Хочу согреть души, но те; кто есть около меня, не согреваю: не тянет меня к ним, и это плохо, мне холодно с ними, и это опять нехорошо. Горячий поцелуй.

Твоя

№ 17. (Написано по-русски)

3 марта 1918 года

Милая, дорогая «сестра Серафима».

Много о тебе с любовью думаю и молитвенно вспоминаю. Знаю твое большое новое горе. Говорят, что почта идет, попробую писать. Спасибо душевное за длинное письмо и за все, за все...

Хорошо живем. Здесь все достать можно, хотя иногда немного трудно, — ни в чем не нуждаемся. Божий свет прекрасен, солнце светит, за облаками у вас, а у нас ярко и греет. В комнатах холодно, так что все наши пальцы похожи на ваши зимой в маленьком домике.

Такой кошмар, что немцы должны спасти всех и порядок наводить. Что может быть хуже и более унижительно, чем это? Принимаем подарок из одной руки, пока другой они все отнимают. Боже, спаси и помоги России! Один позор и ужас. Богу угодно эти оскорбления России перенести; но вот это меня убивает, что именно немцы — не в боях (что понятно), а во время революции, спокойно продвинулись вперед и взяли Батум и т. д. Совершенно нашу горячо любимую Родину общипали... Не могу мириться, т. е. не могу без страшной боли в сердце это вспоминать. Только бы не больше унижения от них, только бы они скорее ушли... Но Бог не оставит так, Он еще умудрит и спасет, помимо людей... Не могу больше писать. Пойми. Нежно целую, благословляю. Всем горячее спасибо. Целуют тебя все.

№ 18. (Написано по-русски)

5/18 марта 1918 года

Милая, родная душка моя, еще маленькое письмецо. Теперь видели все вещи и страшно благодарим. Скажи, что Д. (девочки), одели шелковые кофточки, 1 и 3 темные, 2 и 4 светлые. Шоколад в кожаном футляре очень обрадовал. Мои кофты чудные, красивые и удобные, шерсть мягкая, нежная от Эммы. Работы очень годятся, готовые воздухи прелестны, белье слишком нарядно, в сущности.

Погода дивная, сидела на балконе и старалась «Душе моя, душе моя» петь, так как у нас нет нот. Пришлось нам вдруг сегодня утром петь; с новым диаконом без спевки, шло — ну... Бог помог, но не важно было, после службы с ним пробовали. Даст Господь, вечером лучше будет. В С. П. и С. можно в 8 часов утра в церковь. Радость! Утешение! А другие дни придется нам, 5 женщинам петь. Вспоминаю Ливадию и Ореанду. Так удивительно на солнце тепло. На этой неделе будем вечера одни с детьми (первый раз), так как надо раньше спать и хотим «хорошие» вещи вместе Читать и вышивать. Службы утром в 9 часов, вечером в 7 часов.

Ничего нового не знаю — сердце страдает, а на душе светло, чувствую близость Творца Небесного, Который Своих не оставляет Своей милостью. Но что решается в Москве! Боже, помоги!

Очень тороплюсь, надо отдать вовремя, не знала раньше, что могла. — Они много работают в саду — во дворе пилили и кололи. Радость моя, душка любимая, писала тебе из-за брата... Все благодарят за духи. Молюсь крепко за тебя, за всех дорогих. Храни тебя Господь Бог. Все нежно целуют, благодарим за письмо. Все. Все.

№ 19. (Написано по-русски)

13/26 марта 1918 года

... любимая сестрица.

Господь Бог дал нам неожиданную радость и утешение, допустив нам приобщиться Св. Христовых Таин, для очищения грехов и жизни вечной. Светлое ликование и любовь наполняют душу. Вернулись мы из церкви и нашли твое милое письмецо. Разве не удивительно, что Господь нам дал читать твое приветствие именно в тот день... Как будто ты, ненаглядная, пошла бы к нам поздравить нас по-старому. Горячо за тебя и за всех молилась, и о. Владимир вынул за всех вас частицы — и за дорогих усопших. Часто прошу молиться за любимых моих далеких друзей, — они знают уже мои записки. Подумай, была 3 раза в церкви! О, как это утешительно было. Пел хор чудно, и отличные женские голоса; «Да исправится» мы пели дома 8 раз без настоящей спевки, но Господь помог. Так приятно принимать участие в службе. Батюшка и диакон очень просили нас продолжать петь, и надеемся устроить, если возможно, или удастся пригласить баса.

Все время тебя вспоминали. Как хороша «Земная жизнь Иисуса Христа», которую ты послала, и цветок душистый. Надеюсь, ты телеграмму получила. Раньше их почтой посылали, теперь, говорят, идут в три дня. Маленький серафимчик прилетит к тебе до этого письма и принесет тебе мою любовь. Стала маленькие образки таким же способом рисовать, и довольно удачно (с очками и увеличительным стеклом), но глаза потом болят. Довольно много придется молитв рисовать. Благодарность всем, не забывающим твоих дорогих едой и т. д. Белья взяли каждая по 2, спрячем до лета. Нежное спасибо Эмме за письмо и чудную теплую кофточку. Окружена твоими нежными заботами. Духи — целая масса — стоят на камине. Погода теплая, часто на балконе сижу... Дошла с помощью Божьей пешком в церковь, теперь должна надеяться попасть 25-го. Скажи маленькому М., что его щёф был очень рад его видеть. Хорошо помню тот день, когда он у нас с твоими родителями был, так мило о тебе писал. Дорогую фотографию твоего отца счастлива получить, — так его напоминает, милого старичка. Как Бог милостив, что вы так много виделись последние месяцы и дружно жили. Целую бедную Мама. Всегда теперь за него молюсь и уверена, что он близко около тебя, но как сильно он должен вам недоставать! Он свое дело сделал, до гроба преданный нам, любящий, глубоко религиозный, 26 лет, что я своего отца похоронила... и благодарю Бога, что его нет теперь на свете.

Читаю газеты и телеграммы и ничего не понимаю. Мир, а немцы все продолжают идти в глубь страны, — им на погибель. Но можно ли так жестоко поступать? Боже мой! Как тяжело!

Посылаю тебе немного съедобного — много сразу не позволяют. Много хочу моему улану Яковлеву передать через о. Иоанна — благослови его Господь за все. Когда все это кончится? Когда Богу угодно. Потерпи, родная страна, и получишь венец славы. Награда за все страдания. Бывает, чувствую близость Бога, непонятная тишина и свет сияет в душе. Солнышко светит и греет и обещает весну. Вот и весна придет и порадует и высушит слезы и кровь, пролитые струями над бедной Родиной. Боже, как я свою Родину люблю со всеми ее недостатками! Ближе и дороже она мне, чем многое, и ежедневно славлю Творца, что нас оставил здесь и не отослал дальше. Верь народу, душка, он силен и молод, как воск в руках. Плохие руки схватили — тьма и анархия царствует; но грядет Царь славы и спасет, подкрепит,

умудрит сокрушенный, обманутый народ.

Вот и Великий Пост! Очищаемся, умолим себе и всем прощение грехов, и да даст Он нам пропеть на всю святую Русь «Христос воскрес!». Да готовим наши сердца Его принимать; откроем двери наших душ; да поселится в нас дух бодрости, смиренномудрия, терпения и любви и целомудрия; отгоним мысли, посланные нам для искушения и смущения. Станем на стражу. Поднимем сердца, дадим духу свободу и легкость дойти до неба, примем луч света и любви для ношения в наших грешных душах. Отбросим старого Адама, облечемся в ризы света, отряхнем мирскую пыль и приготовимся к встрече Небесного Жениха. Он вечно страдает за нас и с нами и через нас; как Он и нам подает руку помощи, то и мы поделим с Ним, перенося без ропота все страдания, Богом нам ниспосланные. Зачем нам не страдать, раз Он, невинный, безгрешный, вольно страдал? Искушаем мы все наши столетние грехи, отмываем в крови все пятна, загрязнившие наши души. О, дитя мое родное, не умею я писать, мысли и слова скорее пера бегут. Прости все ошибки и вникни в мою душу. Хочу дать тебе эту внутреннюю радость и тишину, которой Бог наполняет мне душу, — разве это не чудо! Не ясна ли в этом близость Бога? Ведь горе бесконечное: все, что люблю, страдает, счета нет всей грязи и страданиям, а Господь не допускает уныния: Он охраняет от отчаяния, дает силу, уверенность в светлом будущем на этом свете.

Любимая душа, мученица моя маленькая! Да согреет Отец Небесный твою скорбную душу, да осветит тебя небесным светом, покрывая все твои раны любовью и радостью. Не страдай, дружок! Прошу за тебя молиться у раки преподобного, чтобы подкрепить твоё сердце.

Когда письма получаешь, скажи, какие номера получаешь. Кажется, ты все получила. Привет Эрстову и спасибо его матери за письмо. Fraser посылает «very best love». Ношу кофту по ночам, хорошо греет. Одну неделю сидели вечером одни, вышивали, и он нам читал о св. Николае Чудотворце. Помнишь, мы вместе читали его жизнь? Fraser читает для себя теперь весь Ветхий Завет. Исповедовались у другого батюшки, тот, который теперь всегда служит; была общая молитва с нашими людьми. Довольно болтала, пора вставать. Благословляю и нежно целую. Всем привет.

М.

Привет Нини, докторам, о. Досифею, о. Иоанну

№ 20. (Написано по-русски)

20 марта 1918 года

Милая моя.

Год, что с тобой и Лили простилась. Много все пережили, но Господь Своей милостью не оставит Своих овец погибнуть. Он пришел в мир, чтобы Своих в одно стадо собрать, и Сам Всевышний охраняет их. Душевную связь между ними никто не отнимет, и свои своих везде узнают. Господь их направит, куда им нужно идти. Промысел Божий недостижим человеческому уму. Да осенит нас Премудрость, да войдет и воцарится в душах наших, и да научимся через нее понимать, хотя говорим на разных языках, но одним Духом. Дух свободен. Господь ему Хозяин; душа так полна, так живо трепещет от близости Бога, Который невидимо окружает Своим Присутствием. Как будто все святые угодники Божий особенно близки и незримо готовят душу к встрече Спасителя мира. Жених грядет, приготовимся Его встретить: отбросим грязные одежды и мирскую пыль, очистим тело и душу. Подальше от суеты, — все суета в мире. Откроем двери души для принятия Жениха. Попросим помощи у Св. Угодников, не в силах мы одни вымыть наши одежды. Поторопимся Ему на встречу! Он за нас, грешных, страдает, принесем Ему нашу любовь, веру, надежду, души наши. Упадем ниц перед Его

пречистым образом: поклонимся Ему и попросим за нас и за весь мир прощение, за тех, кто забывает молиться, и за всех. Да услышит и помилует. И да согреем мы Его нашей любовью и доверием. Облекшись в белые ризы, побежим Ему навстречу, радостно откроем наши души. Грядет Он, Царь славы, поклонимся Его кресту и понесем с Ним тяжесть креста. Не чувствуешь ли Его помощь, поддержку несения твоего креста? Невидимо Его рука поддерживает твой крест, на все у Него силы хватит: наши кресты только тень его креста. Он воскреснет скоро, скоро и соберет Своих вокруг Себя и спасет Родину, ярким солнцем озарит ее. Он щедр и милостив. Как тебе дать почувствовать, чем озарена моя душа? Непонятной, необъяснимой радостью, — объяснить нельзя, только хвалю, благодарю и молюсь. Душа моя и дух Богу принадлежат. Я чувствую ту радость, которую ты иногда испытывала после Причастия или у св. икон. Как Тебя, Боже, благодарить? Я не достойна такой милости. О Боже, помоги мне не потерять, что Ты даешь! Душа ликует, чувствует приближение Жениха: грядет Он, скоро будем Его славить и петь «Христос Воскресе!».

Я не «exalteе», [31] дитя мое; солнце озарило мою душу, и хочу с тобой поделиться, не могу молчать! Торжествует Господь, умудряет сердца: увидят все языцы «яко с нами Бог». Слышишь ли мой голос? Расстояния ничего не значат — дух свободен и летит к тебе, и вместе полетим к Богу, преклонимся пред Его престолом...

Я спокойна, это все в душе происходит. Я раз нехороший сон видела: кто-то старался отнять у меня радость и спокойствие, но я молилась, вспоминая, что надо беречь то, что дано. Знаю, что это дар Господень, чтобы мне все перенести, и «Он» спокоен, и это чудо. У раки святого молились за тебя — не грусти, дитя мое! Господь поможет, и твой отец теперь там за тебя молится. Бориса взяли; это беда, но не расстреляли, — он знал, что будет так... Большевики у нас в городе, ничего, не беспокойся. Господь везде, и чудо сотворит. Не бойся за нас. Зина мне послала свою книжку «Великое в малом» Нилуса, и я с интересом читаю ее, и с Татьяной читаю твою книгу о Спасителе. Сажу часто на балконе, вижу, как они на дворе работают (очень все загорели). И наши свиньи гуляют там... Как тебя за деньги благодарить? Несказанно тронута. Берегу, чтобы тебе вернуть потом; пока нет нужды. Знаешь, Гермоген здесь епископом. Надеюсь, посылка дойдет до тебя. Что, немцы в Петрограде или нет? У Марии П. ребенок должен был быть летом.

«Укоряемы—благословляйте, гонимы — терпите, хулим — утешайтесь, злословимы — радуйтесь» (слова о. Серафима). Вот наш путь с тобой. Претерпевый до конца спасется. Тянет в Саров. Готовимся петь 24 и 25 дома. Пора кончать. Нежно обнимаю, целую Маму. Помоги тебе Бог и Святая Богородица во всем...

Твоя.

№ 21. (Написано по-русски)

6/9 апреля 1918 года

Милая, дорогая, родная моя, горячо тебя благодарю за все, за все — и всех за все. Несказанно тронуты дорогим вниманием и любовью. Передай самое сердечное спасибо. Но не стоит так баловать: вам трудно во всех отношениях, а у нас нет лишений, правда. Воздух чудный в эти дни, есть можно, и богаты в сравнении с вами. Вчера дети уже надевали милые блузочки, шляпы очень полезны, так как их не было в таком роде; розовая кофта слишком красива для старушки, шляпа хороша для седых волос. Сколько вещей! И книги. Конечно, уже начала «Невидимую брань» и нашла чудные места. И все другое — за все спасибо большое-большое. И за тужурку и штаны — он так тронут. Духи, сладости, от кого чудный старый образ Благовещенья? Так счастливы иметь последние вещи, яички, получу сегодня — понемногу.

Гос. Анне Ив., Э. Н., отцу Д. горячее спасибо. Каждый день — новый сюрприз. А нам ничего не достать, кроме муки и маленьких яичек, которые заказала, но не у твоего Денисова, так как он вечно пьян. Тронута, благодарю за ноты дорогого папа. Понемногу постараюсь всем писать, если можно. А тебе напишет, как опять по-старому, прошлогоднему живем. Теперь отрезаны от Юга. Как раз еще на днях получили письмо от Зиновки, Риты, Л. Покровской из О. Ужас, что они там пережили, но Бог их спас. Ник. Дмит. тоже там был болен и Род. там. С. С., вероятно, во Франции был. Боже, что Л. должна переживать в деревне, окруженная врагом, с бабушкой-старушкой и нашим крестником? Больная М. Барятинская в стороне, в Ялте, потому что заступаются татары. Мать Нади Коцебу тоже там; за то, что не хотела свои ожерелья отдать, на год ее посадили, но, может быть, отпустят, так как больна. Байба с детьми и матерью живут наверху у себя, внизу солдаты. У Мерики родился осенью сын в Кисловодске. Там вертеп, легкомысленная, веселая жизнь. К. А. с мужем, детьми и матерью живут со всеми в Дюльб. из-за охраны. О. в Хараксе, маленьком домике, если остались бы в Ай-Т., пришлось бы платить за комнаты. Кажется, Вам все известия дала. О брате ничего не знаю. Где Ал. Павл.? Е. С. получил от Гординск. письмо; у брата в Нижегородской губернии в лесопильне работает там, в отставке, без денег; невеста его бросила, деньги—8000 рублей, которые после крушения получил отец, невеста потребовала за покупку дома, так что он все потерял. Хочу ему писать. От (раненого офицера) ответа не получила.

Боже, что немцы делают? Наводят порядок в городах, но все берут: голод будет хуже — весь хлеб в их руках. Когда говорят, что для пользы пришли, но это только лицемерие, — и бывших солдат берут. Уголь, семена, все! Теперь они в Биорки! Турки в Батуме. Немцы в Полтавской губернии, близко от Курска. Как ползущий, все съедающий —?—.

Кто дядя Гриша: я думала — муж Мар. Алекс. Л., но если он теперь жених, то это не он, — ничего не поняла. От Зиновки тоже нет письма. О.В. нежно целую, благодарю и прошу молитв. «Sunbeam» уже неделю болен в постели. Когда тебе писала, был здоров. От кашля, если что-нибудь тяжелое поднял, внутри кровоизлияние, страшно страдал. Теперь лучше, но плохо спит, и боли, хотя гораздо меньше, не прошли.

Могла бы часами писать, надеемся не уехать далеко.

Вчера наконец начал немного есть. Очень похудел, первые дни напоминали Спаду, помнишь. Господь милостив. Владимир Ник. доволен, может немного двигаться, спина болит, и устал на ней лежать, кости болят. Сажу целый день у него, обыкновенно держу ногу, так что я стала похожа на тень. Конечно, Пасху придется дома встретить; ему легче будет, что вместе. Св. Иоанн помогает — хочу надеяться, что скорее пройдет, чем обыкновенно. Всю зиму было все хорошо, но, наверно, так и надо. Неделю не выхожу, так как на балкон «нельзя», а лестницу избегаю. Жаль мне, что сердце у тебя не хорошо, но понятно. Вовремя скажи, куда переедешь. Наших всех 1 мая из Царского в Петроград выгонят. Посылаю моему старику Л. посылку. Бедное Царское Село, что значит на военном положении, несчастные люди. Кто будет теперь охранять комнаты? А твой лазарет? Твой крестный путь принесет тебе небесные награды, родная, там будешь по воздуху ходить, окруженная розами и лилиями. Душа выросла — то, что раньше стоило тебе один день мучения, теперь год терпишь, и силы не ослабли. Через крест к славе, все слезы, тобою пролитые, блестят, как алмазы на ризе Божией Матери; ничего не теряется, хорошее и плохое, все написано в книге жизни каждого; за все твои мучения и испытания Бог тебя особенно благословит и наградит. «Кто душу свою положит за друзей своих». — Да, моя маленькая мученица, это все в пользу тебе. Бог попустил эту страшную клевету, мучения — физические и моральные, которые ты перенесла. Мы никогда не можем отблагодарить за все, лишь в молитвах, чтобы Он и впредь тебя сохранил и охранял от всего. Дорога к Нему одна, но в этой одной масса других, — и все стремимся дойти до пристани спасенья и к вечному свету. А те, кто по стопам Спасителя идут, те больше страдают.

Избранные крестоносцы... Господь скорее слышит молитвы тех, кто перестрадал, но веру не потерял. Не вспоминай все больное, но лучи солнца, которые Он посылает. Понимаю, как тебе хочется увидеть лес, поближе быть к просыпающейся природе, она одна не попорчена людьми. Ужасно досадно, что ты мне деньги послала, мне они пока не нужны, а тебе нужнее. Посоветуй, как мне их вернуть, чтобы тебя не обидеть. Я была бы гораздо спокойнее, если бы ты их имела. И не посылай больше вещей, а то мне совестно. Скучаю без церкви, много тяжелого впереди, но Господь милостив, не отступит от любящих Его, не попустит больше, чем силы могут вынести.

Всем привет и Христос Воскресе. Через два дня день нашей помолвки (24 года). Благословляю, обнимаю горячо. Беби страшно страдал, ужасно было слышать и видеть, надеюсь, что к Пасхе, может, будет сидеть.

№ 22. (Написано по-русски)

10/28 апреля 1918 года

Милая, дорогая моя сестра Серафима! Хочется опять с Вами поговорить. Знаю, что вас беспокоит здоровье Солнышка; рассасывается быстро и хорошо. Оттого ночью сегодня были опять сильные боли. Вчера был первый день, что смеялся, болтал, даже в карты играл и даже днем на два часа заснул. Страшно похудел и бледен, с громадными глазами. Очень грустно. Напоминает Спаду, но хорошо все идет, и вчера температура была только немного повышена. Раз на днях дошло до 39, но это был признак рассасывания. Любит, когда ему вслух читают, но слишком мало ест: никакого аппетита нет. Мать целый день с ним, а если ее нету, то 2-я и милый Жилик, который умеет хорошо ногу держать, греть и читать без конца.

Два дня, что снег падает, но быстро тает — грязь и мокрота. Я уже полнедели не выхожу — сижу с ним и слишком устала, чтобы вниз спускаться. Не совсем поняла вашу телеграмму, что посылку получили. «О. не было». Что это? Вторая посылка в дороге, хочу скорее третью посылать, так как боюсь, что скоро будет трудно: столько приезжих разных отрядов отовсюду, что, вероятно, лишнее не остается, чтобы послать. Новый комиссар из Москвы приехал, какой-то Яковлев. Ваши друзья сегодня с ним познакомятся.

Летом жара доходит до 40 градусов в городе; пыль и одновременно сырость — зелени нету. Хлопочем на это время переселиться в какой-нибудь монастырь. Понимаю, как вас на воздух тянет — другое видеть, листьями, свежим воздухом подышать. Даст Бог, нам, может, удастся вдруг: надо надеяться на Божью милость. Вашим все говорят, что придется путешествовать, или вдаль, или в центр, но это грустно и нежелательно и более чем неприятно в такое время. Как хорошо, если бы ваш брат мог бы устроиться в Одессе. Зиночка могла бы смотреть за Иной. Но теперь я думаю, что мы совсем отрезаны от Юга и ничего больше не узнаем от них и Тины. Вы видели маленького Сережу. Он вам рассказал, что виделся со всеми издали. Как я рада, что М. вернулась; мужу спокойнее будет, что она близко. Они благополучно приехали и прислали привет. Так боюсь, чтобы не ужасные, ложные слухи к вам дошли, — люди так отчаянно врут. Думается, что заболевания не просто так, как корь: тоже, видимо, послана, чтобы не двигаться и чтобы гнездо не разрушить, хотя двух птенцов вырвали: одну в клетку посадили, другую выпустили. Во всем воля Божия видна, чем глубже смотришь, тем яснее понимаешь. Ведь скорби для спасения посланы. Здесь оплачиваем наши грехи, и дана нам возможность исправиться; иногда попускается для измерения смирения и веры, иной раз для примера другим. А из этого надо себе выгоды искать и душевно расти. Скажу некрасивое сравнение: хороши удобрения... да потом растет, цветет пышно, душисто, ароматно, и садовник, обходя садик свой, должен быть, доволен своими растениями. Если нет, опять со своим ножом придет, срезывает, поливает, вынимает плевел, который душил цветок, и ждет

солнца и нежного ветерка. Любуется он росту своих питомцев, с любовью посадил. Без конца могла бы писать об этом садике, о всем, что там растет, и что надо избегать, чтобы не портить, повредить нежных цветочков. Хотелось бы быть художником, чтобы излить мои мысли картинными словами. Вспомните английский сад (вы видели книги у меня, иллюстрации): уютный домик, дорожка, в середине акв. у меня в Ливадии. Ну, тогда вы понимаете, что я сказать хочу, как сравниваю с душами. — Вот 11 человек верхом прошли, хорошие лица — мальчики еще, улыбаются. Это уже давно невиданное зрелище. У охраны комиссара не бывают такие лица... Ну, спасибо... Куда тех в садик посадить? Нет там места — вне ограды лишь, но так, чтобы милосердные лучи солнца могли бы до них дойти и дать им возможность переродиться, очиститься от грязи и пыли.

Пора отправить. Господь с вами, радость моя, милая душка. Я вас нежно целую. Все мысли и горячие мысли вас окружают. Лиловые яички так тронули — и все другие. Вот сегодня А. дала знать, чтобы посылку готовить. Хочется понемногу мне посылать вам деньги обратно, так как они мне не нужны, и очень прошу вас скорее ответить, можно ли; я все-таки не хочу их трогать. Пошлю их тогда через Л., как все теперь; она знает, если вы комнаты перемените. Христос с вами! Святая Богородица да покроет вас своим Святым омофором. Всем привет. Мать целую. О. В. и всем, Берчику привет и докторам Н. Ив. и Прох. и всем.

Видели нового комиссара — неплохое лицо. Мои вас нежно целуют. Привет Элисбару, отцу Иоанну и о. Досифею сердечные приветы.

Ваши.

Сегодня день рождения Сашки.

№ 23. (Написано по-русски)

8/21 апреля 1918 года

Родная моя! Горячо благодарим за все: яички, отрывки, маленький за шоколад, птичку, за чудный образ — стоял за службой на столе. Спасибо Маме за стихи, ноты, книжку. Всех благодарим. Папиросы, говорят, удивительно вкусны: несказанно тронут. И конфеты.

Снег шел опять, но яркое солнце. Ножке медленно лучше, меньше страданий, ночь была лучше наконец. Ждем сегодня обыска — приятно! Не знаю, как с перепиской дальше будет; надеюсь, возможно. Молись за твоих дорогих. Атмосфера электрическая кругом, чувствуется гроза, но Господь милостив и охранит от всякого зла. Борис, вероятно, все еще там, хотя свободен. Дорога мимо дома нашего друга идет уже очень беспокоило для П. Ф. Сегодня будет обедница, но все-таки трудно не бывать в церкви, ты это лучше всех знаешь, мученица моя маленькая. Не посылаю через А., так как она обыск ждет. Так тронута, что дорогое платье послала. Спасибо за нее. Ек. В. спасибо за все. Сегодня 24-е, годовщина нашей помолвки. Имеешь ли от Зины известия? Грустно вечно все твои письма жечь; от тебя все такие хорошие, но что же делать? Не надо привязываться к мирским вещам, это теперь не почувствуешь, но ко всему привыкаешь.

Как хотелось тебе сласти послать, но их нету; зачем ты шоколад не оставила себе? Тебе он нужнее, чем детям. Получаем сахар 0,5 фунта по карточкам в месяц, тогда добрые люди еще дают. Сама во время поста не ем, так что мне уже все равно теперь. Ужасно грустно, что милый Осоргин погиб; а кто еще? Сколько несчастных жертв! Невинные, но они счастливее на том свете. Хотя гроза приближается — на. душе мирно—все по воле Божий. Он все к лучшему делает. Только на Него уповать. Слава Ему, что маленькому легче. Может, тебе можно деньги послать, они мне, правда, не нужны и лежат зря, тебе нужнее будут, когда в другую квартиру переедешь.

Милочке от нас всех привет — не далеко от тебя живет? Храни тебя Христос. Благословляю, обнимаю, ношу в сердце. Желаю здоровья, крепости духа. Всем привет от вечно тебя любящей старой М.

Письмо Государыни к Л. С. и Н. И. Танеевым

10 июня 1917 года. Царское Село

Шлю Вам обоим самый сердечный привет. Да утешит и подкрепит Вас Господь. Молюсь... молюсь... Вспоминаю... Бог наградит за все, за все. На Него крепко уповаем. Всех Ваших, больших и маленьких, нежно целую.

Храни Вас Бог.

Письма Великой Княжны Ольги Николаевны

Тобольск, 10 декабря 1917 года

Душка моя дорогая, какая была радость увидеть Твой дорогой почерк и Твои вещички. Спасибо за все присланное. Духи так сильно и живо напомнили Твою комнату и Тебя, конечно, что грустно. Очень часто Тебя вспоминаю и крепко, крепко целую и люблю. Мы четыре живем в крайней голубой комнате. Устроились очень уютно. Против нас, в маленькой голубой комнате, уборная Папы и брата, около, в розовой, Алексей и Нагорный. В коричневой спальня Мамы и Папы, около красная гостиная и за залой кабинет его. Когда сильные морозы, довольно холодно, дует в окно. Были сегодня в церкви. Ну, всего Тебе светлого и тихого к празднику. Христос с Тобою, родная душка. Еще и еще целую и обнимаю. Всегда твоя Ольга.

Тобольск, 22 января 1918 года

Душка моя дорогая.

Были так рады от Тебя услышать. Как холодно стало эти дни. И сильный ветер. Только что вернулись с прогулки. У нас в угловой комнате на среднем окне карандашом написано «милая», а дальше «Аня душка» — первое очень напоминает знакомый почерк.

Твоя Ольга

Будь здорова.

Поцелуй О. В. и кланяйся всем, кто помнит.

Тобольск, 5/17 февраля 1918 года

Душка дорогая. Всей душой, как Тебя люблю, с Тобой эти тяжелые для Тебя дни. Помоги и сохрани Тебя Господь, душка моя. У Мамы на туалетном столе стоит бутылочка лиловая с «roserai» и так напоминает... Здесь много солнца, но морозы, в общем, не сибирские, бывают часто ветра, а тогда холодно в комнатах, особенно в нашей угловой. Живем мы по-прежнему, все здоровы, много гуляем. Столько тут церквей, что постоянно звон слышишь.

Господь с тобой, дорогая. Крепко, крепко Тебя обнимаю.

О. 1918 года

Христос Воскресе.

Тебя, душка, от души поздравляем наступающим праздником и желаем, насколько возможно, тихо и радостно встретить и провести. Вспоминаю Тебя и яхту каждый раз, когда за обедницей поют «Хвали, душе моя, Господа». Подумай, и мы раз все это пропели. Крепко, крепко целуем. Христос с Тобою.

О.

Душка, не успела все это время Тебе написать. Последующие наши вести от 23-го из Екат. Живут в трех комнатах, едят из общего котла, здоровые. Дорога очень утомила, так как страшно трясло. Маленькому лучше, но еще лежит. Как будет лучше, поедem к нашим. Ты, душка, поймешь, как тяжело. Крест вернулся к нам на второй день Пасхи, и сейчас получили первое письмо. Много стало с ним спокойнее и все время чувство, почему отдали. Зина довольно часто пишет, от Лили ничего, а Ты. Пишут ли Аля и брат. Стало светлей. Зелени еще никакой. Иртыш прошел на страстной. Летняя погода. Господь с Тобой, дорогая. От всех крепко целую, ласкаю.

О.

Письма Великой Княжны Татьяны Николаевны

9 декабря

Голубушка моя родная, постоянно думаю о тебе, молюсь и много говорим и вспоминаем. Тяжело, что так давно не видались, но Бог поможет нам, и, наверно, еще встретимся, но, надеюсь, в лучшие времена, чем те, которые мы переживаем. Вспоминаем добрую Ек. Вик., нося ее брошки, и Твои маленькие вещицы всегда с нами и так Тебя напоминают. Живем тихо и мирно. Дни проходят очень скоро. Утром у нас уроки. Гуляем от 11-12 перед домом в загражденном для нас месте, завтракаем все вместе внизу. Иногда Мама с Алексеем с нами, по обыкновению они одни наверху у Папы в голубом кабинете. Днем тоже гуляем часа полтора, если не очень холодно. Чай пьем наверху. Потом читаем или пишем, обедаем опять все вместе, а потом все остаются вечером у нас. Кто работает или играет в карты или во что-нибудь другое. Иногда Папа читает вслух.

И так каждый день то же самое. По субботам у нас бывает всенощная дома в зале в 9 час. вечера, так как до этого батюшка служит в церкви. Поет хор любителей, а раньше пели монахи. По воскресеньям, когда пускают ходить в ближайшую церковь Благовещения, в 8 час. утра, идем пешком через городской сад, кругом, конечно, стоят солдаты-стрелки, приехавшие с нами. Обедню служат для нас отдельно в прав. приделе, а для всех — потом. По праздникам, к сожалению, приходится иметь дома молебен или обедницу; например, 6-го декабря пришлось быть дома. Грустно было в такой большой праздник не быть в церкви, но что же, не всегда можно делать, что хочешь, правда. Надеюсь, что ты можешь много ходить в церковь, если здоровье не мешает. А как твое сердце и нога. Передай, душка, привет Маре, сестре, О. В. Попроси помолиться, целую ее и всех, кто помнит. Видишь ли Ты Сергея Петровича? Помнишь, как мы тебя, бедную, дразнили. Жуку привет, Нюре, старичку, если видишь. А где Тина с мужем — у нее на родине. Буду очень о Тебе думать все это время. Храни тебя Бог, моя дорогая, горячо любимая душка. Рада, что родители Елизбара такие добрые, я его хорошо знаю, а их не видала. Письма все идут через комиссара. Иза еще не приехала—наверное, не была у тебя. Крепко целую, как люблю. Христос с Тобою.

Твоя Татьяна.

Тобольск, 10 декабря 1917 года

Душка моя дорогая Аня.

Ужас как была рада от Тебя услышать. Спасибо за записочку и вещицы. Ек. Викт. поблагодари за брошки. Написала Тебе вчера через Эристова. Рада, что Ты с ним познакомилась, он очень симпатичный. Странно выходит, что мы живем там, где Ты останавливалась. Помни, что эту посылку посылаем негласно, так что don't mention it: [\[32\]](#) единственный случай удался, больше, наверное, не выйдет.

А вчерашнее письмо послала, как все, через комиссара. Постоянно о Тебе думаю, моя дорогая. Много о Тебе говорим, но, к сожалению, только между нами, Жильяром, Вaley и — - . Твой браслет всегда ношу и никогда не снимаю, который Ты мне дала 12-го января. Помнишь уютные вечера у камина. Как было хорошо. А Линевича и Гротена не видала больше. Аня, душка. Храни Тебя Бог, целую крепко, как люблю, девочек и О. В. До свиданья... до когда.

Твоя Татьяна.

Тобольск, 22 января 1918 года

Дорогая моя душка родная, всегда радуемся вестям от тебя. Надеюсь, что письмо через Э. дошло до тебя. Думаю о Тебе много и всегда молюсь, чтобы Господь сохранил и помог Тебе. Рада, что познакомилась с — - , он такой милый. Странное совпадение фамилии. Зина хорошая, красивые письма. Бывает много грустного. Христос с Тобой, моя родная. В холодные дни Папа носит черкесску. Целую крепко, как люблю, поздравляю с днем Ангела.

Т.

Тобольск, 5/17 февраля 1918 года

Душка моя дорогая, мне ужасно Тебя жалко, молю Бога, чтобы Он помог тебе и твоей бедной матери перенести это тяжелое испытание. Грустно, что брата и сестры нет с тобой. Вспоминаю тебя часто и крепко целую, как люблю. Христос с тобой.

Письма Великой Княжны Марии Николаевны

Январь, Тобольск

Горячо любимая моя! Как поживаешь? Очень приятно было о Тебе услышать. Все мы здоровы и много гуляем по двору, катаемся с горы. Эти дни сильный мороз, так что Мама сидит дома. Наверное, получишь эту открытку уже в феврале, поэтому поздравляю Тебя с днем Ангела, помоги Тебе Бог в будущем и благословит Тебя. Много о тебе вспоминаем и говорим. На днях написала Акиму Ив., не знаю, получил ли. Рада очень за Сережу. Храни Тебя Господь на всех путях, не скучай, милая. Бог даст, все будет хорошо, и опять будем вместе. Целую тебя крепко, как люблю.
твоя М.

Здравствуй, дорогая моя! Как давно Тебе не писала, милая, так рада была получить Твою записочку. Грустно очень, что не видимся, но, Бог даст, опять встретимся, и тогда такая радость будет. Живем в доме, где Ты была. Помнишь комнаты? Они очень уютные; в особенности когда везде Твои вещи. Гуляем каждый день с два раза. Есть милые люди и здесь. Вспоминаю Тебя, душку, ежедневно и очень люблю. М. Гибс дал нам твои карточки, так приятно было их иметь. Гостинцы, брошки носим. Нюхали все твои духи, так напомнило тебя. Всего тебе желаю хорошего от Бога и крепко и горячо целую. Не скучай. Христос с тобой.
Крепко тебя любящая
М.

Всем твоим привет.

5 февраля 1918 года

Да хранит и подкрепляет тебя Господь, милочка моя. Очень тебя и Маму целую, но твоя твердая вера в Бога тебе поможет перенести это тяжелое горе. Рада, что ты часто могла видеть твоего отца...

(Не окончено, остальная часть письма не существует). Сожжено с письмом Государя Императора от 5 февр.

Письма Великой Княжны Анастасии Николаевны

Тобольск, 10 декабря 1917 года

Моя родная и милая, спасибо тебе большое за вещицу. Так приятно ее иметь, так как ужасно напоминает именно тебя. Вспоминаем и говорим о тебе часто и всегда молитвенно вместе. Собачка, которую ты подарила, всегда с нами и очень мила. Устроились тут уютно. Мы четыре живем вместе. Приятно видеть из окон маленькие горы, которые покрыты снегом. Сидим много на окнах и развлекаемся, глядя на гуляющих. Привет Жуку. Всего хорошего тебе желаю, моя дорогая. Целую крепко очень. Христос с тобою.

Твоя А.

1918. Тобольск

Моя дорогая, родная, часто вспоминаю тебя, милую, и хорошее время. Хоть на расстоянии далеко, а мысленно вместе... Живем ничего, слава Богу. Устраивали «представления» пьесы и сами, конечно, играли для развлечения. В нашем загородке гуляем. Устроили маленькую горку и катаемся. Всего хорошего, моя душка. Храни тебя Бог. Крепко целую очень. Всегда помню и люблю. Всем твоим очень кланяюсь.

Твоя А.

Письма Наследника Цесаревича

24 ноября 1917 года

Часто вспоминаем, скучаем. Вспоминаем маленький домик. Днем пилим дрова для ванны. Давно выпал снег. День проходит незаметно. Храни Господь Бог. Привет девочкам.

Милая, дорогая, надеюсь, что ты получила мою открытку. Очень, очень благодарю за грибок. Духи так тебя напоминают. Я каждый день молю Бога, чтобы мы опять жили все вместе. Храни тебя Господь.

Твой А.

Тобольск. 22 января 1918 года

Дорогая моя милая Аня. Радует нас опять иметь от тебя известия и что ты наши вещи получила. Сегодня 29 градусов мороза и сильный ветер и солнце. Гуляли — ходили на лыжах по двору. Вчера играл с Татьяной и Жиликом французскую пьесу. Все готовят еще другие комедии. Есть у нас хороших несколько солдат, с ними я играю в караульном помещении в шашки. Коля Д. бывает по праздникам у меня. Нагорный спит со мною. Седнев, Волков, Груп и Чемодуров с нами. Пора идти к завтраку. Целую и люблю. Храни тебя Господь.

А.

Письма А. А. Танеевой к родителям

Трубецкой бастион, 24 мая 1917 года

Мама и папа мои ненаглядные. Вы поймете, как трудно было мне эти два дня Великого Праздника в тюрьме. Вспоминала родное Рождество, как мы ходили с цветами в дорогую убогую церковь, где и пол был посыпан травкой. Веселый, любящий и праздничный народ... Я счастлива, что постройка моей школы идет так успешно. Верю, что и в селе все молятся за меня. Родные, вчера я получила из комиссии бумагу, спрашивают, кому вернуть мои деньги — 80 000 рублей (это те, которые я получила после железнодорожной катастрофы). Я рада, что теперь знаю, что это все, что у меня есть, а сколько было клеветы. Я написала на мама, но, кажется, я еще должна дать ей доверенность. Не знаю, как это сделать при 10 минутах свидания, у кого спросить. Если я только доживу и меня выпустят, даже помирюсь с этими ужасными двумя месяцами. Как бы народ очистит то, что поганая, извините за выражение, аристократия наклеветала на меня из зависти, и многие поймут, что такое — аристократия. Я так измучилась, исстрадалась, что почти нет сил. Питание все же недостаточно, а главное, погибаю без воздуха. Только один милосердный Бог может поддержать. На Него уповаю и стараюсь верить, что Он не оставит ни вас, моих дорогих, ни меня. Будем ли мы когда-нибудь вместе. Плохо сплю, просыпаюсь с 4 часов. День — это целый год. Слышала, что Совет дал моему лазарету чудное здание. Болею, что не могу сама все устроить. Вижу, как Господь печется о том, что оставила. Счастлива была получить приписку Акселя на вашем письме от 16 мая. Целую горячо его, Таньку, Олю, Санречку и мисс Айда, Ал., Сережу и Инну. Всех в лазарете и домике. Вас, дорогих, обнимаю нежной любовью. Хранит всех Господь. Молитесь, чтобы Бог дал мне силы. Не съездите ли к Божией Матери Скоропослушнице или к Знаменью в Царском Селе. Я всегда перед Ней молилась. Только бы сохранить веру, что Господь не забыл. Получила письмо от маленького Миши. Скажи Н. И. послать карточку ему в приют, поцелуй, благодари. Также и Косте, которого привезли из Евпатории. Целую бабушку. Пришлите мне легкое платье или блузочку. Как бы хотела уехать с вами, но думаю, что настолько больна, что, когда выпустят, придется лечь в больницу.

Ваша дочка Анна.

Трубецкой бастион, вторник

Дорогие мои, ненаглядные папа и мама. В субботу председатель Следственной комиссии объявил мне, что я уже больше ведению их не принадлежу, так что теперь должна просить министра о пресечении меры заключения. Я уже послала бумагу и просилась к вам под домашний арест. Я боюсь верить этому счастью. Теперь все дело в руках министра. Молюсь все время, чтобы Бог помог и скорее меня перевезли, так как буквально погибаю. Ослабела совсем. Верю в доброе сердце министра и что все будет хорошо. Если к вам нельзя, то в лазарет. Все равно куда, — мне все кажется, что здесь умру не дождавшись. Ехать в Терриоки нельзя, а остаться в Петрограде. Переговорите обо всем. Верно же не знаю и ничего нового вообще не могу сказать. Эту неделю письма от вас не получила. Счастлива и тронута письмом моих раненых. Всех вас, Алю, Сережу целую, обнимаю. Благословляю и люблю. Как тяжело весной быть в тюрьме. Но на все — воля Божия. Теперь надеюсь, и эта надежда немного поддерживает. Обнимаю всех в домике и лазарете. Не знаю, где вы теперь — здесь или в Финляндии. Теперь, дорогие, будьте здесь, устройте и узнайте все. Хранит Христос. Любящая, настрадавшаяся дочка Анна.

Совсем не могу спать, что так мучительно... Душно ужасно... Чувствую вообще себя совсем плохо... Помолитесь.

Трубецкой бастион, май

Дорогая мама. Какое терзание опять вчера свидание с тобой. Не верь, когда говорят, что мне безопаснее здесь, — ведь всякая женская тюрьма лучше этого ада. Во-первых, все — ложь; Муравьев, например, вчера опять приходил, говоря: «Вы знаете, ведь от меня не зависит, а от министра юстиции, у него могут быть высшие соображения (...). Конечно, если спросят Комиссию — мы ответим, что ничего против вашего освобождения не имеем». Нельзя ли попросить министра юстиции перевести хоть меня арестованной в лучшие условия, хоть окно, а не форточку у потолка. Я вчера не могла смотреть на тебя: мне так и тебя, и себя было жалко. Золотые мои, вы все хлопочете, а вас все обманывают. Меня опять допрашивал судебный следователь, 4 часа, — пойми усталость и терзание, им все эти мучения мои счастья не принесут. Родная, ведь они сначала знали, что за мной нет преступления, взяли только из-за близости, хотя теперь и отнекиваются. — Неужели П. Игнатьев не мог бы попросить Львова, ввиду моей болезни. Они все мягко стелют, чтобы жестко спать.

Трубецкой бастион, четверг

Золотая Мама. Как счастлива была я получить твои несколько строк и дорогую карточку. Мамочка, я не сомневаюсь, что Бог все делает к лучшему, но за эти два месяца сколько раз я хотела лучше умереть, чем жить, а теперь, когда есть надежда, хочу жить, но не знаю, как будет Богу угодно. Я хужею не по дням, а по часам; доктор очень добрый и хороший, недоволен сердцем, дает адонис вместо строфанта, сон такой плохой, задыхаюсь в душной камере. Умоляла увеличить прогулки хоть на 10 минут, но не разрешили. Ведь Трубецкой бастион — самая ужасная тюрьма в России: если я до сих пор жива и после останусь жить, то это великое чудо, которое Бог совершил надо мной. Вчера приходила ко мне Следственная комиссия, так как доктор находит меня слабой. Муравьев говорил мне, что ты была у него, сказал: «Вы сами виноваты, что не так отвечали на допросе» (неправда), указал мне еще раз написать все подробнее и подал надежду, что тогда скоро выйду. — Я так изверилась, что не могу даже надеяться, — знаю только, что один Господь может и вашими святыми молитвами Он поможет. Видела тетю Катю во сне, часто, верно, видит, как я страдаю. Конечно, оторвав меня от всего, что люблю, и замучив почти до смерти, — люди будут говорить о мне хорошо, но, Боже, как трудно им простить. Ведь я даже не прошу свободы, но заключения более легкого. Вчера просила камеру с окном пониже, отказали. Буду писать для комиссии, но после двух месяцев тюрьмы, тяжелой кори у меня голова почти не соображает.

Поставьте свечку у Казанской Божией Матери за это писанье. Страдаю ужасно, что почти лето. Спасибо, родная, милая мама, что ты хлопочешь за меня. Я только что вернулась с допроса: меня допрашивала приблизительно по тем же вопросам 4 часа. Какой-то еще судья спрашивал о Марии Васильчиковой, гр. Клейнмихель. Нашли у меня какую-то карту царского смотра в Кронштадте (подаренную мне Государем). Прицепились к ней.

Я устала до слез, иду спать, еле есть силы. Страшно изменилась — видела себя в зеркале на допросе. Была рада видеть Николая Ивановича, хотя слышать, что извне, здесь больно. Какие у меня черные все мысли... Нежно всей душой обнимаю, скоро Троица... Господи, помоги и услыши...

Письмо к Ек. Викт. Сухомлиновой

Трубецкой бастион, май 1917 года

Спасибо, дорогая, за письмо и поддержку, которую ты мне всегда, всегда даешь. Ведь ты веришь мне, что если будет в моей власти и если я живая выйду, я стену проломлю для тебя...

какое хорошее имя, я буду так звать тебя. Надеюсь, что меня освободят, но, дорогая, поверь, я еле жива, — мне говорили, что я долго жить не буду, а сейчас сердце еле работает, так расшатало, отеки ноги, да страдаю до изнеможенья день и ночь, и вообще живу только сегодняшним днем. — Живу уже долго так, не надеясь даже на завтра, — что завтра. Не могу говорить скоро или долго, когда не знаю, проживу ли до вечера, — вот отчего у меня такой страх здесь умереть. Зачем они тянут, теперь все кончено, даже было напечатано в газетах; для меня же каждый день — год. Я уверена, что они видят, что все невиновны, и постепенно всех освободят. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, доктор — прекрасный человек, он страдает за всех, и все, что в его власти, он сделает постепенно, так что советую тебе с ним поговорить — он пользуется большим авторитетом. Подумай, из Комиссии уже никто не верит, что Григорий Ефимович развратничал со мной. Слава Богу, доктор сказал, что он везде реабилитирует меня, так как вполне верит мне. Ужасно только то, что они тянут. Повторяю, только бы выйти живой. На все Господь — как Он захочет. Папа пишет, что со всех сторон им выражают сочувствие и радость люди, равнодушные даже. Боже, какой ужасной ценой купила эту реабилитацию и как мало мне дорого мнение людей, но я рада за моих дорогих стариков родителей. Уже огромный шаг вперед, что министр юстиции сказал твоей матери то же самое, что они говорили моим родителям месяц тому назад. Думаю, они рады всех освободить. Мне все же кажется, что будет по-старому. Если не сейчас, то после. Не он это сделает, а Господь Своему Помазаннику. Они чувствуют, что плохой хозяин все же лучше, чем без хозяина. Устроят конституцию, и он будет. Хотя говорю опять — Господь даст Ему или Его сыну. Мне очень тяжело вспоминать и писать о «Маме», потому только скажу, что она была героиня и всех нас поддержала. Сестра моя в Швеции в санатории, — счастливая. Муж и дети к ней поедут. Общину выбрал Манухин. Мне совсем, совсем все равно — куда, так как, повторяю, не верю. Храни тебя Господь. Преклоняюсь пред твоей крепостью. Обнимаю, целую. Эти две ночи я спала лучше. Я так просила тебя помолиться.

Твоя...

Люблю эту добрую надзирательницу, она — раба Божия.

Примечания

[1] Князь Н. Д. Жевахов «Воспоминания», т. I, гл. XXIII, стр. 92, издательство «Родник», Москва, 1993 г.

[2] Князь Н.Д. Жевахов «Воспоминания», т. I, гл. XXVI, стр. 236-237, издательство «Родник», Москва, 1993 г.

[3] Из книги Ричарда (Фомы) Бэттса «Пшеница и плевелы», стр. 237, 241-242; издательство «Российское Отделение Валаамского Общества Америки», Москва, 1997 г.

[4] Из книги «Царственные мученики в воспоминаниях верноподданных», стр. 312-314, 333; совместное издательство: Сретенский монастырь, «Новая книга», «Ковчег», Москва, 1999 г.

[5] Сборник «Фрейлина Ее Величества Анна Вырубова», стр. 379, издательство «ORBITA», 1993 г.

[6] Матрена Распутина. «Распутин. Воспоминания дочери», издательство «Захаров», Москва, 2000 г.

[7] В том году на яхту приезжал граф Витте после заключения мира с Японией. Я видела его за

обедом, перед которым он получил графское достоинство; он вошел вслед за Государем сияющий и во время обеда рассказывал о своих впечатлениях в Америке. (Прим. автора)

[8] Поцелуйте ей руку, это ваша будущая императрица. (франц.)

[9] Император в высшей степени добр. (франц.)

[10] Это было великолепно. (англ.)

[11] Крушение на царскосельской жел. дороге.

[12] свояченица. (франц.)

[13] Родзянко меня ужасно расстроил. Его мотивы мне кажутся довольно фальшивыми.

[14] Это совсем не умно или «хорошо» доведено до нее... ну, хотя бы она написала на приличной бумаге, как пишут Государыне (англ.).

[15] «Покуда правительство есть правительство Государя и покуда он Самодержавный, нападающие не на личные действия министров, а на их государственную деятельность, нападают тем самым на Императора». *Vumme*

[16] наш старик (англ.)

[17] мои дети (франц.)

[18] «Друзья Бога» (франц.)

[19] «Затмение России».(англ.)

[20] Я уверен, что, хотя его друзья были влиятельными, Распутин был символом. (англ.)

[21] свекровь (франц.)

[22] вот истинный ясновидец (франц.)

[23] отрекся (франц.)

[24] обморожения (англ.)

[25] Максим Горький.

[26] нож для бумаги, для вскрытия писем (англ.)

[27] наш тюремщик — бывший каторжник (англ.)

[28] горячий привет (англ.)

[29] родина, новая родина (англ.)

[30] (?) вероятно, свекровью (belle mere) (франц.)

[31] экзальтированная

[32] не стоит благодарности (англ.)